А. КАЗАНЦЕВ
ТРЕТЬЯ СИЛА

А. КАЗАНЦЕВ

ТРЕТЬЯ СИЛА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОПЫТКИ

ПОСЕВ

Второе издание, 1974 г.

© 1952 Possev-Verlag, V. Gorachek K. G.,
Frankfurt/Main

Предисловие ко второму изданию

Переиздание политической книги через четверть века после ее выхода в свет может быть предпринято из самых разных соображений. Чаще всего это делается чисто в исторических интересах: актуально-политическое значение описанных в книге событий с годами начинает играть роль отвлеченно-историческую. Бывает, что в мире складывается ситуация, схожая с представленной в книге. Или, наконец, сбываются предвидения автора и из-за этого его слова приобретают новый интерес.

Ни одна из этих причин не сыграла определяющей роли в принятии нами решения о переиздании «Третьей силы» Александра Степановича Казанцева. В гораздо большей степени, чем историческими, мы мотивируем свое решение соображениями политическими. И это — несмотря на то, что обстановка в мире и в нашей стране далека от той, что была в первые послевоенные годы. Нельзя утверждать также, что предвидения автора сбываются или имеют шанс сбыться в ближайшем будущем: А. С. Казанцев исходил исключительно из наличия в России абсолютной сталинской тирании. Он не ставил вопроса о положении в стране после смерти Сталина (да и не мог его ставить, не отклоняясь от своей темы) и, естественно, не мог предвидеть второй его смерти в 1956 году и последующей деградации советского тоталитаризма.

И все же — мы твердо уверены, что именно сейчас назрел вопрос о переиздании «Третьей силы». Книга нужна — в первую очередь в сегодняшней России, где она найдет очень заинтересованного читателя. По-новому прочтет и оценит ее и эмиграция. Особый интерес она вызовет у изучающих Советский Союз, и есть все шансы на то, что книга найдет иностранных издателей и с ней смогут ознакомиться политически мыслящие иностранцы, чего не произошло (а, пожалуй, и не могло произойти) 25 лет назад.

Посмотрим, что же может сегодня привлечь читателя) «Третьей силе» и к ее автору, Александру Степановичу Ка занцеву.

*

А. С. Казанцев (1908-1963) родился в Челябинске. Граж данская война забросила его во Владивосток, а потом в эва куацию в Шанхай. С 1924 года он в Югославии, где заканчи вает среднее образование в том же Кадетском корпусе в котором учился и во Владивостоке, и в Шанхае. Затем слу шал курс юридических наук в Белградском университете зарабатывая на жизнь и учение тем, что играл по ночам в струнном ансамбле.

Как и многие другие «дети революции и гражданской войны», схожей с ним судьбы, Александр Казанцев очень рано разочаровался в патриотизме старшего поколения белой эмиграции, обращенном назад, к России прошлого. Он принимается за изучение России настоящей и включается в поиск своих, молодежных, путей к России будущей. Это приводит его в ряды НТС с первых дней создания организации (в 1930 году). С этого же времени он сотрудничает в ряде русских и иностранных газет, редактирует журнал организации «Огни», а в предвоенные годы и центральный орган НТС, газету «За Россию».

Политическая и журналистическая деятельность в рядах организации и юридическое образование сыграли определяющую роль в том, что к моменту нападения фашистской Германии на Советский Союз он ясно понимает, каким путем идти, к чему стремиться. Как и другие члены НТС, он не впадает в заблуждения, которым поддались многие неподготовленные к событиям эмигранты того времени. По достоинству оценивая фашизм и лично Гитлера, он не мечтает о том, что немецкие армии явятся освободителями России от большевизма, но, конечно, не видит выхода и в том, чтобы Сталин выступал в роли защитника родины от иностранного нашествия — для укрепления своей тирании.

Поэтому начало войны 22 июня 1941 года ставит перед А. С. Казанцевым задачу попасть из оккупированной немцами Югославии в Берлин и оттуда перебраться на захваченную территорию России, чтобы создавать там независимую русскую патриотическую силу — «третью силу» — для борь-

бы за свой народ, за свою страну, против Сталина и Гитлера, против немцев и большевиков. Этот путь, пройденный тогда большинством актива НТС, доводит, однако, самого А. С. Казанцева только до Берлина.

Представившаяся в Берлине возможность занять маленький, но исключительно интересный для организации, пост в немецкой системе отбора военнопленных, заставляет его остаться в Берлине и принять — по поручению организации, хотя и скрывая свое продолжающееся членство в ней даже от друзей — активное участие в создании Власовского движения.

В качестве одного из подписавших Пражский манифест, А. С. Казанцев редактирует с ноября 1944 по февраль 1945 года центральный орган Освободительного движения народов России — газету «Воля народа».

Книга «Третья сила» повествует именно об этой трагической попытке создания русских антикоммунистических вооруженных сил в нацистской Германии и на территории оккупированных ею стран. Автор, активный участник событий, описывает борьбу, которая велась, главным образом, не против большевиков, а против немцев — за право сражаться с большевиками. Книга написана по свежим следам событий: она была, в основном, закончена к 1949 году. Хотя в ней и содержится множество интереснейших исторических фактов, эта книга — не сухое историческое повествование, а — субъективная авторская оценка роли, личных качеств и замыслов отдельных участников этой попытки и старающихся им помочь немцев, характеристика немецкой партийной, правительственной и военной машины, в борьбе с которой вся деятельность этих людей потерпела крах.

Субъективность подхода автора, еще не пережившего горечи разочарования от безуспешности попытки создания «третьей силы», сказывается в первую очередь в антинемецком (не только антинацистском) духе книги. Это очень понятно, если учесть настроения русских людей в первые послевоенные годы, их невозможность установить контакт с теми немецкими кругами, которые не за страх, а за совесть боролись за Власовское движение и, может быть, одни придавали некоторую долю реальности этой, казалось бы фантастической, попытке. Так, автор не мог перед изданием

книги связаться с одним из основных представителей немцев-защитников Движения, капитаном В. К. Штрик-Штрикфельдтом, который в последующие годы сам написал книгу на ту же тему «Против Сталина и Гитлера» (книга издана на английском, немецком и других языках, ее русский перевод выйдет в 1974 году в нашем издательстве). В «Третьей силе» капитан Штрик-Штрикфельдт из-за этого фигурирует под псевдонимом — капитан Фельд.

Выпущенная в 1952 году книга «Третья сила» была сравнительно быстро распродана. Оставшиеся в живых (в эмиграции) участники Власовского движения, конечно, нашли в ней отражение своих чувств и мыслей, но политический накал книги остался неиспользованным — она убеждала уже убежденных. Хотя в то время и бушевала «холодная война», книга не нашла иностранных издателей. В Германии — не из-за названной выше тенденции, а только потому, что в то время таких книг здесь вообще еще не выпускали. В Англии, Америке и Франции — так как еще трудно было представить себе, что во время войны и по другую сторону фронта мог возникнуть какой-то хороший замысел. А в основном — из-за того, что малейший пересмотр отношения к Власовскому движению должен был показать позорную роль союзников в деле насильственных выдач власовцев на расправу Сталину.

С тех пор многое изменилось. В России, куда идет теперь существенная часть наших тиражей, появился огромный интерес к подлинным целям Власовского движения, к его участникам. Интерес этот заставил власть перейти от полного замалчивания Движения ко все расширяющемуся потоку клеветы на него. Это, как известно, в СССР даром не делается. В первой книге «Архипелага ГУЛаг» А. И. Солженицын, хотя и имевший в момент написания книги очень ограниченные источники информации, почувствовав объективную правду Движения, попытался ее показать. Теперь «Третья сила» России просто необходима.

За границей тоже преодолены предубеждения военных лет. Книга В. Штрик-Штрикфельдта была хорошо встречена читающей публикой. И мы уверены, что теперь нужна книга, представляющая в этом вопросе и русскую точку зрения.

Ее успех сегодня будет достойным памятником ее автору.

От автора

В годы второй мировой войны в занятых немцами областях России и позднее в самой Германии разыгрались события, значение которых для будущего может оказаться не только первостепенным, но и в корне меняющим международную обстановку. В эти годы — 1941 - 1945-ый — частью русского народа была предпринята попытка освободиться от коммунистического ярма, одновременно с этим отстоять независимость страны от внешнего врага, чтобы потом войти в семью свободолюбивых народов мира в качестве равноправного члена.

Попытка была предпринята в чрезвычайно трудных и сложных условиях, во время обороны страны от внешнего врага, стремившегося к уничтожению России, к ограблению и закабалению русского народа, к превращению его в народ колониальный. Десятки миллионов человек, в той или иной степени, принимали участие в этой попытке. Она не увенчалась успехом потому, что две гигантских силы стремились к ее удушению — гитлеровский нацизм и интернациональный коммунизм. Каждый из них боролся за власть над русским народом, за право эксплуатировать его в своих целях, и его свобода была в одинаковой мере вне интересов и Гитлера и вождей Коминтерна. Сталин боролся только за коммунистическую Россию, Гитлер — против всякой России вообще.

По вполне понятным причинам в советской печати об этой попытке не было и не будет сказано ни одного слова. Замолчали ее и руководители нацистской Германии, потому что они сами душили эту попытку и спасли для мира стоявший в годы войны на краю гибели коммунизм, совершив тем самым наиболее страшное преступление перед человечеством.

В предлагаемых вниманию читателя записках о «Третьей силе», — истории этой попытки, нет ни слова вымысла, ни слова преувеличения. Автору пришлось только изменить

некоторые фамилии упоминаемых в записках участников, о некоторых умолчать вообще. Причина простая — многие из них остались по ту сторону железного занавеса. Часть осталась там невольно, в силу сложившихся обстоятельств, часть — сознательно, для продолжения борьбы за освобождение русского народа от небывалой в истории мира тирании — коммунистического интернационала.

АВТОР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Так она началась у нас

Балканская, ни с какой другой несравнимая весна года 1941-го. Беспредельная высь эмалево - голубого неделями безоблачного неба, жаркое солнце и нежный запах свежей зелени.

Ночью это небо — как темно-синий хрусталь, а в нем мерцание бесконечно далеких алмазов - звезд..

Но не радует в этом году никого весна — ее просто не замечают: над страной, над городом, над чудесным Белградом, над каждой отдельной человеческой судьбой черной тучей нависла неизбежность войны. Для страны в целом — даже и не войны, а неминуемого, быстрого и жестокого военного разгрома. А потом такой же неминуемой и жестокой расправы. Белград имеет все основания бояться ее.

Предыстория переживаемых дней первых чисел апреля еще так свежа в памяти.

В ночь на 27-ое марта группа молодых офицеров - летчиков арестовала правительство Цветковича, подписавшее за три дня перед этим пакт о ненападении с Германией, возвела на престол несовершеннолетнего короля Петра и поставила страну перед неизбежностью немецкого нападения. Трудно сказать, было ли это осознанной дальновидностью или просто проявлением традиционно - антинемецких настроений, но и в том и в другом случае шаг оказался государственно мудрым: ценою неизбежного разгрома купить себе право быть в числе победителей.

Вглядываясь в те дни через пережитое за последние годы, сравнивая те дни с сегодняшними, вижу их почти такой же далью, как буколические времена аркадских пастушков и пастушек...

Поздно вечером, 26-го, возвращаясь домой, я видел, как с большой быстротой промчались по главной улице две ма-

шины — легковая и грузовик. Обе до отказа полны пассажирами. На следующий день узнал, что это, оказывается, и были силы, свершившие переворот, и массы и вожди вместе — вожди в легковой машине впереди, массы в грузовой сзади. Позднее под утро они ввели в город какую-то воинскую часть, говорят, даже с парой танков. Этого не нужно было, и сделано, вероятно, просто для того, чтобы придать больше важности опереточно - безобидной революции и иметь возможность сообщить в телеграммах о перевороте, что «танковые части заняли город».

Белград бурно отпраздновал день переворота, как большой национальный праздник. С раннего утра весь город на улицах — радостные, возбужденные лица, музыка, народные песни и танцы.

После обеда на улицах появились грузовики с какими-то суетливо - деловыми молодыми людьми, старательно вводившими элемент организации в непосредственное проявление патриотических чувств.

Грузовики сверху донизу увешаны плакатами и транспарантами с режущими глаз лозунгами — режущими и яркостью красок, и неожиданностью содержания. Белградцы с большим изумлением и явным непониманием происходящего читали — «Да здравствует Советский Союз!», «Требуем военного союза с Советским Союзом», «Да здравствует Сталин — защитник Югославии!» . . .

Недоумение было вполне понятным: лозунги не выдерживали ни малейшей критики и были в остром противоречии с элементарной логикой. Советский Союз был в это время лояльнейшим союзником Германии и с примерным старанием помогал Гитлеру в его победном шествии по Европе. Устами членов советского правительства и пропагандой, ведущейся коммунистическими партиями Европы, он бичевал «английских лордов и французских банкиров», как империалистов, агрессоров и поджигателей войны. Танковые гитлеровские армии и дивизии СС, в его толковании, были тогда бесспорным олицетворением прогрессивных сил. Завзятые белградские демократы и советофилы с великим смущением наблюдали, что поборник демократических идей и независимости малых народов, как всегда рекомендует само себя советское правительство, находился в явном и старательном услужении у Гитлера, порабощавшего один из этих народов за другим. Впрочем, 27 марта некогда было во всем этом разбираться; лозунги лозунгами, а защитник, кто бы он ни был — всегда не плохо, поэтому толпа радостно соглашается и вслед за агитаторами от всего сердца кричит «Да здравствует!.. ».

Не обошлось, конечно, и без инцидентов. В порядке проявления патриотических чувств разбили пару витрин в немецких магазинах и туристских бюро, оскорбили словом и даже действием одного из служащих немецкого посольства и при появлении машины посла вяло и неубедительно покричали «долой!». Но всё это — так, без особой злобы, между прочим. Главным же были песни и пляски да вздохи облегчения по поводу освобождения от все-таки позорного договора. 27-го марта никто еще не думал, что дело кончится войной.

Только на следующий день, когда берлинское радио привычно трагическими голосами дикторов заговорило о «кровавом сербском терроре» над немецким меньшинством, о «преступной белградской клике, совершившей переворот в пользу вечного врага Европы — Англии» и о «предательском Белграде» вообще — началась пора холодных размышлений. За песни и пляски выписывался в Берлине что-то непомерно высокий счет.

Вся страна не только не принимала участия в быстро чередующихся событиях, но просто не успевала за ними и следить. В ногу с ними шел только Белград. Совершенно очевидным было, что ему в первую голову и придется нести ответственность. Было над чем задуматься . . .

Несмотря на то, что военная молодежь обещала, в случае нападения Германии, не больше, чем через две недели, быть в Вене, настроение у всех было очень подавленное. Ни для кого не было секретом, что к войне не готовы. Романтики утешали себя: «уйдем в горы», оптимисты надеялись, что там можно продержаться и год и два, люди более близкие к реальности рассчитывали, что будет не плохо, если Югославия выведет из строя одну или две немецких дивизий. «Потом это зачтется . . .».

В немецком консульстве на улице короля Александра — большое оживление в эти дни. Немцы с поспешностью, не мешающей отчетливой организованности, вывозят своих подданных из Белграда в Германию. Во дворе консульства сотни людей, горы тюков и чемоданов. На фоне общей растерянности и нарастающего с каждым днем беспокойства, эта чужая жизнь, эта как часы работающая организация, целеустремленная и ясная, увеличивают тревогу и неуверенность. День и ночь из ворот консульства то и дело выходят аккуратно груженые машины и идут к пристани, откуда пароходами по Дунаю пассажиры следуют «нах фатерланд». Уезжают, говорят, и итальянцы. Война — вот она, у порога . . .

*

Большой компанией русских эмигрантов и сербов после кино мы сидим в ресторане, пьем густое, как масло, далматинское вино и крепчайший турецкий кофе. Говорим о только что виденном фильме, о женщинах, о любви, о всем том, о чем так легко говорится в теплый весенний вечер под воскресенье, когда завтра свободный от работы день, когда за столом у каждого есть кто-то, перед которой хочется быть очень остроумным и занимательным. Время от времени разговор возвращается к войне — «так как же, все-таки, — будет она или не будет?» ...

Сидим за столиками, по белградскому обычаю поставленными прямо на тротуаре. Прохожие лавируют между столиками, стульями и вытянутыми ногами, перебрасываются с сидящими шутливыми замечаниями, после которых нередко присаживаются к столу — узнать еще неизвестные новости, поделиться своими и вообще поговорить, — что же дальше? Новостей, как всегда в таких случаях, больше, чем может вместить человеческая память. Тема, конечно, единственная — война. Оказывается, что ее может и не быть. Оказывается, что посол Югославии в Москве, Гаврилович, как раз вот сейчас, может быть, вот в эти минуты, заканчивает переговоры с советским правительством о подписании военного союза.

— Ну, тогда нас, конечно, не укусишь. Даже и такими зубами, как у Гитлера ...

Вновь подсевший собеседник, по-видимому, из оптимистов:

— Жаль, а то бы мы ему показали ...

Всем ясно, что показывать особенно нечего, что армия не мобилизована, что авиации нет, что танков хватает едва-едва, чтобы продемонстрировать их в дни государственных праздников, но если уж дело так хорошо кончается, почему и не погрозить кулаком в сторону зарвавшегося завоевателя ...

Впрочем, в военный союз верится с трудом. Вожди коммунизма связаны с Гитлером слишком прочными узами, и едва ли Югославия явится для них яблоком раздора. Только что в очередном киножурнале мы видели, как длинные составы, тяжело груженные нефтью, хлебом и сырьем, подошедшие с советской стороны где-то в районе Брест - Литовска, перегружаются в немецкие поезда. За неделю до этого в таком же журнале показывалось, как там же, в Брест - Литовске, происходил по какому-то поводу совместный парад немецких и советских частей. Нет, какой уж тут военный союз ...

О невозможности его говорит и самый точный в этом случае барометр — коммунистическая партия Югославии.

Она вздохнуть не может без инструкции из Москвы, а еще месяц тому назад в листовках, разбросанных по городу, она предупреждала о «главной», по ее мнению, «опасности», подстерегающей Югославию, — опасности «быть вовлеченной в войну на стороне западного блока Лондон - Париж» ...

Роль коммунистических партий в разгроме всех порабощенных Гитлером стран Европы не лишена интереса. По инструкции, данной Кремлем, после подписания германо - советского пакта 1939-го года, они все играют недвусмысленно предательскую роль по отношению к своим странам. Не была оригинальной в этом отношении и компартия Югославии: члены ее, как правило, не являлись последнее время к отбыванию воинской повинности, перед самой войной коммунистами были организованы забастовки в военной промышленности, и все четыре фабрики аэропланов на несколько недель прекратили работу. На военных заводах в Крагуевце имели место случаи открытого саботажа. Коммунистическая партия за последний год не пропустила ни одного повода, чтобы не продемонстрировать свою неприязнь к «англо - французским капиталистам». Незадолго до описываемых дней студенческая коммунистическая молодежь разогнала собравшихся в университете почтить память французского генерала Гепарта, которому Югославия обязана очень многим, — разогнала по тем соображениям, что «это может быть понято, как провокация за вступление в войну на стороне английских лордов и парижских банкиров» ... Нет, на военный союз надежды крайне слабые ...

Сербская часть нашего стола настроена более оптимистично. По ее мнению, мы — русские эмигранты — не можем быть объективными в отношении к коммунизму, наши личные на него обиды не дают нам возможности сделать беспристрастные политические выводы. Впрочем, эта тема бесконечная и она служит всегдашним источником споров, взаимных упреков и нередко самых настоящих ссор.

После оживленной вспышки, когда все начинают говорить одновременно и каждый с трудом слышит только сам себя, разговор как-то замирает и не клеится.

Ресторан начинает пустеть. Поднимаемся и мы. Завтра свободный от работы день, а это может поправить любое настроение и сгладить самые острые политические разногласия.

Расходясь, долго провожаем друг друга, стоим у каждой калитки и входных дверей и, споря сонными голосами, строим общие планы на завтрашний день. Большинство за то, чтобы открыть сезон купанья на Саве или Дунае. Расходимся по домам уже перед рассветом.

В городе тишина. Крепко спит отдыхающий после недельного труда люд. Тишина благополучия, сытости и довольства.

Уже значительно поредевшей компанией проходим мимо немецкого консульства. В нем гробовое молчание, плотно закрыты тяжелые железные ворота, на окна спущены стальные жалюзи. Немцы закончили, наконец, свою возню. Уехали — туда им и дорога. Сейчас начнутся всякие требования удовлетворения, возмещения убытков, а их, к сожалению, и не было причинено. Ну, да это дело дипломатов. Нужно только не прозевать, когда разговор дойдет до ультиматума. Тогда нужно будет что-то предпринимать. Что именно, мы еще не знаем, да это сейчас не так и важно. Придет время — будет видно...

Засыпая, я вспоминаю фразу, сказанную кем-то вчера вечером:

— Война, братцы, — это всегда внезапность. К ней готовятся, ее ждут, тревожно отмечают ее неизбежность, но когда приходят первые телеграммы с фронта, это — всегда неожиданность.

Сквозь сон я стараюсь представить, как это будет выглядеть, если Югославии действительно придется воевать. Объявление войны... толпы людей на улицах... первые телеграммы... экстренные выпуски газет... А впрочем, может быть, этого ничего и не будет. Не будет и войны и все кончится одними тревогами.

*

С треском распахнулась запертая на ключ дверь. Я вылетел, силой выброшенный из кровати. Больно ударился головой о ножку стола. Все это сопровождается сотнями душераздирающих непривычных для слуха звуков — раскатами близкого грома, визгом, скрежетом, холодящим мозг воем. С потолка сыплется штукатурка, из окна сотнями осколков — разбитое стекло. По лестнице вниз топот быстро бегущих ног. Истерический женский крик о помощи и детский плач...

Первая мысль — землетрясение.

Через дорогу, из открытого окна, по-утреннему свежим неторопливым женским голосом гремит поставленное на всю мощь радио:

— Теперь медленно наклоняйтесь в правую сторону. Не торопитесь: — раз, и два, и три...

Радио Белград. Час утренней гимнастики. Ничего не понимаю...

Подбегаю к окну. На совсем небольшой высоте, метров 800, не больше, как стрекозы, поблескивая в утренних лучах, стайками летают самолеты. Время от времени из каждой стаи по два-три со страшным воем камнем летят вниз. Потом, круто набирая высоту, ползут ввысь. Внизу после их падения тяжелые взрывы. В клубах пыли, дыма и огня мелькают комья земли, камни и балки разбитого дома...

Господи, да ведь это — война! Она началась... Над крышей дома совсем низко ревут моторы пролетающих машин. Сбегая по лестнице вниз, где-то между четвертым и третьим этажом, вижу через окно, как пикирует совсем близко знаменитая немецкая выдумка — «штука». На момент, кажется — у самого окна, мелькают черные кресты на крыльях, грязно - жирные пятна под мотором и хакенкройц на хвосте. Бомба попала в тот дом через дорогу, из окна которого ласковый женский голос только что настойчиво убеждал:

— Не торопитесь, не торопитесь. Раз, и два, и...

В подвале кромешная темнота. Присмотревшись, с трудом различаю человеческие фигуры, плотно друг к другу прижавшись, лежащие на полу. Оказывается, кто-то из людей сведущих объяснил, что это делается именно так. Выбрав свободное место у лестницы, ложусь и я.

Первый налет с небольшими перерывами продолжается около двух часов. Два часа нас трясет, как в лихорадке, от близких взрывов. Иногда удары бывают так сильны, нас так подбрасывает от земли, что трудно понять — в наш ли это дом попала бомба или в соседний. В короткие перерывы, когда гром взрывов и вой пикирующих самолетов удаляется в сторону, мы, как будто боясь, что летающий над нами враг может услышать, шепотом делимся впечатлениями.

В первом налете участвовало несколько сот машин — это, по специальному приказу Гитлера, Германия мстила Белграду за переворот 27-го марта.

Когда, сбросив бомбы, улетели последние самолеты, мы осторожно гуськом выбираемся наверх.

У выхода на улицу останавливаемся, как вкопанные. Перед домом в луже крови лежит человек. В двух шагах от него — лошадь с развороченным животом. По покатому асфальту кровь вместе с молоком из пробитых осколками бидонов ручейками струится к водосточной решетке...

Война... Это первые ее жертвы, первые, которые мы видим.

Убитый — крестьянин. По утрам из близлежащих сел тянутся одна за другой крестьянские двухколесные тележки со стоящими в них алюминиевыми бидонами — это крестьяне везут молоко просыпающемуся городу. В будние дни

они приезжают рано, еще на рассвете. По воскресным дням, как сегодня, позднее. В этот день из них мало кто вернулся домой. Они все были на улицах, когда налетели бомбардировщики.

В нескольких метрах, на углу — опять убитый. Полицейский, регулировавший движение. Бросается в глаза ослепительно белый крахмальный воротничек и только что надетая хорошо отглаженная рубашка. Вероятно, перед самым налетом он вышел на воскресное дежурство. Соседи рассказывают, что они слышали, как он из карабина стрелял по налетевшим самолетам, пока большим осколком не был убит наповал...

На улицах столпотворение. Все население бежит из города. Сотни, тысячи людей, полураздетые, совсем неодетые, в пижамах и ночных рубашках, с обезумевшими от страха лицами бегут к окраинам. Около тротуаров сломанные детские коляски, брошенные чемоданы и корзины.

Первое впечатление, что от города не осталось ничего. Горят целые кварталы, сравнены с землей целые улицы.

Встречаю своих друзей, вчерашних собеседников. Возбужденные лица и тысяча торопливых рассказов.

Мы решаем остаться в городе. Друзья зовут присоединиться к ним — «если уж убьют, так вместе». Утешение относительное, но вместе, конечно, легче. Больно уж неуютно переживать это все в одиночестве, а в нашем шестиэтажном доме не осталось кроме меня ни одного человека: все бежали, подхваченные непрерывно льющейся к окраинам толпой.

Домишко, куда мы приходим, мне хорошо знаком, я бывал здесь почти каждый день, — трехэтажный, кирпичный и до крайности ветхий. Если будет прямое попадание, останется от него только большая воронка, да разбросанный далеко кирпич, облепленный известью.

Устраиваемся в подвале. Он тоже совсем не оправдывает своего успокоительного названия: в окно видны ноги прохожих приблизительно до колена. Ну, уж перебрался, не уходить же обратно. Тем более, что гудит каким-то чудом уцелевшая сирена.

Перерыв между первым и вторым налетами не больше получаса. С тех пор, почти непрерывными волнами, бомбардировщики, сменяя друг друга, громят искалеченный, обезлюдевший, выгорающий город. Целый день мы не выходим на улицу.

Вечером лежим все на полу, вповалку. Прошло только двенадцать часов, а кажется, что целая вечность отделяет нас от тихой, мирной, спокойной жизни. Кажется невероят-

ным, что еще вчера мы ходили по чистым, нарядным улицам, что были у нас какие-то дела и заботы, какие-то планы и намерения, радости и печали. Все это кажется сейчас давно виденным, полузабытым сном.

Пока еще не совсем стемнело, мы долго бродим по улицам, которых не узнаем, и ищем воды. Где-то в колодце, во дворе старой типографии, после часового ожидания в очереди достаем несколько литров жидковатой грязи. Этого едва хватит, чтобы сварить какой-нибудь ужин. О мытье не приходится и говорить. Но, странное дело, в первобытное состояние опускаемся как-то легко и просто.

Укладываемся спать в полутемноте. Единственное освещение — догорающий через дорогу дом. Почему-то вспомнилось, что вчера из окна нижнего этажа этого дома, свесившись на улицу, оживленно разговаривала девушка с подругой, стоявшей на тротуаре. Они громко смеялись и упрекали друг друга в каком-то обмане. Где они теперь? Может быть, убиты. Может быть, убежали за город, а может быть — догорают сейчас вот под этими развалинами.

Около полуночи просыпаемся все, как по команде. Совсем низко летает самолет. Резкий свет с улицы освещает наше жилье.

— Ракета! — догадывается в темноте мужской голос.

Прислушиваемся. Кружит над нами. Удаляется . . . Приближается . . . Вот сейчас прямо над головой. Вдруг раздается свист брошенной им тяжелой бомбы. Секунда, другая . . . еще . . . еще . . . целая вечность

С треском вылетает окно вместе с рамой и подоконником. Комната вдруг оказалась как-то на улице. Над головой шаги бегущих людей, чей - то плач и звон падающих на асфальт оконных стекол. Днем такого взрыва не было ни разу.

Среди стихающего шума слух улавливает равномерный стук мотора. Вот опять над нами. Пролетел. Сльщно, как делает круг. Опять ближе, ближе. Все чувства слились в одно — в слух.

Лежать крайне неудобно. Кажешься сам себе невероятно большим и беззащитным. Кажется, что вот сейчас чья-то рука поворачивает рычаг, и бомба упадет обязательно на нас. Отвратительное чувство.

Опять свист. Черный ужас ожидания сковал всех. Полутонная громадина с нарастающим воем несется, кажется, прямо на нас.

Так с равномерными промежутками в пять - шесть минут продолжается три часа.

Утром узнаем, что прилетавшие поодиночке самолеты старались взорвать железнодорожный мост через Дунай. Это несколько сот метров от нашего убежища. Ни одна из тяжелых бомб, предназначенных для железной конструкции моста, не попала в цель. Несколько десятков домов в прилегающих к мосту улицах как будто бы никогда и не были построены.

Новый день начинается с завывания все той же одинокой сирены. Опять бомбардировщики. Долго кружат над городом — по-видимому, выбирают цель. По ним ни одного выстрела. Летают, как на ученьи, группами. Сбросят несколько бомб и кружат опять. Между взрывами в городе мертвая, как на кладбище, тишина.

На смену улетевшим, через час - полтора прилетают другие. Так продолжается опять до вечера.

На следующий день прилетают небольшой группой венгерские самолеты. Чуть ли не учебные. Вероятно, соблазнительно воспользоваться мишенью, которую совершенно безнаказанно можно бомбить настоящими бомбами. Для нас, сидящих внизу, разница между учебными и боевыми неощутима. Только страх сменяется бессильной злобой, клубком поднимающейся к самому горлу.

Врезалась в память встреча на улицах охваченного пламенем Белграда. Только что улетели немецкие самолеты. Я пробираюсь по горящим улицам к своему новому жилью. Навстречу группа молодежи — смеются, размахивают руками. Оказывается, только что получено известие, что в отместку за вторжение в Югославию десять тысяч советских самолетов раскатали в пух и прах Берлин. Мы постояли, порадовались и бодро разошлись каждый в свою сторону.

Мне представился громадина-город, вот так же искалеченный, как наш Белград, превращенный вот в такие же развалины, через которые я пробираюсь сейчас. И, грешный человек, должен признаться, на душе стало немного легче.

Спустя три года я увидел Берлин таким, каким представился он мне тогда, в дни белградского кошмара, видел и как превращался он из города в развалину, но советские самолеты были тут совсем ни при чем.

Позднее мы узнали, что, действительно, за несколько часов до немецкого нападения посол Югославии в Москве вел переговоры о взаимной помощи. Советским правительством было ему предложено подписать пакт о . . . ненападении, то есть дать взаимные гарантии в том, что Югославия не нападет на Советский Союз, а этот последний на Югославию. А через месяц после немецкого нападения, в середине мая, совет-

ское правительство отказало в гостеприимстве югославскому послу под тем предлогом, что «Югославии больше не существует» . . .

*

Говорят, что государство состоит из трех элементов — народа, власти и территории. Народ без территории может жить веками, пример тому еврейство. Народ без власти, без организующей силы, оказывается, не может прожить и трех дней.

В Белграде сгорела организующая жизнь страны ткань, порвались какие-то нити, сломались регулирующие жизнь страны рычаги. Стал транспорт, умерла торговля, исчезло всякое подобие власти, как административной, так и военной. Государство, как организм, перестало жить.

Где-то в центре страны передвигаются воинские части, и никто не знает, где фронт, где тыл, что нужно делать и кому подчиняться.

В столице, подожженной еще во время первого налета, выгорают целые кварталы, горят склады с продовольствием, и за все это время ни на один горящий дом не выливается ни одного ведра воды. Это просто не приходит никому в голову.

В городах и селах люди чувствуют себя так, как, вероятно, чувствовали себя наши далекие прапредки, в доисторический период, — все запросы сводятся к тому, чтобы быть сытым, все заботы сливаются в одну: не попасть под нож или дубину своего ближнего. Ножей и дубин появилось больше, чем можно представить. Дезертиры армии, население тюрем, неожиданно обретшее свободу и полную безнаказанность, просто преступный по складу своей натуры элемент — все то, что в нормальной, регулируемой законом и властями жизни держится в тени, всплыло на поверхность и наводит ужас на беззащитного обывателя.

По белградским улицам, компаниями по три-четыре человека бродят какие-то юноши, часто не старше 15 - 16 лет, как правило полупьяные, и потрошат каждого встречного и поперечного. Спрашивают документы, отбирают деньги, часы и кольца, показавшихся почему-то подозрительными расстреливают тут же на месте.

Весь город в угаре шпиономании — обязательная болезнь при всяком развале. Не дай Бог, спросить, как пройти на такую-то улицу, или не совсем чисто по-сербски произнести слово. Это может стоить жизни. На улицах нередко можно видеть трупы расстрелянных «шпионов». Под патриотические мотивы грабеж стоит совершенно невообразимый. Страшна распавшаяся на составные части жизнь.

Пробираясь за остатками вещей на старую квартиру, перед одним из соседних домов вижу что-то оживленно обсуждающую группу людей. Подхожу ближе. Пожилая женщина, подчеркнуто базарного типа, в «подвыпитии», брызжа слюной, захлебываясь, рассказывает:

— ... Постоял вот он перед этим домом, осмотрелся кругом и вдруг шмыг внутрь. Я и думаю — что ему там надо? Конечно, прячется ...

— Шпион! — категорически утверждает стоящий рядом мужчина.

Кто-то пытается возразить, но сочувствие толпы явно на стороне бдительной патриотки.

Я только сейчас замечаю у калитки притаившегося с винтовкой юнца. С нахмуренными бровями, деланно безразличными глазами он пристально всматривается в темноту вестибюля полуразрушенного бомбой дома.

На лестнице раздаются осторожные шаги. Толпа замерла. На верхних ступеньках нижнего пролета показываются ноги. Остановились, как будто в нерешительности, потом медленно ступают вниз.

Юнец поднимает винтовку к плечу и начинает целиться.

Человек на лестнице как-то растет из потолка. Еще пара шагов и он будет виден весь. Вот видно его уже по пояс... по грудь. В это время раздается выстрел. Толпа ахнула и ринулась внутрь.

Сползая с нижних ступенек, корчился в судорогах человек, обливаясь кровью. Рядом с ним валялся узелок с каким-то тряпьем. В правой руке он судорожно сжимал замусоленную тряпичную куклу.

В толпе сразу же нашлось несколько человек, признавших в нем соседа. В воскресенье, после первого налета, он ушел со всей своей семьей за город. Сегодня вернулся, чтобы взять что-нибудь из дому для детей ...

По городу ползут слухи — один страшнее и нелепее другого. Говорят, что где-то на окраинах немцы сбросили ночью парашютистов, которые по канализационным трубам минируют сейчас город. «Потом, конечно, взорвут, может быть под вечер».

По другим слухам, город минирован уже давно, еще до войны, и взорван он будет тогда, когда выберутся из него невывезенные почему-то фольксдойчи. Люди предприимчивые отправляются разыскивать их, чтобы задержать.

В это время в здании немецкого посольства сидел весь персонал мирного времени, почему-то не успевший своевре-

менно выехать. Так он и досидел, пока не вошли в город первые немецкие патрули.

Мы, нашей небольшой компанией, стараемся попасть в ногу с нахлынувшими событиями.

Среди нас есть принявшие югославское подданство. Они подлежат мобилизации. Каждое утро они уходят за город и ищут какую-нибудь часть, которая согласилась бы принять их в свои ряды. Возвращаются или под вечер или глубокой ночью.

Большинство из нас, бесподданных, бродит вместе с ними. Хотим поступить добровольцами. Но не берет никто и добровольцев. Пересылают с места на место. По дороге какие-то патрули придирчиво рассматривают документы, обыскивают, потом, в лучшем случае, отсылают туда, откуда пришли.

Такое состояние продолжается около недели. 13-го числа вечером на перекрестках улиц вдруг появились немецкие автоматчики. Население города принимает это даже с облегчением — затянувшееся безвластие делало жизнь совершенно невыносимой.

Немцы уверяют, что вошли и фактически заняли город девять человек. Это похоже на правду. На рассвете 14-го апреля вошли первые танковые части.

Югославия капитулировала 17-го. Война продолжалась одиннадцать дней.

*

После того как железный вал гигантской военной машины Гитлера с такой легкостью смял последние очаги сопротивления на континенте — Югославию и Грецию, — наступили самые беспросветные, самые безнадежные дни войны.

Танковые немецкие армии нависли над Ламаншем, готовые обрушиться каждый день на английский остров. Солдаты, опьяненные легкими успехами, презрением к слабому врагу и фанатичной преданностью Гитлеру, смотрели на высадку в Англии, как на забавную увеселительную прогулку. Да оно, вероятно, так бы и было: Великобритания, только что пережившая Пелопонез, а за год перед этим Дюнкерк, не имела ни армии, ни оружия, чтобы защищать самый остров. А она была тогда единственной воюющей против Германии страной. Гитлер самодовольно заявлял — «Островов больше не существует», давая понять, что канал не препятствие.

Америка не вступила в войну, да и неизвестно было, вступит ли.

Советское правительство с угодливой старательностью выполняло взятые обязательства и, отказывая своему народу

в самом необходимом, снабжало партнера по торговому договору всем, что необходимо ему было для ведения войны. Немецкие самолеты бомбили Лондон на советском бензине, немецкая промышленность питалась советским сырьем, а немецкая армия советским хлебом. Геббельс захлебывался от восторга: «Небывалый в истории человечества торговый договор... Советский Союз поставляет Германии миллион тонн зерна»...

Со страниц газет и журналов, с экранов всех кино Европы назойливо лезли в глаза новые друзья, с нежными улыбками, обращенными друг к другу, с крепкими и долгими рукопожатиями. «Молотов в Берлине», «Риббентроп в Москве», «Тевосьян в Берлине» и так без конца.

Казалось, что произошло невероятное и самое страшное: казалось, что два претендента на мировое господство — нацизм и коммунизм — договорились о совместном преступлении над миром. Над миром слабым, неподготовленным и неспособным к сопротивлению. В течение последних двух лет одна рука стерла с географической карты Европы самостоятельные государства — Данию, Голландию, Бельгию, целый ряд других. Другая — такие же самостоятельные государства — Латвию, Эстонию, Литву. Одна искалечила Францию, другая — Финляндию. Для начала обе дружно разделили пополам Польшу.

В дни раздела Польши в немецких газетах перепечатывались сводки Верховного Командования Красной Армии, с большой пропагандной шумихой занимавшей тогда области Польши, отданные Гитлером Сталину. В этих сводках говорилось о «стремительном продвижении наших частей», которые «ломая сопротивление противника» (разбитой немцами польской армии), брали «богатые трофеи» и «тысячи военнопленных», — вероятно, будущих жертв Катыни.

Просочившиеся в Югославию до ее разгрома польские офицеры рассказывали о встрече с частями Красной Армии:

— Мы были убеждены, что она идет нам на помощь. Наша дивизия, стоявшая всегда в восточной Польше, встретила подходившие советские части с распущенными знаменами и построенной для приветствия, как на параде. Можете представить себе наше удивление, когда они окружили нас, предложили сдать оружие и вести себя, как подобает военнопленным.

Велико было разочарование всей Польши, когда в раскрытых ею дружеских объятиях оказался враг, не менее жестокий и вероломный, чем немцы.

Было ясно: Советский Союз, вернее коммунистический интернационал, воюет недвусмысленно на стороне Германии. В лагере демократий он оказался после не потому, что отшатнулся от Гитлера, а потому, что Гитлер зашвырнул его туда нападением 22-го июня. Не случайно вожди и ответственные деятели Советского Союза еще до сих пор говорят о «коварном», «вероломном» и «неожиданном» нападении Гитлера. Нужно думать, что союз с ним они считали прочным и долговременным.

Гитлер в то время ходил уже по колено в крови. Почти во всех столицах Европы, наводя ужас на побежденных, как ежеминутное напоминание о бесправии и обесцененности человеческой жизни, висели черные полотнища флагов СС. По всем дорогам Европы тянулись длинные составы с жертвами для первых газовых камер и крематориев.

Черная ночь опустилась над Европой и, казалось, над всем миром. Безнадежность и беспросветность впереди. Сколько времени это будет продолжаться? Неизвестно. Может быть, всегда.

*

Тот, кто пережил годы немецкой оккупации, где бы то ни было в Европе, всю жизнь не забудет состояние невыносимого психологического гнета, которое эта оккупация неизменно несла с собой.

Белград не был исключением из общего правила. Скорее наоборот. Поход в Югославию носил все признаки карательной экспедиции, и режим для нее вообще, а для Белграда в частности, был установлен соответствующий.

На главной улице, рядом с королевским дворцом, на здании банка висит, как траурный креп, черный эсэсовский флаг. В помещении банка — штаб дивизии, «наводящей порядок» в заговорщицком вероломном городе.

Первые жертвы, конечно, евреи. Мы с изумлением узнаем, что среди наших даже близких знакомых их было не так мало.

Идут многочисленные аресты и среди сербов. Арестованных насчитывают уже тысячами. Немного спустя тысячами стали считать уже расстрелянных.

Как-то недели через две после падения Белграда я отправляюсь чуть ли не с первым идущим пароходом в Панчево, небольшой городок в двадцати километрах от столицы вниз по течению Дуная. Говорят, что там можно приобрести обломки стекла, годные для того, чтобы вставить в оконные рамы.

Хлопоты о пропуске из города занимают около трех суток. Самая процедура получения бумажки — не больше двух минут, всё остальное — стояние в очереди, тянущейся на несколько кварталов.

На пристани в Панчево, на телеграфных столбах и заборах расклеены небольшого формата объявления, напечатанные на красной бумаге. С ужаснейшими ошибками в языке написано всего несколько строк:

«Сегодня в ночь на 26-ое апреля расстреляно 100 сербов за нападение неизвестных злоумышленников на немецкого солдата. Предупреждаю, что в случае повторения подобных выпадов цифра расстреливаемых будет увеличена. Комендант».

Позднее расстрелы заложников, также сотнями, начались и в Белграде.

Атмосфера страха, психологического надлома в массах достигается не только бесчеловечной, но, еще того больше, бессмысленной жестокостью. Немцы владели этой техникой в совершенстве. Наряду с арестами и расстрелами сотен и тысяч, они тяжелым прессом ломали психологию масс, миллионов, всего народа. Теми же методами и по тому же принципу: чем бессмысленнее, чем непонятнее, тем больший эффект.

В Белграде в пять часов после обеда, когда еще высоко знойное балканское солнце, запрещено выходить на улицу. Там царит мертвая тишина и абсолютное безлюдье. Весь город сидит у окон.

Понять эту меру невозможно.

Если это в целях безопасности оккупационных властей, то почему же население в пять часов опаснее, чем в четыре, когда так же светло и так же палит солнце.

С наступлением темноты в городе начинается стрельба, целую ночь гремят отдельные выстрелы и длинные очереди автоматов. Это немецкие патрули бьют по всему живому, что мелькнет на пустынных улицах.

Каждое утро жители находят пять-шесть плавающих в крови трупов. Чаще всего бывает это в районах, населенных рабочей беднотой.

В запрещении появляться на улицу есть что-то издевательское, оскорбительное. Как будто бы взрослого человека посадили на стул, приказали не сходить, а для верности еще привязали тоненькой ниткой.

Женщина, перебегавшая через улицу к соседке, мужчина, пытавшийся проскользнуть из калитки в калитку к соседу, за огоньком для папиросы или просто поделиться ново-

стями, собака, по недосмотру хозяев выбежавшая на улицу, — всё это падает мертвым под пулями патрулей.

В эмигрантском русском мирке большая тревога: начались аресты и среди русских. Аресты, гнетущие своей непонятностью, а, может быть, являющиеся исполнением какого-то большого неизвестного нам плана. От этого становится еще тревожнее. По какому признаку берут, кого и за что — понять невозможно. Берут людей, всегда далеко стоящих от всякой политики, берут людей, известных раньше, как германофилов, берут людей без всяких признаков вообще.

Берут партиями. Держат неделю-две и кого-то без допроса выпускают, а кто-то остается сидеть. Берут других. Кого-то уже увезли в Германию, говорят, — в концентрационный лагерь. Этих оплакивают, как навсегда потерянных. Среди увезенных мой большой друг, молодой талантливейший журналист, корреспондент французского агентства «Гавас».

Много арестованных в кругах русской профессуры университета, арестованы известные адвокаты, врачи, видные общественные деятели. Но есть среди арестованных и шоферы такси, и мелкие торговцы, и чиновники.

Я жду своей очереди со дня на день. Кажется невероятным, чтобы меня, редактора одной из двух выходящих в Белграде русских газет, не захватила эта волна. Газета наша, русская, эмигрантская, непримиримо и активно антикоммунистическая. Все ее интересы сосредоточены на происходящем в Советском Союзе, а на международной политике лишь постольку, поскольку тот или иной факт имел отношение к внутреннему положению нашей страны. Правда, до войны газета была запрещена в Германии и прекратила свое существование в день разгрома Белграда.

Ждать приходится недолго.

Рано утром — стук в дверь. Я открываю, нисколько не сомневаясь в причинах столь раннего визита.

У дверей двое: человек в штатском и другой в форме.

Штатский спрашивает на не совсем чистом русском языке:

— Вы такой-то?

— Да, это я.

— Идите с нами.

Спускаемся по лестнице. Впереди человек в штатском, за ним я, за мной — в форме. В голове проносятся мысли, одна нелогичнее и невыполнимее другой: что, если броситься сейчас бежать вниз по лестнице? Пока начнут стрелять, я буду уже за поворотом... Ах, об этом нужно было думать раньше. Нужно было уехать куда-нибудь в провинцию, переменить имя, или, хотя бы, ночевать у знакомых... А может быть,

это и не арест. При аресте всегда делают обыск, а у меня не делали.

Выходим на улицу. Штатский цедит сквозь зубы:

— В помещение редакции.

В таком же порядке, как по лестнице, шагаем туда.

В редакции прошли по комнатам. Они время от времени перебрасываются на непонятном мне немецком языке короткими фразами. Я хожу за ними и думаю: здесь они не найдут ничего. Помещение редакции тщательно и давно, еще до занятия города, приготовлено к этому визиту.

Наконец, вышли. Запечатали выходные двери квадратиками с орлом и свастикой. Ключи взяли с собой .

На улице штатский, глядя куда-то в сторону, прогнусавил:

— Идите за мной.

Идем. Идем по тому же пути, как шли и сюда от дома. На улице короля Александра поворачиваем круто направо. В конце квартала желтое здание бывшего суда — сейчас переполненная до отказа тюрьма.

Во двор. Направо. По стертым каменным ступеням поднимаемся в коридор, переполненный какими-то женщинами с узелками — не то просительницами, не то принесшими передачу арестованным мужьям и братьям. Мы входим в небольшую комнату с деревянными скамейками по стенам. За столом сидит пожилой немец в форме и, наклонив голову набок, что-то пишет в толстый журнал. Мой штатский спутник подходит к нему (военный остался уже в коридоре) и, показав на меня кивком головы, роняет несколько слов. И затем в пол-оборота ко мне:

— Садитесь и ждите.

Я сажусь и жду. Жду час, жду два. Приближается обеденный перерыв. Через нашу комнату проходят какие-то военные с туго набитыми портфелями подмышкой. Громко между собой разговаривают, смеются. На меня не то, что не обращают внимания, а просто смотрят, как через пустое место. Скоро сидящего за столом сменяет вертлявый маленький фольксдойчер — я слышал, как он, выйдя в коридор, на кого-то кричал по-сербски.

Проходит еще часа два. Возвращаются с обеда. Опять проходят мимо. Я обращаюсь к сидящему за столом и спрашиваю — не может ли он мне сказать, что значит мое сиденье? Арестован ли я? Жду ли кого-нибудь и если да, то кого? Он смотрит на меня без тени какого бы то ни было выражения и, ни слова не проронив, отворачивается к окну .

Под вечер постепенно, словно мягкими лапами, тело и сознание берет какое-то отупение. Кажется, что сижу я здесь уже целую вечность, кажется невероятным, что еще сегодня

утром я был дома, а вчера ходил по улицам. В детстве бывало так: проснувшись от послеобеденного сна, никак не можешь вспомнить, что было сегодня утром, а что — вчера.

Наконец, начинают расходиться люди с портфелями, — по-видимому, кончается рабочий день. Вертлявого фольксдойчера сменил опять сидевший утром. Он снимает пояс с револьвером, кладет его на окно, садится за стол и, откинув голову, глядя в маленькое зеркальце, долго и сосредоточенно ковыряет в зубах. Потом потягивается, громко зевает... — одним словом, ведет себя так, как ведет себя человек, когда остается один в своей комнате.

Глядя на него, я думаю: можно ли совсем искренне и настолько презирать человека, чтобы не замечать его присутствия в этой комнате, или для этого нужно немного притворяться, играть? Впрочем, едва ли он играет — слишком много чести было бы для меня, а других зрителей здесь нет. Где-то в самой глубине души я чувствую холодок страха: какая же пропасть между его миром, его отношением к человеку и тем, в котором жил и который считаю своим я.

Наконец, появляется мой утренний спутник. Так же, как утром, глядя в сторону, гнусавит:

— Вы пока свободны. Не отлучайтесь из города. Если уходите из дома, всегда оставляйте адрес, где вы. Можете итти.

Всё та же непонятная чертовщина. Если нельзя никуда отлучаться, то почему тогда просто не задержали? Но, во всяком случае, какое наслаждение итти по улице одному, самому выбирать дорогу и, если захочется, часами стоять где-нибудь на углу и рассматривать прохожих. Впрочем, часами стоять нельзя. Остается пять минут до полицейского часа, после которого без риска быть пристреленным на улице появляться немыслимо. По тротуарам торопливо шагают люди, кое-где уже бегут. Ускоряю шаги и я.

*

Жизнь потянулась нудная и беспросветная. Для людей интеллектуального труда и, так называемых свободных, профессий — музыкантов, журналистов, артистов — помимо того, и голодная. Ни театра, ни музыки, ни газет нет, да, кажется, никогда и не будет в сожженном, похожем на кладбище городе.

Мы, пролетарии-интеллигенты, всегда жившие, как самая беззаботная богема, конечно, никогда не имели и не имеем никаких запасов и сбережений. Проживали ровно столько, сколько зарабатывали, и даже чуточку больше. Эту чуточку отплачивали потом неожиданно подвернувшимся за-

работком на стороне, у одного это было непредвиденное участие в каком-то концерте, у другого — гонорар, неожиданно полученный, за забытую и не входящую в расчеты статью.

Через неделю-две в городе начинают как-то обозначаться первые робкие побеги нормальной жизни. Кое-что уже можно достать из продуктов питания, не купить еще, а достать. Кое-где можно что-то выменять, главным образом у крестьян, неуверенно и робко появляющихся на окраинных улицах. Но для того, чтобы выменять, нужны вещи; чтоб купить, нужны деньги, и не наши старые, полновесные динары, которыми можно было за любое количество любого продукта платить однозначную цифру, а какие-то непривычные для слуха, астрономические формулы. У нас нет ни формул, ни вещей для обмена. Одним словом, нужно работать, зарабатывать для того, чтобы есть.

В нашей дружной компании — людей, главным образом, с высшим образованием — мы строим всякие фантастические, один другого невыполнимее планы. Несколько дней не было других тем, кроме организации большого огородного хозяйства.

— Ты понимаешь, что нам это даст? Нет, вижу, что не понимаешь!.. — горячится кто-нибудь из молодежи. — Это даст нам возможность питаться самим и...

— Голубь мой ясный, — урезонивает его чей-то рассудительно унылый бас. — Ну, какой же, к чёрту, из тебя огородник? Ведь все эти бурачки и цветные капусты ты до сих пор видел только на тарелке, а как они растут — понятия не имеешь. И я не имею, и он тоже...

Из разговоров об огороде не вышло, конечно, ничего.

На смену кому-то пришла мысль создать артель стекольщиков. В городе, действительно, нет ни одного целого стекла.

— Мы будем зарабатывать столько, что сможем питаться сами и...

Не вышло, конечно, ничего и из артели. Нет стекла, получить его негде, а кроме того нет инструментов, нет человека, который хотя бы раз в жизни вставил хотя бы одно стекло. Одним словом, нет ничего, кроме хороших намерений, да нестерпимого желания есть.

Кончаем тем, что идем попытать счастья в только что открытую снова немцами биржу труда.

Какой-то унылый дядя в окошечке, просмотрев наши документы, не без удовольствия сообщил, что единственное, что они могут предложить, это работу грузчиками в каком-то немецком транспортном предприятии .

Выбирать и раздумывать долго не приходится. Идем туда.

Хозяева гаража, два брата, с очень знакомыми нам по Белграду лицами, принимают нас, как олимпийские боги. У обоих братьев в петлицах новенькие, с иголочки значки национал-социалистической партии. Оказывается, они оба немцы, оба давно уже состоят в партии, а значки достали и надели только сейчас — «когда Белград стал снова немецким».

Не углубляясь в споры об историческом и политическом прошлом Белграда, мы говорим о цели своего прихода.

Опять самодовольная улыбка, как и в окошечке в бирже труда, и снисходительное разрешение: «приходите завтра утром».

Завтра с утра перевозим с каких-то складов на пристань тяжеленные ящики с частями сельскохозяйственных машин. Обливаясь потом, сгибаясь в три погибели под тяжелой ношей, подтруниваем друг над другом старой, как мир, остротой — «здесь тебе, батюшка мой, не университет, здесь головой думать надо». А вечером, валясь от усталости, бредем домой.

Так тянутся недели за неделями.

Иногда кажется, что теперь уж всегда, до самой смерти, будут вот только эти ящики, валящая с ног усталость, да темная беспросветность впереди.

Хотя, судя по всему, будут скоро какие-то перемены... Через Белград с юга, из Греции, день и ночь тянутся бесконечные колонны немецких военных машин. Танки, грузовики, покрытые выцветшим на южном солнце брезентом. Между ними, регулируя движение, снуют юркие мотоциклисты. Дивизия за дивизией идут на восток.

По железной дороге тянутся длинные составы в том же направлении. Мы видим, как на платформах, груженных орудиями и боеприпасами, группами стоят солдаты. Крепкие, молодые, загорелые. Все, как один, в темносиних купальных трусиках. По углам платформ — часовые. На этих, кроме трусиков, стальные шлемы, да автоматы в руках.

Я не знаю, что будут писать военные историки и исследователи, но армия, созданная Гитлером, нам кажется совершенной. Мы вспоминаем сербских «войников» в толстенных суконных штанах и мундирах, в обмотках и пудовых ботинках, обливающихся потом, с тяжеленными ранцами на спине, Гитлер в этом отношении сказал, конечно, новое слово.

День и ночь транспорты идут на восток. Гигантская военная машина, только что с легкостью раздробившая все враждебные ей вооруженные силы континента, поворачивается к границам нашей родины. Мы подолгу смотрим вслед проходящим мимо колоннам...

Трагедию Югославии мы переживаем вместе с ней, — мы обязаны ей очень многим. Но ее трагедия, несмотря на всю ее тяжесть, для нас только эпизод. Главные для нас потрясения и события еще впереди. Когда наступят эти события, мы не будем каждый в отдельности решать свою судьбу, решать, как каждому из нас быть и что делать. Мы связаны друг с другом не только хорошими отношениями и не только дружбой, многим из нас заменившей семью, — мы связаны идеей и организацией, которая и укажет каждому из нас пути.

Глава II

О русской оппозиции здесь и „там“

Русская эмиграция, ушедшая из России после гражданской войны, окончившейся в 1922 году победой коммунизма, — явление исключительное. Она была многочисленна, как ни одна эмиграция до нее, — статистики определяли ее численность в два миллиона человек, — и представляла собой не класс, не слой, не какую-нибудь определенную группу, а просто часть народа, во всем его вертикальном разрезе, от верхнего слоя интеллигенции до потомственных рабочих и крестьян. Называть эту двухмиллионную массу эмиграцией можно только условно, точнее было бы ее определить, как русский антикоммунистический актив частично вытесненный за пределы страны.

Верхний слой эмиграции был представлен именами непревзойденных Шаляпина и Павловой, Рахманинова и Алехина, Сикорского и Бунина и десятками других, не менее славных, но менее известных имен, от конструктора знаменитой «Норманди» до одного из основоположников неохристианской философии — Бердяева. Трудно было найти на земном шаре, особенно в Европе, университет, в котором не было бы русского профессора-эмигранта, не говоря уже о балканских странах, где почти в каждом университете они представляли собой значительную группу.

Психологическая особенность эмиграции заключалась в том, что она была политической эмиграцией, непримиримо и активно антикоммунистической. Она не допускала мысли, что ее пребывание заграницей долговременно или, тем более, постоянно. Вся жизнь, где бы и как бы она ни укладывалась, укладывалась с расчетом на временность, на какой-то срок, до тех пор, когда можно будет вернуться на родину. Мысли

и чувства эмиграции, устремленные к России, сопровождали каждый ее шаг, каждое ее движение.

Беззаветную любовь к родине и веру в ее воскресение отцы передали и нам, второму поколению, выросшему, а отчасти и родившемуся за рубежом.

Отцы — в основном трудовая российская интеллигенция, разойдясь по всему миру, работали часто тяжелым физическим трудом, но детей воспитывали и учили, поднимая, как минимум, до своего уровня...

Отцы работали шоферами такси в Париже, углекопами в Болгарии и Бельгии, землемерами в Югославии и Африке, работали на заводах, фабриках, на лесных промыслах и в сельском хозяйстве, а на заработанные медные гроши дети кончали средние школы и университеты.

Жизнь была не легкой и для нас. Была единственная возможность выбиться на дорогу — это учиться и работать лучше, чем другие. И молодежь училась. В любом европейском университете каждый год среди окончивших с наградами и отличиями можно было увидеть фамилии, оканчивающиеся на два ф.

Но это было не все.

В студенческие годы, и еще раньше, мы начинали чувствовать ненормальность нашего положения, ощущать зияющую пустоту в каком-то уголке души, неполноценность свою в окружающем нас и знакомом и близком, но все-таки далеком и чужом мире. Добросовестный, но не одухотворенный труд в лабораториях и на фабриках, у заводских станков и на стройках не давал удовлетворения. Под ногами не было почвы, в которую всеми корнями можно было бы врасти. Так рождалась тоска по родине, по далекой сказочной стране, которую молодежь знала зачастую только по рассказам родителей.

Родина была мачехой, отвергшей нас с момента нашего рождения, поставившей вне закона без всякой нашей вины.

Мы стали искать причин происшедшего, погрузились в изучение и истории и настоящего родной страны. Мы скоро увидели, что родина - мачеха не только для нас, а и для тех, кто живет там. Так вошли мы в политическую жизнь.

Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы всегда вели как бы двойную жизнь. Одна — вот эта, настоящая, со службой, работой, с ежедневными обязанностями и заботами, а другая, от всех скрытая, — для души. Это была Россия, которой отдавались все лучшие чувства и помыслы. Эти чувства не под силу было носить в одиночестве. Стали делиться ими друг с другом, искать единомышленников. Так родилась организация.

Каждый вечер, после трудового дня, в Париже и Софии, в Варшаве, Праге, Белграде и в десятках других мест нашего рассеяния мы собирались вместе, слушали и читали лекции и доклады, изучали философию и экономику, историю и социологию, готовились к политической борьбе за свой народ.

Мы скоро увидели, что коммунизм, поработивший наш народ, это не политика, а идейная уголовщина. Мы стали готовиться к борьбе и революционной. Это дало нам возможность изучать процессы, происходившие на родине, не только по книгам и журналам, не только по советским газетам и радио, но и проверять свои выводы в разговорах с живыми людьми, постоянно бежавшими оттуда. В конце концов, наиболее подготовленные и смелые из нас смогли наблюдать эти процессы и своими глазами.

Мы разглядели также и то, что коммунизм — это не только преступление, но и идея, которую победить можно только идеей же, более органичной, здоровой и человечной. Из синтеза народной психологии, характерного для нашего народа извечного искания правды, глубоко христианского мировосприятия и последних достижений передовой европейской философии мы создали свое мировоззрение, свою философию и политическую доктрину.

Мы знали практический коммунизм так, как мало кто знает его из его противников за рубежом. Мы угадывали вперед его планы, намерения и шаги.

Мы знали и жизнь народа, порабощенного им, со всеми его горестями и печалями, надеждами и мечтами.

Мы первыми в эмиграции знали каждую новую появившуюся песню, наизусть знали сотни стихов, но лучше всего мы знали, почему великий, миролюбивейший народ, еще ни разу в своей жизни не вздохнувший свободно полной грудью, влачит жалкое существование, почему постепенно исключается он из человеческого общества. Эти причины знали мы очень хорошо.

Нас было сравнительно немного, потому что пополняли мы свои ряды не путем набора, а путем тщательного отбора. Нас были немногие тысячи, но мы были всюду. И на Дальнем Востоке, и в Африке, и в скандинавских странах, и в Австралии. Самым экзотическим был член организации, которого мы никогда не видели и, вероятно, никогда не увидим — он жил на Огненной земле.

Но вполне естественно, что гуще и теснее всего наши ряды были около родных границ.

Мы накапливали свои знания и опыт к тому дню, когда «там что-то произойдет». Тысячи молодых врачей, инженеров, строителей, как правило, с блестящим европейским об-

разованием и опытом, привели бы мы в тот день Родине и сказали бы ей — вот то, что мы для тебя приготовили. Мы знали, что только там, на родной земле, может появиться тот человек или те люди, которые смогут повернуть течение ее жизни в другое русло, и готовились больше десяти лет, чтобы этому человеку или людям отдать все свои силы, знания и умение.

Советское правительство, а еще раньше его заграничная агентура, не могли не обратить внимания на это явление. Были попытки провокации, были попытки разложить нас изнутри и раздавить снаружи. В Болгарии, где одно время выходил наш центральный орган, наша газета, по требованию советского посла нам четыре раза приходилось прекращать ее издание, уносить в подполье и, наконец, уйти совсем.

При одной из первых попыток провокации, организованной НКВД, мы понесли жертвы, неоценимые и незабываемые для нас потери, но после этого мы научились навсегда различать врагов от друзей.

В таком состоянии и в таких настроениях застало нас 22-ое июня 1941 года, когда тремя гигантскими бронированными клиньями Гитлер пробил брешь в китайской стене, окружавшей нашу родину в течение 19 лет.

Поход Гитлера на восток для нас не был неожиданностью. Начиная с 1935-го года, наши друзья, сидящие в глубоком политическом подполье в Берлине, сообщали нам, что готовится страшное преступление: Гитлер вооружается, чтобы оккупировать, путем физического уничтожения обезлюдить западные области России и включить их, как аграрный придаток в Германию. Немецкие походы в Польшу, Францию и на Балканы нами понимались как пролог к нашей русской драме. Покорение Европы — для нас это было ясно — было только подготовкой крепкого тыла для похода на восток — окончательной цели, поставленной национал - социализмом. Руководство Германии, опьяневшее от небывалых военных успехов за первые два года войны, не скрывало, да и не могло скрыть, своих планов. Во всю грозную величину ставился вопрос о завоевании и разделе нашей страны, о том, чтобы отбросить нас, как они писали, в азиатские степи, без выхода к морям, и о том, как очищен будет для трудолюбивого немецкого плуга тучный украинский чернозем. В недрах партийных и государственных немецких учреждений уже годами работали институты и комиссии по изучению почвы разных полос западной России, по приведению в порядок лесного хозяйства и путей сообщения, приноравливаемых для обслуживания метрополии, то есть, собственно, самой Германии. Объектом изучения являлись в рав-

ной степени как лесные массивы Белоруссии, так и торфяные залежи Арктики, как украинский чернозем, так и нефтедобывающая промышленность Кавказа. С началом войны все это стало достоянием общественности и широко обсуждалось печатью.

22-ое июня поставило нас перед двумя вариантами нашего отношения к событиям — остаться в стороне и наблюдать, кто кого, Сталин Гитлера или наоборот, или броситься в эти события и устремить все свои силы на достижение наших русских целей. Для нас был приемлен только второй вариант.

План действий был сложен и труден. Во-первых, во что бы то ни стало в этой борьбе нужно было стать рядом с своим народом, во-вторых, сразу же бросить в народные массы идею о создании «Третьей силы», стоящей на страже интересов народа, а не коммунистической партии, и при помощи ее, этой «Третьей силы», отстоять целостность страны от посягательств внешнего врага, а также освободиться и от коммунизма.

После 22-го июня мы приступили к осуществлению этого плана.

Мы не строили никаких иллюзий, что выполнение нашего плана будет легким, но из примеров русской истории мы знали, что и более дерзкие замыслы удавалось осуществить гораздо меньшему количеству людей, если эти люди твердо знали, чего они хотят. Мы твердо знали, чего хотели, и чувствовали себя достаточно подготовленными, чтобы достигнуть цели.

Восемьдесят лет тому назад, когда Александр II начал проводить свои реформы, Россия стала на путь развития и процветания. Реформы выводили ее из числа стран социально - отсталых в число стран с самым передовым и современным законодательством. Антиправительственным революционным силам России оставалось только рукоплескать революции, начавшейся сверху. Но они были больше антиправительственными, чем революционными, и семь человек студентов подписали смертный приговор императору.

После его убийства Россия семимильными шагами двинулась вспять ...

Двадцать четыре года тому назад русская коммунистическая партия, непопулярная и мало кому известная в стране, имевшая смехотворно малое количество членов, путем переворота в столице захватила власть в свои руки. Мы не собирались захватывать власть, а только помочь взять ее тем антикоммунистическим патриотическим силам, которые обозначатся на развалинах большевизма.

У нас были зовущие и волнующие надежды, что в этой борьбе за освобождение от внешнего врага и от внутреннего, вместе с нами будет и наш народ.

В этом мы не ошиблись.

*

Отношение западного мира к стране строящегося коммунизма переливает всеми оттенками человеческих чувств — от восхищения до ненависти, от зависти до безразличия и страха, в зависимости от того, как кому представляется созданный по дороге к коммунизму советский строй.

Какая-то часть общественного мнения западных стран считает, что советский строй это и есть самая подлинная демократия, самая молодая и поэтому самая совершенная, с самым передовым и чистым народовластием, более справедливая и прогрессивная, чем устаревшие демократии Запада.

Другая часть предполагает, что в этой «восточной демократии», кажется, не так уж все благополучно: при более близком с нею знакомстве что-то уж очень она похожа на диктатуру, — о, конечно, не на такую ужасную, какой была диктатура Гитлера, но подлинной демократией этот оригинальный строй можно назвать только с целым рядом оговорок.

Третьи находят, что за красиво расписанным фасадом советского строя творятся просто безобразия, но безобразия, опять-таки — с точки зрения западно - демократической: там царит жесточайшая цензура печати и слова, поэтому оппозиционные правительству группировки лишены возможности организоваться и объединить вокруг себя оппозиционно настроенные элементы страны.

От истины далеки в совершенно равной степени как первые, так же точно и вторые и третьи. Между всеми этими тремя оценками и действительностью — пропасть. Характеристика советского строя лежит совсем в другой плоскости, даже и не пересекающейся с той, в которой укладываются все эти три определения. Большевизм и демократия отличаются друг от друга не количеством и величиной свобод, а своей органической структурой, своим химическим составом.

Мир большевизма — особый мир. Он ведет жизнь, не похожую на жизнь остального человечества. У него свои интересы, свое понимание жизни, свои заботы и цели, ничего общего не имеющие с заботами и целями других людей. Для исследования иностранного наблюдателя, даже самого беспристрастного и объективного, этот мир почти недосягаем, потому что он лежит по ту сторону здравого смысла, логики

и понимания, потому что этот мир слишком чудовищная нелепость, чтобы быть понятым.

Иностранцу трудно понять и поверить, что сейчас, в половине двадцатого века, когда весь мир, казалось бы, стоит на пороге новой эры, когда всё человечество стремится к созданию новых, более совершенных форм бытия, стремится к достижению более светлой и более легкой жизни для всех вместе и для каждого в отдельности — есть гигантская страна, где царит мрачное средневековье, где душа и тело великого народа четвертуется ежедневно и ежечасно, где во имя отверженной жизнью неумной и глубоко провинциальной идеи, путем жесточайшего террора коверкается здоровая человеческая психология и мораль, растлевается человеческая душа.

Иностранцу трудно понять и поверить, что сейчас, в дни, казалось бы, торжества демократических идей, по-новому утверждающих свободную человеческую личность, на шестой части земной суши черным спрутом распласталась ничем не ограниченная власть одного человека — малокультурного, безграмотно говорящего на языке закабаленного им народа. Человека, который окружил себя таким культом поклонения, каким не пользовался и не пользуется ни один из основоположников религий, который создал вокруг себя такое раболепие, о каком не мог мечтать ни один из монгольских ханов, опустошавших некогда Европу. Самое мимолетное желание этого сверх-диктатора — высший закон для его подданных, его любое преступление, уносящее иногда десятки и сотни невинных человеческих жизней, он заставляет воспевать, как высшее благодеяние, требуя потоков исступленной благодарности за свою мудрость и доброту.

Этот человек создал такой рабовладельческий строй, который не с чем сравнить в истории, потому что любое рабство оставляло свободной душу, он же взял под контроль и в эксплуатацию не только мускулы, не только физическую силу, но и самые интимные чувства и мечты. После разгрома созданной Гитлером всеевропейской тюрьмы весь культурный мир стоял в негодующем изумлении перед ее развалинами. Как поверить, как понять иностранцу, что созданный Гитлером строй со всеми его ужасами, концлагерями и тюрьмами — это только бледная копия строя советского.

«Как же люди могут мириться с этим?» — вправе задать вопрос каждый. «Почему не протестуют, почему не восстают? Или, может быть, верно, что каждый народ достоин своего правительства?»

Нет, неверно. Народ, над которым творится это преступление, был и остался таким же, как и другие народы мира, но современная техника властвования и жестокость могут по-

мочь удержаться любому правительству над любым народом, как, конечно, без вмешательства извне на долгие годы удержался бы над европейскими народами Гитлер. Это во-первых, а во-вторых, русский народ вот уже тридцать лет находится в состоянии гражданской войны против оккупировавшей страну чуждой ему и враждебной власти.

До второй мировой войны нам часто приходилось слушать и читать горькие и несправедливые обвинения: в Праге и Белграде, в Софии и Варшаве нам часто говорили о том, что большевизм возможен только в России, что терпеть его может только русский народ, малокультурный и политически отсталый, народ, привыкший к рабству. Наши попытки доказать всю несправедливость подобных обвинений были тогда теоретическими рассуждениями. После второй мировой войны их подтвердила практика — оказалось, что и демократически воспитанные народы, как поляки и румыны, как общепризнанные демократы чехи, с таким же терпением, как и русский народ, переносят коммунистическое ярмо. И если Чехословакия в мае 1948 года отдала 89 % голосов за организаторов своей каторги, то можно быть уверенным, что на следующих выборах она отдаст им 99,9% и что на этом проценте так и останется. На чужих ошибках, чужой беде и опыте научиться, оказывается, ничему нельзя. Мы утверждаем, что не только чешский народ, но и любой другой народ, не исключая народов Англии и Америки, будет столь же послушным и столь же терпеливым, как и все другие народы, если волею судеб коммунистический интернационал захватит власть и над ними.

Сколь необычайна и беспрецедентна эта жесточайшая коммунистическая сверхдиктатура, именующая себя «народной демократией», столь необычайны, малопонятны для иностранцев методы политической борьбы с ней. Чтобы составить себе представление о борьбе русской оппозиции, не нужно, да и нельзя, подсчитывать выборные бюллетени, взвешивать популярность того или иного имени, расценивать силу восстаний или террористических актов, направленных против советского правительства или его представителей. Эти формы борьбы недоступны для угнетенного народа. Для политической борьбы необходимы законность и политическая свобода, для революционной — хотя бы полусвобода. В СССР нет ни того, ни другого. Вся страна живет в атмосфере концентрационного лагеря, а в лагерях и тюрьмах тоталитарных режимов восстаний, как правило, не бывает, И если мы всё-таки в оправдание нашего народа можем назвать целый ряд активных антисоветских выступлений, так это результат проявления сверхчеловеческих подвижнических его сил.

В иностранной печати часто мелькает упоминание о том, что в Советском Союзе очень строгая цензура. Это неверно. В СССР цензуры нет вообще, в том смысле, как это принято понимать в демократических странах. Вся трагедия — в том, что такая цензура там и не нужна, потому что печать доведена до такого состояния, когда перед отдельными газетами и журналами стоит только задача находить новые формы для прославления «мудрости и гениальности вождя» и разъяснять народу его указания. Написать что-нибудь против политики власти не придет просто никому в голову, как не придет никому в голову ходить вместо ног на руках. Какая-то часть писателей и журналистов не сделает этого сознательно, из страха, а какая-то часть литераторов, чисто советской формации, вполне искренне и не догадывается, что может быть как-нибудь иначе. Эти последние, попадая заграницу, с великим пренебрежением относятся к слабости демократических правительств, позволяющих критиковать свои действия отдельным гражданам страны. По этой же причине, ни одному депутату Верховного Совета (по официальной терминологии — высшего управительного органа страны) не может придти в голову при обсуждении какого бы то ни было вопроса голосовать «против». Для этого не нужно данного депутата ни подкупать, ни запугивать, ни убеждать — это разумеется само собой. Поэтому решительно все вопросы, «обсуждаемые» Верховным Советом, принимаются всегда единогласно.

В СССР для политической борьбы нет парламентской трибуны, нет оппозиционной печати, нет в общепринятом значении этого слова и оппозиции, то есть определенных группировок, общеизвестных имен политических или общественных деятелей-оппозиционеров. В СССР нет ни одного человека, о котором можно было бы сказать, что вот такой-то, имя рек, настроен оппозиционно к политике правительства. Прежде чем это будет кем-нибудь сказано, такого-то, имя рек, давно уже не будет на свете. Оппозиция в СССР — это весь народ, за исключением административно-полицейского аппарата власти, состоящего прежде всего из коммунистической партии, имевшей в 1940 году в своих рядах только 2% населения страны, в том числе 153 тысячи погонщиков, членов и кандидатов партии в селе, на 115-ти-миллионную крестьянскую массу. Но оппозиции в западном понимании в СССР нет, потому что всякое выступление, хотя бы самое лояльное, против существующего порядка равносильно самоубийству. Только сомнения, одного сомнения в святости высказанных «вождем» истин, вполне достаточно, чтобы получить высшую меру наказания — расстрел.

Логика правительственной пропаганды чрезвычайно проста: советская власть — власть рабоче-крестьянская, то есть власть народная, она представляет народ, поэтому тот, кто выступает против народной власти, выступает против интересов народа, значит, он враг народа. А с врагами народа расчет короткий.

По этой же оригинальной логике политических противников у власти, собственно, быть не может: не достоин называться политическим противником тот, кто борется против своего народа, поэтому максимум, до которого в оценке власти может подняться оппозиционер — это быть агентом иностранной разведки, шпионом; для не поднявшихся же и до этого уровня вполне достаточно названия и уголовного преступника. За тридцать лет существования советской власти еще ни один человек не удостоился быть названным политическим ее противником. Даже такие люди, как Троцкий — первый сотрудник Ленина в годы гражданской войны, как Бухарин — идеолог партии, и десятки других крупнейших деятелей «ленинской гвардии», как председатели правительств союзных республик, как Тухачевский — фактический создатель Красной Армии, и с ним до 57% высшего командного состава — были осуждены и расстреляны в качестве агентов германской, японской, английской и других разведок.

Вполне естественно — в этой атмосфере удушья, в атмосфере психологической газовой камеры выработались особые специфические методы политического сопротивления, которые иностранному наблюдателю могут показаться и малопонятными и малоубедительными. . .

Крестьянина, зарезавшего, чтобы не сдавать в колхоз, последнюю коровенку, единственную кормилицу его многодетной семьи, нужно считать бесспорным политическим противником власти, потому что колхоз — это политика правительства, а зарезанная корова — это единственная доступная для крестьянина форма политического протеста.

Красноармеец, вернувшийся из-за границы и рассказавший за стаканом водки приятелю о том, что заграницей люди живут не так плохо, как об этом твердит правительственная пропаганда, — несомненный политический враг власти, и в далекий концлагерь сошлют его минимум на 10 лет, как ведущего антисоветскую буржуазно-капиталистическую агитацию.

Рабочий, рассказавший в компании друзей антисоветский анекдот, в толковании советского юридического права — враг народа, и после долгих допросов, издевательств и пыток

он, если не будет расстрелян, должен будет искупать свою «вину перед родиной» не меньше, как десятью или пятнадцатью годами тяжелого каторжного труда. Впрочем, в концлагерь он поедет не один: вместе с ним — и тот, кто слышал, как этот анекдот был рассказан, но не проявил должной бдительности, не исполнил гражданского долга советского патриота и не донес об этом органам тайной политической полиции — НКВД.

Необычны формы политического уклада страны Советов, необычны и методы борьбы с ними.

Если рабочие испортили фрезерный станок предателя их интересов стахановца, или, поймав в темном переулке, побили его самого, то с их стороны это является большим революционным актом: они знают — искупать свою вину им придется многолетней каторгой.

Если на первых выборах в Верховный Совет в 1937 году три миллиона человек отважились подать, признанные потом недействительными, выборные карточки с перечеркнутой фамилией единственного кандидата, то с их стороны это потребовало большой отваги и решительности. Нужно было перебороть страх перед всезнающим и всемогущим НКВД и пойти на серьезный риск своей жизнью.

Коммунистическая партия в СССР монополизировала и держит в своих руках без исключения все области жизни — производство и распределение продуктов, поэзию и торговлю, религию и взаимоотношения между членами семьи. Силы сопротивления русского народа накапливаются и проявляются там, где наступает власть. Поэтому к победам русской оппозиции нужно отнести и то, что народ отстоял от разложения семью, так долго являвшуюся объектом нападения коммунистического правительства, как и то, что после пятнадцатилетнего строгого запрещения зажглись огни ёлок, и то, что в тяжелые дни войны народу разрешено было вспомнить, что история его началась не в 1917 году с приходом коммунистической партии к власти, а гораздо раньше. Борьба идет в быту, за мелочи, незаметные и неважные для постороннего, непосвященного глаза. Но в этой борьбе приносятся тяжелые жертвы со стороны народа. Как невероятно кажется всё, что касается «самой демократической страны в мире», так же невероятна покажется и цифра жертв, принесенных народом в этой борьбе, — в 30 миллионов человеческих жизней исчисляют беспристрастные наблюдатели его потери.

Борьбу за свою независимость, за право жить, как живут

другие, просто за право ж и т ь народ начал тридцать четыре года тому назад, с первых дней оккупации России интернациональными силами...

*

В первых числах января 1918 года в Петрограде собрался первый свободно выбранный парламент — Учредительное Собрание, которое должно было выработать новую конституцию страны, год тому назад свалившей трехсотлетнюю монархию Романовых. Молодая российская республика проходила полосу тяжелых испытаний. Изнурительная война тянулась уже четвертый год. Армия, разложенная пораженческой пропагандой (ее вела только коммунистическая партия), не хотела воевать, хотя Россия вместе с союзниками была накануне победы. Российская демократия, еще неоформившаяся и только что вышедшая на политическую арену, билась в тисках между чувством долга перед союзниками и чувством самосохранения перед растущим развалом внутри страны, между сознанием необходимости довести войну до победного конца и страхом быть затопленной взбудораженной народной стихией и анархией. Коммунистическая партия, к тому времени насчитывающая в своих рядах несколько десятков тысяч человек, нанесла удар в спину стране и демократии, использовав невысокую гражданскую сознательность масс, отсутствие политической культуры вообще и разложив государственный организм провокационными, предательскими и пораженческими лозунгами. Позднее, на третьем конгрессе коммунистического интернационала Ленин с циничной откровенностью признавался — «Десять миллионов рабочих и крестьян были под ружьем и не хотели воевать. Они пошли за нами потому, что мы бросили лозунг — «немедленный мир, во что бы то ни стало»... Вопреки ожиданиям большевиков, несмотря на это «пошли за нами», коммунистическая партия получила в Учредительном Собрании только 175 мандатов из общего числа 690 депутатов. Эти мандаты дали голоса рабочих и крестьян, обманутых демагогическими лозунгами и сознательно лживыми обещаниями. «Земля крестьянам!» — кричали коммунистические агитаторы в деревне. «Фабрики и заводы в руки рабочих!» — вторили им агитаторы среди молодого, политически незрелого российского пролетариата.

Самая популярная в стране партия социал-революционеров (по программе очень близкая европейским социал-демократическим партиям) получила абсолютное большинство, послав 417 депутатов.

5-го января, оперевшись на десятки тысяч дезертиров, бе-

жавших с фронта и наводнивших в те дни столицу, коммунисты штыками разогнали Учредительное Собрание и положили начало тому невообразимому рабству, которое вот уже тридцать пять лет под названием советского строя четвертует русский народ.

5-ое января 1918 года был последним днем русской демократии и первым днем средневековья, воскрешенного на просторах вчерашней Российской империи.

Народ не остался безразличным к своей судьбе. Вспыхнувшая гражданская война на юге и севере, на западе и востоке четыре года лихорадкой била страну. И крестьяне и рабочие, и интеллигенция и неразложившиеся остатки армии четыре года сопротивлялись интернациональным бригадам, латышским и китайским частям, а прежде всего — сотням тысяч таких же крестьян и рабочих, пошедших за большевиками, сотням тысяч русской молодежи, не разобравшейся еще тогда, что борется она не за новый светлый мир во всем мире, а строит свою собственную тюрьму, не понявшей еще тогда, что коммунизм — это не новооткровение мира, а катехизис ненависти, злобы и звериной вражды всех ко всем.

Русская демократия, поскольку она и принимала участие в борьбе, не выполнила своей роли, не одухотворила ведущейся борьбы политическими идеалами и новыми идеями, ограничившись только отрицанием наступающего коммунизма. Такая борьба и не могла быть победной, и в 1922 году на Дальнем Востоке ушли заграницу в Китай последние отряды вооруженных противников коммунизма. В официальной советской печати принято представлять эпоху гражданской войны как эпоху борьбы народа, вставшего на сторону советской власти против класса буржуазии, класса эксплуататоров. Это типичная для коммунистов ложь. Российская буржуазия, еще только создающаяся, не могла бы четыре года на многих фронтах с таким упорством сопротивляться миллионным армиям, выставленным большевиками. Против них дралась наиболее политически сознательная и зрелая часть народа, во всем его вертикальном разрезе. Боролось почти поголовно казачество, в значительной степени крестьянство, давшее костяк всем антибольшевистским армиям, боролась трудовая интеллигенция и рабочие, составлявшие, в частности, лучшие части адмирала Колчака, дравшиеся в Сибири.

Еще перед окончанием гражданской войны начались массовые крестьянские восстания в областях давно и прочно занятых советской властью. — Движение Антонова в Тамбовской губернии, крестьянские восстания в западной Сибири, наконец, восстание военного флота в Кронштадте, еще до недавнего времени бывшего верной опорой советской власти.

К середине 1921 года крестьянские восстания поочередно полыхали почти по всей стране. По подсчетам Чрезвычайной Комиссии — ЧК (прообраз НКВД, Гестапо и пр.) восстаниями было охвачено 110 уездов, то есть, в общей сложности, территория европейского государства средней величины, причем восставшими было захвачено 18 больших городов.

Трудно представить, до какого отчаяния была доведена крестьянская масса, чтобы невооруженной, как ее далекие предки, с топорами и вилами итти против пулеметов, броневых машин и танков, против артиллерии и авиации, которыми широко пользовалась советская, как она себя называет, «рабоче-крестьянская» власть. Трудно представить и жертвы, которые несла восставшая крестьянская стихия.

Не благополучнее было и в городах.

Уже в 1918 году произошло большое восстание в Ярославле, в июне 1919 года — восстание матросов на фортах близ Петрограда, около того же времени восстание социал-революционеров в Москве. Части Красной Армии, посылаемые для подавления этих восстаний, нередко переходили на сторону повстанцев или уходили партизанить в леса и горы, как ушла из армии Буденного на Кавказе целая бригада Маслака.

Политическое положение в стране было таково, что правительству пришлось признать невозможность дальнейшего ведения политики «военного коммунизма». Вести борьбу со всё разраставшимся повстанческим движениям становилось всё труднее и труднее. Экономическое положение страны было катастрофическим. Перед Лениным и его товарищами встала дилемма — или отступить перед народной стихией, или быть сметенными ею с лица земли. Раньше Ленин говорил: «Пусть погибнет 90% населения России, но зато остальные 10% доживут до мировой революции». В данный момент было не до «мировой», и у него возник план стратегического отступления, давшего возможность сохранить власть над Россией.

Все попытки народа освободиться от коммунистической власти были потоплены в крови миллионов и миллионов человек, но, с другой стороны, заставили отступить и власть. «Военный коммунизм», имевший целью немедленное осуществление коммунистических идеалов, принужден был уступить свое место полукапиталистической «новой экономической политике» — НЭП'у.

Первое наступление мертворожденной идеи на органическую жизнь было отбито. Народ начал залечивать свои раны,

прежде всего в хозяйстве страны, а власть, ничему не научившаяся за это время, с упорством маньяка начала готовиться ко второму.

*

Преступление, творимое над народом коммунистическим правительством, не прошло бесследно и для более идейной и честной части коммунистической партии. Немногочисленная, но монолитная в начале революции, партия большевиков к последнему году «военного коммунизма» раскололась на целый ряд взаимновраждующих группировок.

Часть молодежи, идиллически представлявшая построение коммунизма по наивным пропагандным брошюркам, при виде творившегося ужаса отшатнулась вправо. В дальнейшем эта часть партии давала кадры для бесконечного количества правых «уклонов» и «загибов», неизменно кончавшихся разгромом организаций и расстрелом их участников. Часть вождей поочередно перенимала над ней руководство и до конца делила с ней ее участь.

Другая часть, более экзальтированная и нетерпеливая, мечтавшая с чисто религиозным энтузиазмом совершить во что бы то ни стало «прыжок из царства необходимости в царство свободы», разочаровалась в возможности достижения «светлых вершин коммунизма» вообще и ушла в быт. Для этой части характерны многочисленные самоубийства после отступления власти на позиции «новой экономической политики».

К моменту введения НЭП'а значительная часть кадров партии разочаровалась в идеях и вождях — было ясно, что принесенные жертвы не дали никаких результатов. НЭП вызвал появление в недрах партии первой серьезной, так называемой, «рабочей» оппозиции. Во главе ее стояли старые большевики Шляпников и Осинский, имевшие моральную поддержку Троцкого тоже, по своим причинам, недовольного НЭП'ом.

Резко критикуя верхи партии, оппозиция требовала, между прочим, введения в партии внутрипартийной демократии, а также передачи фабрик и заводов в руки профсоюзов.

«Рабочая оппозиция» разделила участь всех, кто пытался восставать против «рабоче-крестьянского правительства», — она была физически уничтожена почти в полном составе.

На верхах партии в это время шла жестокая борьба между вождями за остающееся наследство Ленина, отходящего в это время от работы из-за тяжелой неизлечимой болезни — прогрессивного паралича.

После его смерти, в 1924 году, борьба эта приняла особенно острые формы между двумя претендентами — Троцким и Сталиным. Первый объединил вокруг себя так называемую левую оппозицию, в которую вошли остатки недобитой «рабочей оппозиции» и особенно сильной группы «демократического централизма». Сталин опирался на подобранные им кадры «сталинцев» — людей менее идейных, но более властолюбивых.

Попытка со стороны Троцкого поднять восстание в день десятилетия захвата власти большевиками в 1927 году окончилась неудачей. Не сумев проникнуть в Кремль, группа восставших была разгромлена сталинской полицией. На этом закончилась карьера Троцкого. В запутанной закулисной борьбе полной интриг, обмана и предательства, Сталин победил всех своих конкурентов и в 1927 году оказался единственным и полновластным хозяином и партии и страны.

НЭП благотворно отразился на экономическом состоянии народа. В 1928 году коммунистическая партия оказалась перед выбором — или итти на новые уступки, на этот раз уже в области политической, или переходить снова в наступление, направленное к новому обнищанию и более крепкому закабалению народа. Сталин пошел по второму пути. Программа имела целью индустриализацию страны на базе «феодальной эксплуатации крестьянства». Начались годы коллективизации сельского хозяйства, начался новый акт трагедии русского народа, прежде всего крестьянства, — акт, перед которым бледнеет всё, что было пережито в годы гражданской войны и в годы военного коммунизма.

Коллективизация вылилась в ожесточенную борьбу вооруженного до зубов коммунистического меньшинства против неорганизованной и безоружной крестьянской массы.

Первый натиск власти встретил повсеместный отпор крестьян, иногда выливавшийся в бунты и даже восстания. Наиболее известным и крупным из них было восстание в станице Тихорецкой на Кубани. Был целый ряд и других. О них доносились глухие отзвуки заграницу, и смутные слухи ходили по стране. Официальных сообщений не было, как нет их и сейчас. «Невозвращенец» Дмитриевский в книге, изданной им в 1932 году, как раз об этом периоде пишет:

«...Когда несколько лет тому назад на Кавказе было кровопролитное восстание, никто в Москве, никто в остальной России, ни даже официальный глава государства Калинин, ни глава официального правительства Рыков, ни члены Политбюро не знали о нем, пока оно не было окончательно подавлено... Из секретариата Сталина, по секретным прямым

проводам, минуя официальную советскую власть, шли распоряжения органам армии и полиции и местным партийным комитетам. Так бывает часто, и в этом одна из многих причин силы Сталина».

Новое наступление имело целью не только пролетаризировать крестьянскую массу, сделав из деревенских полей «фабрику зерна», не только вырвать экономическую базу из-под ног окрепшего за годы НЭП'а крестьянина, но и переломить его психологию. Крестьянство оказало стихийный отпор и в области хозяйственной. Не желая отдавать имущества в колхоз, крестьяне уничтожали его и, в частности, резали скот и птицу. Погибло свыше половины лошадей и крупного рогатого скота, свиней и две трети овец и коз. Из 276,7 миллионов крупного и мелкого скота, имевшегося в сельском хозяйстве в 1928 году, таким образом, уничтожено 149,4 миллиона голов. Насильственное изъятие продуктов из деревни, резко сократившей размеры своей продукции, привело к страшному голоду, разразившемуся в 1932 году. Миллионы людей, преимущественно крестьян южных областей страны, особенно ожесточенно сопротивлявшихся сталинскому натиску, погибли голодной смертью.

Сметая «кулачество», то есть наиболее хозяйственную часть крестьянства, с лица земли, советская власть разгромила свыше пяти с четвертью миллионов крестьянских дворов, с общим населением около 22 миллионов душ. Эти миллионы людей навсегда исчезли из деревни. Часть из них была расстреляна на месте или погибла в тюрьмах и концлагерях. Сотни тысяч вымерли, увезенные в холодное заполярье. К этому нужно прибавить несколько миллионов человек, погибших от голода и лишений.

Крестьянство, неорганизованное и невооруженное, без политического руководства, оказывая сопротивление, давило своей стомиллионной массой. Неся чудовищные потери, оно наносило потери и врагу. Тысячи членов коммунистической партии, посланные в деревню коллективизировать сельское хозяйство, не вернулись оттуда. Они были убиты возмущенными крестьянами. Сотни тысяч актов хозяйственного саботажа повлекли за собой сотни тысяч расстрелянных крестьян и казаков.

Путем ни с чем несравнимого террора и неслыханных насилий власти удалось сломить крестьянство и заставить его вступить в колхозы. Лишенный своего кровного добра, плодов своего труда, земли, еще вчера бывшей его собственностью, получая жалкие крохи за «трудодни», крестьянин принужден влачить беспросветное существование батрака на

государственных плантациях. Советская власть за годы коллективного хозяйствования довела его до законченно нищенского состояния. Проголодь, рваное тряпье вместо одежды, отсутствие обуви — вечные спутники с тех пор крестьянской жизни. К этому нужно прибавить полное политическое и гражданское бесправие.

Но крестьянство не сдалось. Еще до последних дней можно наблюдать отзвуки глухой и напряженной борьбы в русской деревне. Последний декрет советского правительства от сентября 1947 года — явное тому доказательство.

Не в лучшем положении оказался к началу минувшей войны и «класс-гегемон» — рабочий класс, во имя и от имени которого совершалась коммунистическая революция. Указом от 1938 года рабочий лишен даже самого элементарнейшего из своих прав — права переменить работу. Он лишен и права забастовки — было бы государственным преступлением выступать против «своего рабочего» правительства. Рабочий абсолютно бесправен и беззащитен, потому что и его работодатель, и суд, и работодатель в другом предприятии, и профессиональный союз, который должен был бы его защищать, — всё это одно и то же лицо, государство, то есть коммунистическая партия. Только глухое брожение среди рабочих, да акты саботажа говорят о том, что неокончательно сломленным оказался и рабочий класс.

Советская власть довела народ не только до колониальной нищеты, но и, что еще тяжелее, до небывалого в истории человечества духовного рабства. Это тяжелее всего отражается на интеллигенции. В СССР со всей строгостью полицейских мер преследуется каждая попытка не только писать и говорить, но и думать и чувствовать как-нибудь не так, как это предписывает коммунистическая партия.

Интеллигенция лишена права на свободное творчество, потому что никто не имеет права заниматься вопросами философии, социологии или истории — это монополизировано партией. Роль писателя и поэта сведена к роли пропагандиста мероприятий правительства, потому что вся художественная литература — это только отдел партийной пропаганды. Роль композитора и художника — писание новых гимнов и полотен, прославляющих «гениальность» вождя и его партии.

Духовный гнет — трагедия не только интеллигенции, а всего русского народа, и прежде всего трагедия русской оппозиции. Из-за этого гнета, из-за невозможности политически осознать смысл ведущейся борьбы, оппозиция принуждена ограничиться только отрицанием наступающего всё вре-

мя коммунизма. В противовес ему создать ничего было нельзя. А борьба, ведущаяся только «против», без ясного и определенного «за», к победе привести не могла и не привела.

*

Сопротивление народа, оказанное в годы коллективизации и первых пятилеток, если и не имело ярко выраженного определенного политического характера, то последствия его были чисто политическими. Одним из них является факт, что это сопротивление раскрошило коммунистическую партию, как идейную силу. Партийная оппозиция, часто разделяя недовольство народа, как раз в этот период проявила большую активность.

1-го декабря 1934 года в Смольном прогремел выстрел Николаева, лишившего жизни Кирова, одного из сотрудников Сталина. Расследование обстоятельств убийства, по официальной версии советского правительства, привело к обнаружению заговорщицко-террористической деятельности Зиновьева, явившегося, якобы, вдохновителем убийства Кирова.

Выстрел Николаева послужил для Сталина грозным предупреждением, приведшим его к решению окончательно расправиться с партийной оппозицией, путем ее физического уничтожения.

Но не только это соображение толкнуло Сталина на организацию нашумевших в свое время процессов. Для всех было ясно, до чего власть довела страну в годы пятилеток. Все понимали, что в этом виноват Сталин. Желая снять с себя ответственность за страдания народа и обелить себя, Сталин решил найти виновников в лице «предателей», скомпрометировавших затеянное им строительство социализма. Первыми «предателями» оказались наиболее политически опасные для Сталина деятели старой «ленинской гвардии».

Первый процесс — «процесс 16-ти» — явился полной неожиданностью для всего мира.

15-го августа 1936 года было опубликовано сообщение о готовившемся покушении на вождей и членов правительства и, в первую очередь, «на вождя народов, великого и родного Сталина». Организаторами покушения оказались виднейшие большевики, ближайшие сотрудники Ленина.

Суд состоялся 19 августа. Весь процесс был грубо лубочно инсценирован органами НКВД. Подсудимым ставилась в вину связь с Троцким, находившимся в это время заграницей, и Гестапо. Их обвиняли во вредительстве, шпионаже, измене родине. Трудно представить более жалкую и убогую роль,

чем та, которую отвел им Сталин. Декоратором и режиссером процесса выступил тогдашний государственный прокурор СССР — Вышинский, ныне с таким темпераментом выступающий на трибуне Ассамблеи Объединенных Наций. Все подсудимые были приговорены к смертной казни и расстреляны 20-го августа, на следующий день после начала процесса.

Вскоре развернулся второй процесс — «процесс 17-ти». И на этот раз на скамье подсудимых оказались крупнейшие большевики. Обвинение было таким же — шпионаж, вредительство, саботаж. «Суд» вынес 13 смертных приговоров; Радек, Сокольников и Арнольд были приговорены к 10 годам строгой изоляции, Строилов к 8-ми. Последних спасло от расстрела энергичное вмешательство лидера французских социалистов Леона Блюма и лидера английской рабочей партии Эттли.

В борьбе с инакомыслящими и имеющими влияние в стране Сталин не ограничился рамками партии. Следующий удар был нанесен наиболее популярным и видным военачальникам Красной Армии.

В июне 1937 года весь мир был озадачен расстрелом маршала Тухачевского, которому предшествовало самоубийство начальника политического управления армии — Гамарника.

Процесс Тухачевского и других генералов состоялся 11-го июня, и в тот же день подсудимые были расстреляны. Помимо Тухачевского были расстреляны: командующий войсками Киевского военного округа Якир, командующий войсками Белорусского военного округа Уборевич, начальник Осоавиахима Эйдеман, начальник Военной академии Корк, начальник отдела кадров армии Фельдман, заместитель командующего Киевским военным округом Примаков, военный атташе в Лондоне Путна.

Генералам приписывалась антиправительственная заговорщицкая деятельность, связь с «врагами народа» и неизменный «шпионаж» в пользу иностранных разведок. Сколько получил за свою шпионскую деятельность создатель Красной Армии и фактически ее главнокомандующий, маршал Тухачевский, в материалах процесса объявлено не было. Прокурор Вышинский проявил необычайную психологическую тонкость.

По-видимому, в военной среде был заговор против Сталина и во главе заговора стоял Тухачевский. Несомненно, что Тухачевский был возмущен проводившейся Сталиным политикой внутри страны. Как человек, стоявший во главе крупных масс войск, пользующийся большой популярностью не

только в армии, но и в народе, он был опасен Сталину, даже и без заговора, особенно в условиях надвигающейся войны.

Вместе с Тухачевским было изъято из армии и уничтожено 57% высшего командного состава.

Трудно сказать, как развивались бы события, если бы попытка Тухачевского завершилась удачей, можно без колебаний утверждать одно — что бы ни пришло на смену сталинской тирании, военная ли диктатура, власть ли какой-то партийной оппозиции, это было бы лучше, чем то, что есть сейчас, и события мировой истории последнего десятилетия выглядели бы иначе.

Мировая печать была полна догадок, как Сталину удалось предупредить и обезвредить заговорщиков, на этот раз, казалось бы, имевших все данные на успех? Вопрос ставился просто — кто выдал? В демократической печати Европы мелькали предположения, что выдали немцы, и даже не выдали, а спровоцировали Сталина уничтожить перед близкой войной всё руководство армии. Через десять лет после гибели Тухачевского виновник провала заговора назвал себя сам: на этот раз роль добровольного сексота НКВД, доносчика, с большим проворством и удачей сыграл его высокопревосходительство президент Чехословацкой Республики Эдуард Бенеш. В вышедших недавно воспоминаниях Уинстон Черчилль описывает, как Бенеш с большим удовлетворением рассказывал ему о своей большой удаче — ему удалось обнаружить связь заговорщиков с заграницей (она велась через Прагу) и спешно сообщить об этом Сталину. Немезида не всегда глуха к справедливости — через десять лет после того, как Эдуард Бенеш спас от разрушения сталинскую мясорубку, в нее попал он сам и Чехословакия.

Истребив видных деятелей оппозиции и армии, Сталин обратил свой меч против правого крыла партии. В марте 1938 года был организован и процесс так называемого право-троцкистского блока — «процесс 21-го». На этот раз обвинялись бывший председатель Совета Министров СССР, несколько министров и посланников, члены Политбюро, высшего управительного органа партии и страны. По меньшей мере половина их в смысле культурном и партийного стажа на две головы выше Сталина. Это и было одной из причин их уничтожения. Государственный прокурор, всё тот же Вышинский, и на этот раз не затруднил себя созданием нового варианта. Подсудимым приписывались так же, как и в прошлых процессах, саботаж, вредительство и обязательный шпионаж в пользу капиталистического окружения. Бухарину, идеологу партии, и Рыкову, председателю Совета Министров, ставилось в вину стремление «восстановить капита-

лизм» по той, вероятно, причине, что они еще во времена НЭП'а высказались против насильственной коллективизации сельского хозяйства. «Суд» признал подсудимых виновными и 18 из них приговорил к смертной казни. После «процесса 21-го» из семи человек, входивших в состав первого Политбюро, остался в живых только один — Сталин: Ленин успел умереть, Томский, во избежание быть участником «процесса 21-го» — застрелился, Каменев, Бухарин, Зиновьев и Рыков — расстреляны Сталиным как «бешеные псы».

С этого момента коммунистическая партия СССР вступила в новый период своего существования, превратившись в безыдейный полицейский аппарат диктатора.

Если наряду со всем перечисленным упомянуть еще о волне кровавого террора, известной под названием «ежовщины», прокатившейся по стране в 1937-38 годах, затмившей своей жестокостью всё до сих пор совершенное советской властью, докатившейся до самых удаленных уголков страны и не оставившей нетронутой почти ни одной семьи, то картина «мирного расцвета СССР», как эти годы называются советской пропагандой, будет приблизительно полной.

Русская опозиция, еще до осознания своего политического «я», заливалась все новыми и новыми морями крови, и то, что она всё-таки уцелела и существует, нужно отнести за счет ее надчеловеческих сил.

Собрать оппозиционные силы, вооружить их идейно и вместе с ними пойти на борьбу и против внешнего врага и против такого же жестокого врага внутреннего — коммунистической диктатуры — и должны были двинуться члены нашей организации.

✷

Чтобы перебросить кадры нашей организации в занятые немцами области России, было два пути. Один, через территорию южных сателлитов Германии — Болгарию, Румынию, Венгрию, — был путем более трудным. Эти государства сохранили свою административную структуру, они обладали твердыми, хорошо охраняемыми границами, с контролем внутри страны, усиленным оккупационными немецкими властями. Без знания языков этих стран (с документами дело было менее сложным) пересекать несколько раз границы большому количеству людей было немыслимым. Самое трудное было бы выйти из Югославии, в которой немцы установили режим, немногим более мягкий, чем в хорошо организованном концлагере. Кроме того, этот путь был недоступен членам организации, находившимся в западной Европе — Франции, Бельгии, Италии и других странах.

Второй путь вел через Германию и дальше через Польшу. Польша, как «генерал - губернаторство» включенная в состав Райха, не имела со стороны Германии точно обозначенных затвердевших границ — это в значительной степени облегчало задачу. Кроме того, мы надеялись, что можно будет рассчитывать на помощь поляков, с первого дня капитуляции начавших готовиться к борьбе против оккупационных властей.

Попасть же в Германию было делом самым легким. Нужно было записаться едущими туда на работу.

Выяснению технических вопросов — можно ли, приехав на работу, бежать с предприятия, можно ли на нелегальном положении пробыть несколько недель, ожидая возможности двинуться дальше, можно ли и какими путями пройти через Польшу, и целого ряда других — были посвящены первые полтора месяца. К началу августа, когда на все эти вопросы были получены удовлетворительные ответы, первая партия стала готовиться к отправке.

Немецкая промышленность, в то время еще нетронутая бомбардировками западных союзников, работала полным ходом и бесперебойно. Армия не требовала еще таких пополнений, так что Германии вполне хватало своих рабочих немецких рук и насильного увоза на работу из занятых стран почти не практиковалось. Но отдельные, главным образом частные немецкие фирмы и, прежде всего, не работающие непосредственно по военным заказам, страдали от недостатка рабочих рук, которые они и имели право вербовать в оккупированных странах на совсем тогда еще добровольных началах.

Нашим друзьям, живущим в Германии эмигрантам и членам организации, удавалось доставать частью фиктивные, частью настоящие контракты для ввоза небольшого количества рабочих. Фиктивность была хорошо прикрыта, никаким органам власти не под силу было бы установить, нуждается ли такое-то предприятие в двух или трех дополнительных рабочих или нет, тем более, что предприятия эти были чаще всего починочные и переплетные мастерские, типографии, гаражи и т. д.

Один из наших членов, работавший еще до войны старшим инженером строительной фирмы, без особого труда смог прислать двенадцать контрактов, с перспективой высылать ежемесячно такое же количество. Контракты подписывались нами в белградской бирже труда.

В середине августа первая партия с контрактами в карманах и путевками, зарегистрированными немецкими властями в Белграде, двинулась в путь. С первой партией едет и часть

руководящих членов организации, едет и ее возглавитель, многолетний выборный председатель, Виктор Михайлович Байдалаков, которого между собой мы называем Старшим.

Мои опасения, что мой отъезд из Белграда легальным путем вызовет трудности, не оправдались. Оставался ли приказ о невыезде в силе или нет, я так и не узнал. Попытки выяснить это — не дали никаких результатов. С началом войны с Советским Союзом переменился весь состав полицейских властей, и то, что было до этой войны, по-видимому, не представляло уже такого интереса. Во всяком случае, когда я пошел доставать пропуск для разрешения посетить родственников, живущих, якобы, в провинциальном городке Смедерево, таковой был мне выдан беспрепятственно. Так же беспрепятственно был закреплен и мой контракт с одним из книжных магазинов, хозяин которого брал меня как специалиста-библиотекаря.

14-го августа, поздно вечером, наш поезд отошел с белградского вокзала.

В ожидании отъезда мы купили экстренные выпуски газет с сообщениями Верховного Командования немецкой армии о падении новых русских городов, о сотнях тысяч новых военнопленных и о дальнейшем стремительном продвижении немецких частей. Было ясно, что ни армия, ни народ, не оказывает никакого сопротивления. На душе было тяжело: на такой ошеломительный успех немецких замыслов, на такую быстроту продвижения немецких дивизий на восток мы все-таки не рассчитывали. Это было доказательством, что народ не только не хочет защищать большевизм, но и не ставит никаких условий завоевателю. Смоленск, Псков, Орел ... Туда ведут наши пути, но еще сколько трудностей, сколько препятствий впереди ...

*

В нашем поезде мы не единственная рабочая сила, едущая в Германию. Едут сербы, едет большая партия кроатов, едут и русские. Людей гонят голод, безработица, невозможность заработать кусок хлеба дома. Едут по таким же контрактам, как и мы, но совсем по другим причинам и с другими намерениями. Русские эмигранты, впрочем, едут с тайной надеждой «попасть домой».

Отношение эмиграции к Гитлеру до войны, особенно эмиграции, живущей вне Германии, было скорее положительным. В нем видели единственного человека, открыто и непримиримо выступающего против коммунизма. Первые же дни войны открыли глаза многим на его планы и намерения.

Возглавители эмигрантских организаций в Германии после объявления войны обратились к немецкому правительству с предложением своего сотрудничества в борьбе против «мирового зла и врага человечества коммунизма». Ответ был вежливым и категорическим, не оставляющим никаких сомнений и никаких надежд на перемену начавшей обозначаться «восточной политики»: «Германский народ своими силами решит стоящие перед ним задачи. . .», а эмигрантам рекомендуется сидеть смирно и не мешаться не в свои дела.

Рабочие едут добровольно — поезд идет без охраны и почти без контроля.

В Мариборе первая большая остановка — санитарный кордон. Медицинский осмотр, мытье в бане, дезинфекция вещей — занимают несколько часов. С наступлением темноты двигаемся дальше. Мы уже больше суток в пути, а до конца его еще далеко. Наши контракты подписаны все или на Берлин или на его ближайшие окрестности.

После долгой задержки на венском вокзале ночью едем дальше.

Поезд идет с потушенными огнями. Совершенная темнота и кругом. Затемнение. За окнами вагона — Германия. Мы с трудом различаем силуэты мелькающих домов, улиц, больших станций и городов. В темноте, кажется, слышим какие-то шорохи, приглушеные голоса — Германия. Вражеская страна . . .

В переполненном доотказа вагоне мы сидим в проходах на небольших чемоданчиках или рюкзаках — единственном нашем багаже.

Рядом со мной мой давнишний друг, соученик по школе и единомышленник по организации — Славушка Горовой. Он был добровольцем в югославской армии, был в плену, откуда бежал за неделю до нашего отъезда. У него, кроме наших общих целей, еще и особое основание для поездки — замести следы. После начала войны с Советским Союзом, немцы тщательно собирают в лагеря служащих югославской армии, части которых удалось остаться на свободе после капитуляции. Всем им приказано в кратчайший срок явиться в соответствующие комендатуры. Побег из лагеря, куда их всех направляют, влечет наказание до расстрела включительно. У Славушки все основания для того, чтобы поторопиться с отъездом.

Мы с ним полушепотом, так, чтобы не слышно было окружающим, делимся своими мыслями.

— Знаешь, Славушка, то, что мы делаем, — правильно, я чувствую это каждой частицей своей души. Но, вот, сейчас война, а мы едем свободными людьми по вражеской террито-

рии. Если мы не сможем это оправдать своими делами в будущем, у нас будет очень нехорошо на душе.

Он придвигается ближе и улыбается широкой улыбкой:

— Ты прав, но, знаешь, против этого есть лекарство . . .

— А именно?

— Ну, лекарство не сложное. Если не удастся осуществление наших планов, — если удастся — они оправдают всё — нужно вести себя так, чтобы приносить немцам больше вреда, чем пользы, тогда и на душе будет спокойно . . Вот я лично чувствую себя обеспеченным от этого, я в большом долгу перед немцами, и чтобы они со мной ни делали, они никогда не смогут свой долг получить обратно.

— Как же это удалось тебе получить от них такой кредит?

— Да, они дали его не совсем добровольно, вернее, собственно и не знают, что дали: я сам взял.

— Расскажи, Славушка . . .

Мы сидим почти на корточках. Он, не глядя на меня, едва шевеля губами, без всякого выражения рассказывает:

— Это было тогда, когда в Югославии рушилось всё. Мы небольшим отрядом бродили на юге Сербии. Никто не знал, где немцы, где свои. Настроение было — хоть вешайся. В этих скитаниях наш отряд таял, пока не осталось 12 человек. Среди них было три офицера, все разных частей, впервые встретившихся уже после разгрома . . . Как-то около Митровицы мы остановились отдохнуть на дороге у перелеска. Не успели мы расположиться, вдруг из-за поворота дороги, с той стороны, откуда мы только что пришли, выходят четыре немецких танка. Наши солдаты вскочили и без всякой команды открыли по ним стрельбу. Били из винтовок и ручных пулеметов, кто стоя во весь рост, кто с колена. Танки, подойдя почти вплотную, в упор открыли огонь из орудий. Первыми же выстрелами было убито несколько человек. Остальные бросились бежать. Происходило всё это несколько мгновений. Я, сам не знаю почему, остался лежать метрах в пятидесяти от дороги . . . Танки остановились . . . Смотрю, в переднем открывается люк, высовывается голова, осматривается кругом. Вылезает человек. Я легко различаю, что это офицер. Встал во весь рост около башни. Из других машин выходят тоже люди. Стоящий, показывая головой в сторону убитых, смеясь что-то говорит подошедшим солдатам. . . Зло меня взяло, не могу тебе рассказать какое . . . Осторожно, чтоб не стукнуть о камень, передвинул винтовку и прицелился . . . Он только что вытащил портсигар и взял папиросу в рот. Я выстрелил. Он взмахнул руками и, как сноп, свалился с танка на землю. Из выпавшего из рук портсигара

разлетелись папиросы... Танкистов сдуло, как ветром. В мгновение они все были на местах и захлопнули люки...

По выражению лица Славушки в вижу, что эта картина стоит у него перед глазами. Он замолк.

— Ну, что же дальше? — спрашиваю я.

— Дальше ничего. Они минут десять стреляли через мою голову в сторону леса. Снаряды рвали землю совсем рядом со мной. Пойти на опушку, видимо не решились. Потом они осторожно вылезли, взяли труп офицера в танк. Только они скрылись за поворотом, ушел и я... Вот тебе и кредит. С тех пор я считаю себя большим должником Гитлера. И если что-нибудь не удастся в наших планах, заставят они меня, скажем, работать — моя совесть будет спокойна, что бы я ни делал, заменить командира танкового отряда, и, повидимому, не плохого командира, я все-таки не смогу...

Славушка, может быть, прав. Впрочем, не знаю. Если это верно по отношению к одному человеку, то верно ли и для организации? Если кто-нибудь из нас будет принужден работать на фабрике, то есть приносить Германии пользу, то кто-нибудь другой должен, как минимум, портить машины или взорвать поезд, в общем, сделать что-то такое, чтобы задолженность обоих превышала их вклад. Не знаю. Может быть, действительно было лучше остаться в Белграде и смотреть со стороны, чем это все закончится. Впрочем, нет, — только не это...

Поезд замедляет ход. Начинаются предместья Берлина.

Глава III

Первые встречи

Будущим историкам предстоит преодолеть большой соблазн — воздержаться от проведения параллели между двумя эпохами в жизни Европы: началом XIX века и концом первой половины XX-го и, прежде всего, конечно, между двумя завоевателями — Наполеоном и Гитлером. Будет для историков слишком соблазнительным сравнить два покорения Европы и две человеческих судьбы, бросивших свою тень на страницы истории старого континента.

Военные прогулки по столицам западной части материка, попытки объединить Европу, борьба с Великобританией и коалиции, созданные ею, положившие конец завоеваниям.

Будет слишком соблазнительно для историков подчеркнуть, как неудачно для обоих завоевателей закончились кампании в Африке, как обоим не удалось осуществить высадку в Англии и как для обоих первый шаг по русской земле оказался первым шагом к могиле. «Ефрейтор армии Вильгельма II прошел тем же путем, каким за 130 лет до него прошел капрал армии Людовика XVI» — так, вероятно, будут писать романисты, менее связанные в суждениях, чем историки.

И действительно, внешнее сходство между ними разительно. Иногда поражающее совпадением даже мельчайших деталей. Но сравнение по существу было бы оскорбительной клеветой на императора и большой исторической ошибкой.

О Гитлере не будет написано поэм и сложено красивых песен, как никому не приходило в голову поэтизировать образ дюссельдорфского убийцы или Джека - потрошителя. Уголовщина, она является составной частью гитлеризма, не окутанная дымкой романтики, не имеет шансов попасть и в народный эпос, и история 30 - 40 годов вероятно долго еще

не выйдет за рамки сухих протоколов специалистов по уголовному праву. С этой же стороны она интерес будет представлять исключительный и материал неиссякаемый.

Уголовщина — она по сути своей индивидуальна. Преступления совершают отдельные люди, бывают преступные общества, то есть коллективы преступных индивидуумов, но с тем, чтобы уголовные преступления обслуживались таким количеством людей, история столкнется только тогда, когда в ней впервые будет упомянуто о тоталитарных режимах XX века.

Преступления нацизма перед человечеством могут быть убедительной иллюстрацией к теме — что может сделать из людей тоталитарный строй. При этом строе в каждом народе находятся миллионы людей, с готовностью обслуживающих любое преступление, задуманное правящими верхами. Все так называемые «народные демократии», приобретенные в результате второй мировой войны, новые провинции коммунизма, как Чехословакия, Венгрия, Румыния и другие, неопровержимо это доказывают. Точно так же, как и в самой России, где народ находится в колониальном рабстве, ведут допросы в НКВД и охраняют концлагери не персонально члены Политбюро. В Англии и Америке сейчас, конечно, кажется неправдоподобным, что в случае победы тоталитаризма там нашлись бы англичане и американцы, люди сейчас вполне нормальные, для которых не было бы проблемой ходить по колено в крови своих сограждан и недавних друзей. Для того, кто знает душу тоталитаризма и особенно наиболее страшной его разновидности — коммунизма, это не является вопросом. Такие люди, миллионы таких людей найдутся всюду. Если есть понятие духовной элиты, то с таким же правом можно говорить и о духовной черни, которая главным действующим лицом, правда, нередко плечом к плечу с идеалистами, выступает на арену общественной жизни при победных трубах тоталитаризма. Если тоталитаризму удается найти и использовать подсознательное в народной душе, задуманное верхами преступление перерастает в международную катастрофу. При звуках победных труб Гитлера на сцену вышел многоликий Фриц Мюллер. Гитлер нашел доступ к его душе. Нужно оговориться — для этого понадобилось особое, исключительное стечение обстоятельств.

Только национал - социализм и в сочетании только с психологией синтетического Фрица Мюлера со всеми ее пороками и добродетелями, и мог дать то, что войдет в историю под страшным именем гитлеризма. Национал-социализм мог быть создан только знатоком его души. Идея о «народе-господине» могла расцвести таким пышным цветом только в

Германии, в нее мог поверить и ей увлечься только поклонник Гитлера Фриц Мюллер, в котором нередко причудливым узором переплетается надутое доотказа примитивное высокомерие с совершенно невообразимым невежеством. Только он мог поверить в расовую теорию, в которой гораздо больше плебейской зависти, хотя бы к миру англосаксов, чем сознания превосходства, только его абсолютное незнание окружающего мира да воинствующее самовосхищение могли создать из национал - социализма религию, философию и политическую доктрину. Они рождены друг для друга — поднятый из мути общественных низов Фриц Мюллер и эта «философия», не дожившая до смерти своих основоположников и пророков. Пресловутые немецкие добродетели — талант к организации и способность к дисциплине — в сочетании с национал - социализмом оказались пороками, потому что, обслуживая преступление, сделали из него не вывих, не срыв, не стихию, а систему, и тем самым сделали его еще более отвратительным, еще более страшным. Преступление творилось не потому, что в сознании людей нарушалась какая-то гармония, а потому что ими руководило чувство хорошо выполняемого гражданского долга.

От возможности преступления не гарантирован никто, но, как правило, оно бывает результатом какого-то душевного кризиса; в данном случае оно было следствием расчета наверху и восторженной исполнительности внизу. Но и там и там — при абсолютном сохранении душевного покоя. Идеология национал-социализма давала заранее индульгенцию, отпущение грехов, совершенных или могущих быть совершенными во славу и процветание «фатерланда». Фюрер платил за всё и отвечал, как он часто говорил, только перед историей и своей совестью, поэтому Фриц Мюллер без всякого колебания и с готовностью шел на любое «мокрое дело». Совесть фюрера была не более чуткой, чем совесть мокрицы, но Фриц Мюллер, после многочасового рабочего дня, каждая минута которого набухла от пролитой крови, приходил домой и с безмятежно спокойной душой, без всякого надрыва, ласкал детей, а вечером поливал цветы. После поражения, он был искренне убежден, что планы фюрера не осуществились потому, что где-то, в каких-то расчетах произошла какая-то досадная техническая ошибка. Морально - правовая сторона предприятия для него не существовала совсем. Мысль об общности преступления с фюрером Фрицу Мюллеру не приходит и в голову, и он с поразительной легкостью отказался от фюрера, не теряя впрочем надежды, что его планы осуществит кто-нибудь другой. Отказ от вождя вызван не раскаянием, не отталкиванием от совершенного вместе с ним престу-

пления, а просто стремлением по возможности избежать возмездия. Этот инстинкт руководил в момент краха и ближайшими сотрудниками Гитлера. Из заоблачных высей, где они парили в дни удач, они с великой поспешностью опустились на грешную землю и многие из них, как самое мелкое жульё, с подвязанными зубами и приклеенными усами торопились скрыться и замести следы. Шекспир не нашел бы здесь материала для трагедии, тут, конечно, уместнее говорить о панике в воровском притоне, чем о крушении богов. Вероятно и это тоже характерно для рушащегося тоталитарного строя. Восточный сосед, создатель прообраза всех тоталитарных режимов, когда зашаталась почва под ногами, очень жалобно заговорил о «братьях и сестрах» и спрятался за враждебные ему идеи и образы.

Сразу после войны много писали о денацификации Германии. Правильнее было бы говорить о лечении болезни, уходящей корнями в более отдаленное прошлое, потому что в национал - социализме много от Вильгельма II и от Бисмарка.

Идея о господстве над миром родилась не вчера. Она владела немецкими умами уже тогда, когда Гитлера еще не было на свете. Уже Фридрих Ницше говорил о «непоколебимом убеждении в том, что таким существам, как мы, все другие самой силой вещей должны быть подчинены и принесены в жертву». «Все ослеплены фатаморганой будущего мирового господства немцев» — писала в конце прошлого века немецкая социалистка Лилли Браун, характеризуя настроение политических кругов Германии того времени.

Гитлер создал и применил только новое средство борьбы, новую технику для осуществления старой цели. Гитлер — это только новые масштабы, новая организация преступления, давно и не им задуманного. Господство над миром — это старая, запущенная болезнь немецкой психологии. За этот нездоровый сон Германия вела две мировых войны. Гитлеризм в гораздо большей степени принес страдания соседям Германии, чем ей самой, потому что реализация именно идеи господства сопровождалась самыми страшными преступлениями.

В немецких концлагерях сидело 99 %, если не больше, иностранцев, но и в лагерях и в тюрьмах между заключенными немцами и иностранцами была пропасть. Немец даже и в полосатом костюме концлагерника был, хотя и заблудшей овцой, но всё-таки сыном «народа господина».

Национал - социализм, уходя глубоко корнями в немецкую психологию, как на трех китах стоял на обещании по-новому решить социальные вопросы, дать реванш за проит-

ранную первую мировую войну и на обещании расширить пресловутый «лебенсраум» за счет западной части России. В извечном прусском милитаризме, веками мечтавшем о «дранг нах остен», он нашел по третьему пункту деятельного союзника и помощника.

Мечты фюрера летели, конечно, дальше. Покоренная и порабощенная Россия, потом высадка в Англии, поход через Малую Азию в Индию, Африка, создание мировой империи с его «херренфольк» во главе. Мечты кружили, конечно, и дальше в темных дебрях ефрейторской психологии.

Национал - социализм имет два лица. Одно — обращенное внутрь, к немецкому народу, и второе — к его соседям.

Первое — социальная сторона нацизма — еще не нашло достойной оценки, а как раз в этом и лежит секрет трудности психологической денацификации, трудности заставить немецкий народ предать национал-социализм проклятию. Социальная сторона достойна самого пристального изучения. Прошло шесть лет со дня крушения национал-социализма, а он всё еще владеет немецкой душой, владеет настолько прочно, что уместнее было бы говорить о его росте и силе, чем о его угасании. Эмблемы и лозунги нацизма в свое время проделали длинный путь с заборов и стенок общественных уборных до государственного герба и флага. Этот путь проделывали многие. Но путь обратный, с гербов и флагов на заборы в истории можно было видеть реже. Нацизм может похвастаться и этим. В чем же его сила? Чем привлекает он немецкий народ? Было бы несправедливым говорить, что опять мечтой о реванше, о победе, хотя в каких-то тайниках души какой-то части немцев не умерла, вероятно, и она. Главная притягательная сила — социальность нацизма. Эта социальность была настолько сильной и ярко выраженной, что национал-социализму удалось почти без кровопролития свести на-нет немецкий коммунизм, а 6 миллионов членов немецкой коммунистической партии превратить легко и безболезненно в патриотов-граждан. Исключение составляли единицы, эмигрировавшие в Советский Союз, где они отеческой рукой «друга и учителя» постепенно и были ликвидированы, кроме ставших советскими гражданами и патриотами Пика и компании. Национал-социализму удалось так решить рабочий вопрос, этот краеугольный камень всякого законодательства и всякой государственности, как он не был решен еще нигде. В этом заслуга не только Гитлера, реформами с социалистами боролся еще Бисмарк, но рабочему во многих странах еще долго придется идти к тому, что немецкий рабочий уже имел.

Социальные реформы начались с первого дня прихода нацизма к власти. Ликвидация безработицы, повышение жизненного стандарта рабочих, более равномерное распределение земных благ вообще в стране — стали очень скоро реальностью. Будущим историкам предстоит разобраться, в какой мере это зависело от введения новых законов и в какой мере от факта, что страна с этого же первого дня начала лихорадочно готовиться к войне.

Нацизм имеет два лица. Для немца это — реформы и их благодетельные последствия, это — чарующая немецкую душу и до сих пор — организованность, доведенная до совершенства.

Нацизм для соседей Германии — это концлагеря, тюрьмы, газовые камеры и крематории, в которых сжигались миллионы людей. Немец знает об этих убитых миллионах, но ведь это же «ауслендеры» — иностранцы, — или евреи, и преступление ему уже не кажется столь тяжелым. В этом и лежит корень зла. И когда немцу говорят, что гитлеризм это прежде всего убийство, он вспоминает о том, что немецкий рабочий за 35 марок (половина недельного его заработка) мог на пароходе «Роберт Лей» посетить Италию, Египет или Испанию, и не видит преступления в нем. Впрочем, как человек практичный, предпочитает пока в спор не вступать. Больше того, если почитать немецкую печать 45-го года, то оказывается, что большинство немцев только и думало о том, как бы убить Гитлера. Люди уже совсем серьезно начинали писать и говорить о каком-то — «немецком резистансе». Немногим эмигрантам-журналистам и тем, которые действительно сидели в тюрьмах и концлагерях за политические убеждения, очень хочется, чтобы это было так. Но их желания не имеют обратного действия. В 1941 году картина была, конечно, иной.

Легкие победы первых двух лет войны привлекли к Гитлеру сердца даже тех, кто не разделял его взглядов не только до прихода к власти, но и тогда, когда путем реформ ему удалось поднять жизненный стандарт среднего немца на значительную высоту.

Сводки Верховного командования, передававшиеся ежедневно в два часа дня по радио и в обязательном порядке печатавшиеся во всех ежедневных газетах, сообщали чуть ли не каждый день какую-нибудь приятную сенсацию. Как зрелые плоды осенью, падали к ногам «нашего фюрера» — тогда это говорилось всеми с придыханием и без всяких кавычек — столица за столицей. Варшава... Брюссель... Париж... Белград...

Ради исторической справедливости нужно сказать, что восторги по поводу побед диктовались не только патриотическими эмоциями: из завоеванных стран шли тяжелые составы с солдатскими посылками — с одеждой, кстати, нередко сохранившей тепло ее недавних владельцев, обувью, продуктами питания, вином. Всё это было результатом грабежа и в государственных масштабах, и в индивидуальном порядке. Но, увы, не уменьшало удовольствия, с которым модницы, — жены, невесты и сестры — разгуливали на зависть окружающим в серебристых лисицах по берлинскому Ведингу.

Когда, в результате таких же ошеломительных, но еще более легких побед Украина превратилась в «райхскомиссариат Украине» и оттуда потекла густым потоком всяческая снедь, прежде всего, конечно, предмет мечтаний — свиное сало, масло и яйца — авторитет фюрера поднялся на недосягаемую высоту.

Таким ликующим, самодовольным, мы и увидели Берлин осенью 1941 года.

*

Через два дня по приезде в Берлин мы получили радостное известие — через Польшу дорога есть.

В те сумасшедшие годы, полные жгучих надежд и горчайших разочарований, диковинных встреч и неправдоподобных событий, ничто не казалось невероятным. Не показался невероятным нам и путь, по которому мы должны были пробираться на родину.

Одному из крупнейших работников организации Александру Эмильевичу Вюрглеру, позднее, два года спустя убитому агентами Гестапо на варшавской улице, удалось проложить дорогу нашим людям по каналам польского движения сопротивления. Люди должны были итти, как сербы, бежавшие из плена и пробирающиеся в Красную Армию для борьбы в ее рядах против немцев. Технически это было легко выполнимо: шла в первую голову молодежь, всю свою сознательную жизнь прожившая в Югославии и говорившая по-сербски, как сербы. Вюрглер сообщил, что для следующих групп (больше всего людей мы ждали из Франции) нужно будет создание какой-то другой легенды — в бежавших в Красную Армию французов поверить будет труднее. О будущем думать не приходилось, нужно было начать с тем, что есть.

Из небольшой партии в 26 человек по-настоящему работать в Берлине пришлось меньшинству, контракты всех остальных были фиктивными. Работающие в один голос заявили, что бежать с места работы им не доставит никакого труда и риска.

Не совсем ясным оставался для нас вопрос о выходе из Польши на территорию России. Немцы, ворвавшись на российские просторы, плотно захлопнули за собой дверь — ни одна душа не должна была знать и видеть, что там происходит. Можно было только догадываться, что там над привязанным к операционному столу беззащитным и ослабленным коммунистическим террором русским народом производится ими гнуснейшая операция лишения его исторической памяти и разума.

Можно по пальцам перечесть, сколько человек из русских, главным образом всегда живущих в Германии, было взято немцами в качестве переводчиков. Были среди этих людей большие идеалисты, принципиально отказавшиеся носить оружие, отправляясь к освобожденным от коммунистического рабства братьям. Были совсем онемечившиеся, считающие себя больше немцами, чем русскими — это, главным образом, из людей немецкого происхождения, предки которых из поколения в поколение жили в России, после революции 1917 года вернувшихся на старые прадедовские места.

Единственным источником сведений о том, что происходит в так называемых «освобожденных областях», были скупые немецкие газеты, получающие официальные сообщения от отделов пропаганды армии, и еженедельные киножурналы.

Мы ходили по два-три раза на каждый, всматривались в мелькавшие на экране лица, в одежду, в улицы городов и сел, всматривались до тех пор, пока слезы не застилали глаза. Было всё это до невероятия убогим, голодным и жалким.

Десятки, сотни тысяч военнопленных с исхудавшими, небритыми по неделям лицами, с воспаленными от пережитых ужасов и голода глазами. Из тысячных толп кинооператоры выбирают наиболее неодухотворенные, грубые и страшные лица, и дикторы поясняют эти снимки всегда одними и теми же комментариями:

— Вот эти дикари, подчеловеки, как видите, мало похожие на людей, собирались напасть на нашу Германию. Только фюрер...

С нами всегда сидит в кино кто-нибудь из наших берлинцев и шепотом переводит этот несусветный бред.

Киножурнал со снимками восточного фронта начинается всегда маршем, написанным специально для похода на восток, по образцу тех, которые писались и, вероятно, пелись во время похода во Францию, во время налетов на Англию. Эта музыка, эти слова, торжествующие лица немецких солдат, идущих всё дальше и дальше на восток — обязательный

конец каждого фильма — сливаются в какой-то кошмар. Хочется кричать, проклинать, бить по самодовольным лицам зрителей, по-лошадиному гогочущих над плоскими остротами такого же самодовольного голоса. Выходишь из кино и жадно глотаешь свежий воздух. Уходишь куда-нибудь далеко от толпы и остаешься или один или с кем-нибудь из близких. А завтра — идешь опять...

Наконец, всё готово к отъезду. Первая партия может двинуться в путь. Мы четверо остаемся пока в Германии: приготовить ночлег, питание и встретить тех, кто ждет своей очереди в Югославии, Франции и Бельгии. Первая партия едет завтра вечером. Они едут до польской границы, не доезжая одной станции до границы, выходят из поезда и идут дальше пешком. Адреса явочных квартир ими уже выучены наизусть, также точно как и пароли.

Мы не будем их провожать — они едут с разных вокзалов и будут сидеть в разных вагонах. Мне очень жаль, что это так. На предпоследней перед выходом из Берлина станции в поезд сядет Наташа, девушка, с которой мы давно уже решили — «когда кончится всё», шагать по жизни вместе...

Мы долго не будем иметь от них никаких сведений — «освобожденные» области отрезаны от всего мира. Наша связь может быть восстановлена только через несколько месяцев, первое же время она будет односторонней — они будут получать от нас сведения через едущие за ними следующие группы.

На тот случай, если связь будет прервана совсем, они получили инструкции, которые ни при каких обстоятельствах меняться не будут. Первая заповедь: врастать в русскую жизнь, будить национальное самосознание народа, готовить его к мысли о необходимости создания Третьей Силы, а для этого — искать и искать людей. Вторая — действовать по обстоятельствам.

Следующая партия получила возможность двинуться по тому же пути через неделю, за ней третья, четвертая и дальше.

*

Принято считать, что неизбежность второй мировой войны родилась 30-го января 1933 года — в день прихода Гитлера к власти. Принято считать, что в этот день произошел поворот от всеобщего мира к всеобщей войне. Это верно только наполовину. 30 января родился только второй претендент на престол владыки мира. Мировая война зрела уже давно, правда, с другими линиями фронта и с другим распределением сил. Первый претендент, коммунистический интернацио-

нал, к этому времени уже заканчивал свою подготовку — накапливал силы, намечал союзников и изнурительным трудом закабаленного им русского народа ковал оружие для завоевания мира. Ковал оружие с большими жертвами, чем это делал Гитлер, — если Геринг уговаривал немцев отказаться от масла, чтобы иметь пушки, то советское правительство без всяких уговоров предпочитало, чтобы народ сидел без хлеба, но строил военную промышленность.

Основная особенность и порочность коммунизма заключается в том, что осуществление его возможно только во вселенских масштабах, на всем земном шаре одновременно. Пока он не достиг этих масштабов, он обречен всё время стремиться к расширению занимаемой им площади. Поэтому он не может быть ни более миролюбивым, ни менее миролюбивым, он может быть только таким, какой он есть, какова его сущность, а эта сущность — тенденция к расширению. Нормальное его состояние — агрессия в сторону соседей. Сталин подобен человеку, сидящему на велосипеде — равновесие возможно лишь при движении вперед. Если коммунизм принужден стоять, он загнивает, если он принужден к отступлению, он начинает разлагаться. Между первой и второй мировыми войнами весь мир работал, отдыхал, веселился, страдал, просто жил в берегах нормально текущей жизни. Коммунизм в это время, лишенный возможности расширяться в сторону, держал почти 200 миллионов человек своих подневольных граждан все 20 лет в состоянии предвоенного угара. Психологически это была тоже война. Он бешеными темпами ковал оружие, он говорил только о капиталистическом окружении, полном коварных замыслов по отношению к нему. Для него эти годы были не миром, а передышкой между боями во время войны, в процессе которой он и надеялся установить свою власть сначала над Европой, а потом и над всем миром. Агрессия — это не свойство коммунизма, а его сущность. Отказ от нее был бы равносилен для него самоубийству.

Внешняя политика СССР всё время преследует одну единственную цель — любыми средствами вызвать и как можно скорее осуществить мировую пролетарскую революцию, разрушить существующий сейчас мир и на его месте построить новый. Звучит неправдоподобно, но правительство, которое не может обеспечить каждого своего гражданина хотя бы одной парой ботинок в год, которое в течение трех десятилетий, располагая безраздельно природными богатствами богатейшей в мире страны, не может накормить всех своих граждан досыта хлебом, — ставит своей целью перестроить мир, и даже не перестроить, а взорвать до основания, и на его мес-

те построить новый. С его точки зрения, — наиболее совершенный, справедливый и радостный, чем тот, который существует сейчас.

Попытки раздуть мировой пожар начались сразу же после прихода большевиков к власти. В 1918 году Ленин обратился к мировому пролетариату, с предложением «превратить войну империалистическую в войну гражданскую». По предсказаниям одного из пророков коммунизма, после первой мировой войны должен был начаться «период пролетарских революций». Как известно, из этого не вышло ничего. Попытки организовать революцию в Баварии, Венгрии, Болгарии никакого «периода» не образовали и походили больше на публичные скандалы, чем на начало новой светлой эры. Многолетние попытки раскачать Китай не увенчались успехом. С мировой революцией, совершенно ясно, приходилось несколько обождать. В течение последующих лет вожди большевизма чутко прислушивались, не слышно ли ее поступи. С неизменной аккуратностью и старанием они всеми средствами поддерживали всякое начинание, обещавшее нарушить течение жизни остального мира. Крохи, вырванные из рук полуголодного русского народа, трансформировались в иностранную валюту и широким потоком текли на помощь бастующим английским углекопам, испанским анархистам и китайским коммунистам.

Советское правительство не брезговало никакими средствами, если оно видело, что ими можно расшатать враждебный, «обреченный на слом», капиталистический мир и тем самым приблизиться к заветной цели.

Незадолго перед войной руководители одной из компартий Балкан, по инструкции Кремля, принимали живейшее участие в запутанных балканских династических распрях, верноподданнически поддерживая одну из враждующих сторон. Распри обещали перерасти в открытую борьбу, может быть, в гражданскую войну, и тем самым ослабили бы, хоть на каком-то маленьком участке, пресловутое капиталистическое окружение.

Во время войны один из крупных партийных работников З. рассказывал мне, что было время, когда советское правительство горячо поддерживало арабов, разжигая их религиозный фанатизм. С этой целью в Москве, в государственной типографии, на средства, предназначенные для осуществления мировой пролетарской атеистической революции, печатался для бесплатного распространения среди арабов большим тиражом Коран. Религиозный фанатизм арабов, впряженный в колесницу марксистской революции! — это ли не символ тактики коммунистического интернационала.

Много радостных надежд было связано с экономическим кризисом 1929-33 годов. Всем памятно, как советский лес и хлеб заливали международные рынки, но не всем было известно, что продаются эти товары в семь-восемь раз дешевле, чем за них платило население страны, их производившее. «Расшатать капиталистическую хозяйственную систему», разрушить ее и тем самым расчистить дорогу к победе мировой революции. Завалить капиталистический рынок продуктами, этим самым вызвать безработицу, еще лучше, если б можно было, — голод, и тогда направить безработные голодные массы на штурм капиталистического мира. Вот мечты, которые не давали спать. Но и эти мечты не превратились в реальность — мировая революция не приходила.

С течением времени вождям коммунизма пришлось перестроить свою тактику и сделать ставку на вооруженные силы — Красную Армию, на штыках которой предполагалось пронести красное знамя по всему миру.

Появление второго претендента на престол владыки мира, гитлеровского нацизма, было встречено в штыки советским правительством. Гитлер обещал найти выход из охватившего тогда мир кризиса, обещал по-новому решить вопрос экономических взаимоотношений, претендовал тоже на водительство миром и на построение социализма и, тем самым, сильно подрывал надежды Коминтерна на рост числа безработных, которых Сталин считал уже пополнением своих армий.

Первое столкновение двух конкурентов произошло в Испании, где коммунизм проиграл первый раунд фашизму, несмотря на то, что туда были посланы международные бригады, составленные командированными членами из 54-х коммунистических партий мира.

К началу 1939 года Гитлер закончил подготовку к войне. Ее могло бы не быть, если бы Германия была сразу поставлена перед коалицией, созданной три года спустя. Но этого больше всего боялось советское правительство — ему война нужна была больше, чем Гитлеру. Всем памятны оборванные на полуслове переговоры с представителями Англии и Франции, ведшиеся в Москве, и заключение пакта Сталин-Гитлер, развязавшего Германии руки для нападения на Польшу.

Сталин рассчитывал, что Гитлер разгромит бронированным кулаком старый порядок Европы, разрушит скрепы векового уклада капиталистического общества, но в этой борьбе надорвется и сам, так как капитализм окажет ему отчаянное сопротивление. И тогда в взбаламученное, голодное европейское море войдет миротворцем советский корабль. Красный флаг коммунизма взвился бы над Францией, Испанией,

Балканами — открывались бы новые, широчайшие перспективы.

Гитлер надеялся с советской помощью разгромить Запад, обеспечить себе спокойный тыл и тогда уже повернуться на восток для достижения своей основной цели.

В Москве с пристальным вниманием следили за ходом событий первых двух лет войны. Когда перед походом во Францию произошла заминка, Коминтерн, кроме экономической помощи, поставил в подкрепление Гитлеру и весь пропагандный аппарат коммунистических партий Европы. И если 6-го ноября 1939 года «Правда», орган коммунистической партии СССР, обращаясь к рабочим Франции и Англии, призывала: «Рабочие! Не верьте тем, кто зовет вас на войну под флагом национального объединения... Банкиры Лондона и Парижа спасали и спасают своими займами худшие реакционные режимы Европы. Не за свободу народов воюют они, а за их порабощение. Не за спасение демократии от фашизма, а за торжество реакции!» — то в 1940 году эта пропаганда носила уже характер не только антифранцузский и антианглийский, но и заметно прогитлеровский.

Но Сталин просчитался. Он или переоценил силы западных союзников, или недооценил силы Германии. Победы не обескровили немцев, армии Гитлера, только обкуренные порохом, поворачивались на восток в зените своего могущества.

Сталин ошибся еще в одном, что еще более решительным образом повлияло на ход военных событий в первые месяцы войны. — Он не учел отношения к войне русского народа, непримиримо и бескомпромиссно настроенного против коммунизма.

*

Минувшая война в Европе, особенно в восточной ее части, отличалась большой сложностью происходивших в те годы процессов. Для запада — Англии и Америки — было просто и ясно всё: они боролись против Германии, второй раз пытавшейся осуществить идею мирового господства. Что война велась против «фашистской Германии», играло роль второстепенную или не играло никакой. Этот момент, собственно, и не акцентировался — для тех, кто хоть в какой-то степени представлял себе, что такое коммунизм, было бы нелогичным рука об руку с красным фашизмом уничтожать коричневый, устранять одного претендента на мировой престол, чтобы освободить путь для другого. Впрочем, незнание коммунизма на западе было столь полным и всесторонним, что его совсем искренне считали не только союзником в борьбе против Гитлера, но и желанным сотрудником в построении

нового, как тогда говорили, светлого и вечного мира. Из-за всего этого мотив политический звучал очень неопределенно и вполне покрывался мотивом национальным.

Гораздо сложнее всё это воспринималось в Европе, и тем сложнее, чем дальше на восток, чем ближе к цитадели коммунизма, к Советскому Союзу. Если в западной части континента считали, что в борьбе против Гитлера нужно итти на союз даже с коммунизмом, то на востоке и юго-востоке вопрос стоял во всей своей неумолимости — Гитлер или Сталин? Этот вопрос стоял не только перед государствами, не только перед народами в целом, но и перед каждым человеком в отдельности. Линия фронта, поэтому, проходила не по границам отдельных стран, а по сердцам и сознанию отдельных людей, по-разному отвечающих на пословицу о двух злах, из которых требуется выбрать меньшее.

Гитлер нес физическое уничтожение миллионам людей, главным образом по расовому признаку. Сталин нес такое же физическое уничтожение другим миллионам и по другим признакам.

Победа Гитлера означала для побежденных экономическую кабалу, национальное угнетение, террор и бесправие, неизвестно, на какие долгие годы.

Победа Сталина значила, что коммунизм смрадной плесенью затянет весь континент, разложит основную ткань жизни и превратит всю Европу (и только ли Европу?) в одну сплошную гноящуюся язву. Коммунизация, то есть физическое уничтожение всего, что способно самостоятельно мыслить, превращение оставшейся, обезглавленной массы в пушечное мясо для штурма сохранившегося после войны капиталистического мира, одним словом — всё то, что происходит сейчас на юго-востоке Европы, маячило неизбежным концом этого пути. И если ставших на сторону Гитлера обвиняют сейчас в том, что они «действовали против интересов всей западной цивилизации», то этим обвинителям было бы очень трудно доказать, что ставшие на сторону Сталина боролись за сохранение и процветание западной христианской культуры. Так же точно не легко было бы этим обвинителям убедить сейчас румын, венгров, болгар и других, что этот способ самоубийства, то есть выбор Сталина, имеет какие-нибудь преимущества перед первым и что выбирать в свое время нужно было непременно его.

Можно возразить, что всё это стало понятным и ясным уже после конца войны, после того, как неожиданно для запада опустился «железный занавес». Но ведь неожиданностью было это только для Запада, еще и до сих пор не понявшего, что такое коммунизм в действительности. Можно допу-

стить, с точки зрения обвинителей и судей, невероятное, а именно, что на востоке Европы это предвидели и раньше: коммунизм здесь наблюдали не из прекрасного демократического далека, а в непосредственной близости.

Итак, выбор был небольшим: Гитлер или Сталин. Третьего не было дано. Те, кто считал, что западные союзники не смогут или не захотят остановить стремление Сталина расширить «сферу своего влияния», оказались правы. И если тогда, в начале войны, с их стороны это было непростительно мрачным пессимизмом, то сейчас, после войны, им нельзя отказать в некоторой дальновидности. Кто же мог предвидеть такие подробности, что железный занавес упадет над Эльбой, а не над Рейном или не по Атлантическому побережью, и кто может дать гарантию, что этим еще не кончится?

Спасаясь от Сталина, на сторону Гитлера становилось, в той или иной степени, почти всё, что органически не могло принять коммунизма. Миллионы людей, в общей сложности десятки миллионов в Европе, во всех странах без исключения (чем восточнее, тем больше) и во Франции, и в Дании, и в Бельгии и Голландии, не говоря уже о государствах Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литве, не говоря о юго-востоке Европы, и не считая прямых сателлитов Германии, шли на сотрудничество с Гитлером. На сотрудничество — от активного участия в походе на восток, до работы, хотя и с проклятиями, на вооружение германской армии. Всё сказанное характерно для больших чисел, характерно для среднеарифметического европейца, притом политически не совсем слепого. Были, конечно, отклонения и перегибы и в ту и в другую сторону, были люди, которых к Гитлеру толкал не страх перед Сталиным, а увлечение национал-социализмом, как политической доктриной, и были люди, которых симпатии влекли к Сталину, к коммунизму в большей степени, чем от Гитлера отталкивала вражда.

Гитлер звал за собой все антикоммунистические силы Европы, но использовать хотел их только в своих эгоистических немецких интересах. В гигантскую борьбу, начатую тридцать лет тому назад русским народом за «быть или не быть» ему, русскому народу, потом его соседям, а потом, может быть, и всему миру, — этот простоватый парень влез со своими мелкоуездными идейками о создании мировой империи с «херренфольком» во главе.

Гитлер был провинциалом, ограниченным и неумным, и, конечно, не мог ни понять, ни согласиться с тем, что все его войны, походы и победы это только эпизод, только пролог борьбы, по-настоящему тогда и не начавшейся. Своим предательством общечеловеческих интересов, тупостью и

жадностью он помог Сталину выиграть первую схватку, — Сталину, для которого Америка и Англия, как и Германия, как и весь остальной некоммунистический мир, были врагами совершенно одинаково ненавистными.

Советская пропаганда уже во время войны, особенно после психологического перелома в сторону советской победы, начала подготовку коммунизации Европы. Она упростила, примитивизировала происходившие здесь процессы, и все, кто мог противостоять коммунизму в будущем, хотя бы во время войны они и боролись против Гитлера, были занесены ею на черную доску «предателей», «фашистов», даже «гитлеровцев» и т. д., подлежащих уничтожению. Вся Европа, в советском толковании, делилась на «демократов», т. е. коммунистов и им сочувствующих, и «фашистов», т. е. тех, кто за коммунизмом не шел и пойти не собирался. Это толкование в значительной степени удалось внушить и западным союзникам, во всяком случае на первые послевоенные годы.

Не все те, кто не пошел за Гитлером, пошли за Сталиным. Были миллионы людей, которые и одного и другого считали злом равных категорий. Они пытались бороться и против одного и против другого. Это значило бороться против всего мира, потому что врагов Сталина его западные союзники считали и своими врагами. Трагедия Драже Михайловича и его организации только наиболее яркий пример из судеб миллионов людей.

Сложна и малопонятна для постороннего наблюдателя была обстановка в Европе. Менее сложной, но еще более непонятной была она в Советском Союзе. В начале войны, в первые месяцы, на вопрос «Гитлер или Сталин?» миллионные массы русского народа, в том числе и значительная часть кадровой армии, недвусмысленно высказалась за Гитлера. Не потому, что они предпочитали коммунизму национал-социализм (о нем, как правило, люди, по вине советского правительства, не имели никакого понятия), а потому, что терпеть дальше Сталина было уже невозможно.

В русском народе до болезненности развита тоска по справедливости, по Правде, может быть потому, что справедливость реже, чем кому-нибудь другому, улыбалась ему за тысячелетнюю его историю. На заре государственного самосознания — княжеские раздоры, тяжесть которых падала, прежде всего, на народ, потом татарское иго, потом иго дворянское, и, наконец, большевизм, — самое страшное из всего, что ему пришлось пережить.

Коммунистический интернационал, оккупировавший страну в 1922 году, был для русского народа всегда властью

чуждой, властью вражеской, он боролся с ней, как мог, все годы ее владычества.

В жесточайших условиях советского террора (перед войной насчитывалось до 16-ти миллионов в концлагерях) у народа не только не исчезла вера в существующую где-то на земле справедливость, но заострилась до форм почти болезненных. Свято веря в эту правду, народ с надеждой смотрел на запад и, изверившись в собственных силах, только оттуда ждал освобождения. В конце концов сложилось такое положение, что всех врагов советского правительства, находящихся за пределами страны, он стал считать своими или друзьями или союзниками.

Он не верил и не верит ни одному слову советской пропаганды, не без основания считая, что она органически не способна сказать ни одного слова правды. Он читал казенную советскую печать (а другой никакой нет) наизнанку или справа налево: что поносит советская власть, то для него наоборот, хорошо, что хвалит — плохо. Если ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза, что-либо опровергает (почти единственная форма сообщений из международной политической жизни, касающихся Советского Союза), значит, это опровергаемое имело место уже обязательно. Каждый успех советского правительства в междугосударственных отношениях он привык считать своей личной неудачей и наоборот. Каждый договор Запада с советским правительством рассматривал как предательство культурного свободного человечества по отношению к себе.

Не зная остального, не советского мира, не имея возможности общения с ним, ни права поездки заграницу (попытка покинуть страну карается по закону 1934 года расстрелом), ни права получать иностранные газеты, книги и журналы (всё это монополизировано властью), фактически будучи лишенным даже права переписки с заграницей, он создал свой особый мир взаимоотношений, симпатий и антипатий, совсем не оправданный действительностью.

Гитлер, пришедший к власти в 1933 году, был встречен в штыки советской пропагандой. Русский антибольшевизм, ничего не зная о национал-социализме, и рассматривая Гитлера только, как врага большевиков, сразу же зачислил его в число своих друзей и союзников. Годы 1933-39 были годами травли Германии советской прессой и одновременно годами роста симпатий к ней русского народа. Освобождение от большевизма может произойти только в процессе войны, а война может быть только с Германией — сознательно или подсознательно приняла эту формулу большая часть народа. Начало похода Гитлера на Восток и было понято народом,

как начало его освобождения. Не как возможность освободиться, а именно как освобождение. Нужно побывать в России, посмотреть людей, увидеть, до чего довела их советская власть, чтобы не удивляться, что даже в Гитлере увидели они освободителя. Веру, что спасение придет с запада, можно было наблюдать задолго до войны. Эта детски наивная вера выражалась иногда и детски наивными поступками. Года за три перед войной в одной из немецких газет был рассказан следующий эпизод вернувшимся из поездки немцем:

Группа туристов, в которой был автор рассказа, ходит по Эрмитажу, известной всему миру картинной галлерее в Ленинграде. Водит группу старичок, говорящий по меньшей мере на четырех или пяти европейских языках, из вымирающей на русской земле породы старых дореволюционных интеллигентов — обязательное пенснэ на черном шнурочке, клиньшком бородка, а в глазах всегда беспокойство от дюжины неразрешимых «проклятых и вечных» вопросов. Урвав минутку, когда не было поблизости никого из начальства, он скороговоркой прошептал два слова по-немецки: «спасите нас». Нужно понять психологию этого человека. Ведь ему казалось, что он крикнул свое «СОС» в культурный и гуманный мир, в окно, случайно и ненадолго перед ним раскрывшееся. Он двадцать лет принципиально и категорически не верил ни одному советскому слову и воображал Германию (прежде всего Германию) страной философов и музыкантов, страной свободной мысли, одним словом — такой, какою видел ее пятьдесят лет тому назад, когда студентом жил в университетском городе Гайдельберге.

Или еще рассказ о том, как в европейских портах, под корой деревьев, привезенных с каторжных северных лесозаготовок СССР, находили надписи — такое же СОС, иногда, говорят, даже выведенное кровью.

Вторжение германских армий в пределы нашей родины старой русской интеллигенцией и понималось именно так — наконец-то культурный мир понял, содрогнулся (обязательно, обязательно содрогнулся!) от ее страданий и спешит к ней на выручку.

Вскоре после приезда в Берлин в русской эмигрантской семье я встретился с профессором-ленинградцем, в начале войны перешедшим со своей семьей — жена и два сына — на сторону немцев. Ему под каким-то благовидным предлогом удалось выбраться из Ленинграда и в селе около Пскова дождаться прихода немецких частей. Его рассказ, одно из первых впечатлений о той стороне, запомнился мне почти дословно.

— . . .Мы, ленинградцы, народ особый. Наш город, в пре-

делах советских возможностей, считался, знаете ли, этакой негласной оппозицией. Москва — она ведь у нас партийная. Всё время причесывается партийным гребешком. И писатели, и художники, и артисты, и профессора жили и работали там обласканные. Ну, а необласканные работали больше в Ленинграде. Так вот там, в семейном кругу, или уж в кругу совсем близких друзей и знакомых, мы частенько говорили, что спасет нас только война и что воевать с советской властью будет, конечно, только Германия... 22-го июня мы и встретили как наше освобождение... Скоро прилетели и первые немецкие самолеты. Весь Ленинград, как снегом, засыпали листовками. С большим риском, помню, охотились мы за ними. Ловили из открытых окон, лазили даже по крышам — вот, она, весточка долгожданная из потустороннего мира, из культурной, гуманной Европы... Достали, читаем и сначала глазам не верим. Сверху крупно написано — «Переходите к нам» и изображен красноармеец с поднятыми руками. Дальше опять картинка. Опять красноармеец, на этот раз с кружкой, вероятно, пива и надпись — «Есть что выпить». И, наконец, еще картинка — опять красноармеец, неуклюже держащий в растопыренных пальцах сигарету. Надпись еще выразительнее — «Курить разрешается» — и три восклицательных знака... Прочли мы это и, помню, долго смеялись над грубостью советской пропаганды. Ну, Боже мой, совершенно же ясно, самолеты были советские, с накрашенными немецкими крестами на крыльях. Дескать, вот, полюбуйтесь на ваших освободителей, чем соблазняют они вас — кружкой пива и папиросой... Дня через два прилетели снова. Разбросали те же листовки, но уже вперемежку с бомбами. Поверите — нам стало страшно, страшно и одиноко. Страшнее, чем от бомб, которые рвались в наших жилых кварталах. Неужели двадцать лет веры были самообманом?..

В соответствующем преломлении такое понимание событий было свойственно почти каждому из слоев нашего народа, прежде всего, конечно, крестьянству и рабочим.

Другой рассказ из тех же первых встреч...

Красный командир, попавший в окружение под Киевом, вспоминает о первых днях плена:

— Вы знаете, таких антисоветских настроений в нашей командирской среде, как в первые дни плена, я не видел, да, боюсь, что больше и не увижу. А на солдат — у нас ополченцы больше были, старичье нестроевое — так просто смотреть противно было: с какой влюбленностью они смотрели на каждого проходившего немецкого солдата. Стоим мы в лагере. 60 тысяч человек. Дождь льет, укрыться негде. А они, старики наши, слышим, в группах у костров разговаривают:

«А что же, немец-то, ждал, что ли, нас, чтобы теплые хоромы приготовить. У него, брат, все аккуратно, рассчитано, — не ждал вот и не приготовил»... Нужно вам сказать, что не кормили нас в этот день совсем. У наших стариков и этому нашлось объяснение — «только ему и заботы, немцу-то, чтобы нам брюхо набить. Подождем, браток, потерпим...» Когда ни крошки не оказалось и на следующий день, они и тут нашлись — «немец у нас товарищество воспитывает. Знает, что кое у кого сухари остались или, там, кусок хлеба. Вот и хочет, чтобы не зверьем друг на друга смотрели, как при большевиках, а поделились по-братски...» Когда мимо нас пробежал ефрейтор немец с палкой в руке, в погоне за провинившимся в чем-то пленным, комментарии были такие — «это, брат, тебе не большевики. Они, немцы-то, научат нас порядку. Сурьезный народ...» И поверите, так продолжалось четырнадцать дней, то есть я хочу сказать, что не было ни крыши над головой, ни кусочка хлеба. К этому времени из нашего лагеря уже по 200-300 человек в день увозили в братскую могилу. Но даже и тогда люди пытались находить этому какое-то объяснение и оправдание. Через месяц от нашего лагеря осталось спасшихся несколько тысяч полутрупов...

Перелистываю брошюру, изданную в ноябре 1941 года. Начинающий писатель-ленинградец, переведший с собой к немцам восемнадцать человек бойцов, описывает ту же киевскую эпопею:

«...Бой затих. Наконец, к нам подошли немецкие солдаты. Боже, до чего это красивые, элегантные и обаятельные люди! Закуривают свои душистые сигаретки, угощают и нас. Я беру одну и оставляю на память об этом дне — дне моего второго рождения.»

В таких тонах были исписаны горы бумаги, брошюры, газетные статьи, открытые письма, целые книги. «Берлин, как много в этом слове для сердца русского слилось!» — надрывался кто-то из журналистов. «Солнце всходит на западе» — вторил ему другой. И так без конца.

Небывалые успехи немецких армий в России в первые месяцы войны объясняются только тем, что народ, в том числе и почти вся кадровая западная армия, отказался защищать большевизм, поверив немецкой пропаганде, что война идет только против него. «Мы боремся не против русского народа, а только против большевизма» — утверждали миллиарды сброшенных с самолетов листовок, десятки радиостанций и сотни газет.

В первые месяцы не только дивизии и корпуса, а целые армии, сдавались без боя, не оказывали сопротивления, а многие тысячи переходили на сторону немцев с оружием в

руках, чтобы включиться в борьбу против угнетавшей народ сталинской тирании. Города и села западной части России нередко встречали немецкие части с цветами и, по старому русскому обычаю, с хлебом и солью, как освободителей и дорогих гостей. Празднично одетые крестьянские толпы с иконами и хоругвями выходили на околицу деревень, чтобы приветствовать своих освободителей.

Руководство Германии поняло развал Красной Армии, как очередную победу своего оружия. Восторги населения истолковывались, как признание низшей расой — русскими, превосходства высшей — германской.

Глава IV

В лаборатории

В моей судьбе произошел неожиданный и крутой перелом.

С одной из следующих партий, идущих на восток в первых числах октября, могу, наконец, ехать и я. Настроение приподнятое — конец заграничным мытарствам. На родину. До двадцатилетнего печального юбилея жизни под чужими крышами мне не хватает одного года и одного месяца. Проведенных полтора месяца в Берлине не прошли даром — мы встретились с первыми русскими людьми, прожившими эти кошмарные годы «там». Это были приехавшие на работу техники и рабочие, выпущенные из лагерей военнопленных, перешедшие в индивидуальном порядке солдаты и офицеры Красной Армии. Никогда не забыть этих первых встреч.

В эмиграции долго говорили и писали о поисках общего языка при будущей встрече с подсоветским миром. Нам его искать не приходилось, мы говорили друг с другом так, как будто бы никогда и не расставались. Наша подготовка дала нам возможность итти все эти годы в ногу с жизнью страны. Мы знаем не только все законы и обычаи, не только все новостройки и внешние перемены в больших городах, но можем поговорить и о последних литературных новинках, и о последних фильмах, и кто их ставил, и кто в них играл, и почему режиссер такой-то поехал на Колыму, а писатель такой-то, кажется, вернулся оттуда. Раньше между собой, шутя, мы часто употребляли новые «советские» слова и словечки — они оказывают нам большую услугу теперь, иногда даже больше, чем надо: нередко долго приходится разубеждать собеседника, что мы не «оттуда».

Осторожно прощупывая друг друга глазами, заводим с новыми знакомыми разговор и о политике — о большевиз-

ме, о России, а познакомившись поближе — и о немцах. Они более осторожны, но это и понятно — двадцать лет диктатуры из самых болтливых людей делают молчальников. Да и вообще тема о Гитлере — тема деликатная, первые попытки прощупать отношение к немецкой политике на востоке не вызывают той реакции, на которую рассчитываем мы. Объясняем это тем, что не совсем еще верят нам. Да и случайные встречи не располагают к большой задушевности. Вот, когда будем там, дома, — дело другое.

Но перелом в моей судьбе совсем не в этом. На родину я попал только в 1943 году.

Как-то, идя по городу за три дня перед отъездом, встречаю своего давнишнего знакомого, еще задолго до войны перебравшегося на жительство в Германию.

Остановились, поздоровались, вспомнили знакомых, как принято тогда было между русскими, поругали немцев. Начали уже прощаться понемногу, вдруг он спрашивает:

— Слушайте, хотите работать?

Мне смешно: сейчас? работать в Берлине?

— Нет, не хочу.

— Жаль. А работа интересная. Знаете где?

И потом с деланной торжественностью:

— В Верховном Командовании победоносной германской армии...

Я поддерживаю шутку:

— А что, разве Браухич уже не справляется со своими обязанностями? Нет, знаете, всё-таки не хочу, даже и начальником Штаба — дело, по-моему, безнадежное. Как вы думаете?

— Я думаю также, что безнадежное, — соглашается он. — Но мне кажется, что там можно кое-чем помочь и русскому делу. Если надумаете — позвоните, вот вам мой телефон. Я, вообще-то говоря, не антрепренер и сделал это предложение вам из родственных чувств.

Я смотрю вопросительно.

— Не к вам, — смеется он, — а к тому человеку, с которым вам пришлось бы работать.

Вечером у Старшего я рассказываю о неожиданном предложении. По зрелом размышлении, мы находим, что предложение может быть очень интересным, в зависимости от того, что нужно будет делать и что можно будет за это брать.

На следующий день выясняю подробности. Оказывается, ищут просто грамотного человека. Я не написал за все время ни одной статьи и писать не собираюсь, но оказывается, что на мое перо никто и не покушается.

После разговора моего знакомого по телефону (на другом конце говорил кто-то по-русски) отправляюсь по данному адресу. Это ам Карлсбад, номер сейчас уже не помню. Человек, с которым мне нужно говорить, — лейтенант Корф.

После несложной процедуры с проверкой документов и обязательных вопросов — к кому идете? зачем? — отправляюсь искать указанную комнату. Стучу и после раскатистого «херайн» с той стороны двери — вхожу.

Небольшая комната, за письменным столом сидит офицер, напротив, за тем же столом, пожилая дама за пишущей машинкой. В углу комнаты навалена груда каких-то пакетов, небрежно связанных картонок, папок и прочего.

Говорю о причинах своего появления.

Оказывается, я нахожусь в одном из отделений отдела пропаганды Верховного Командования Армии.

После беглого опроса — кто я? откуда? чем занимался? и т. д. — офицер говорит:

— Нам нужен человек, хорошо знающий русскую литературу, хорошо было бы, если бы он имел понятие и о советской. Работа сама по себе временная.

Я отвечаю, что читать мне приходилось довольно много, что же касается советской, то и с нею немного знаком.

— Но это еще не всё, — говорит он. Нужно будет нам помочь разобраться еще в ворохе вот этой писанины. Это из России. Но это в более свободное время.

Меня писанина интересует больше, чем литература, и, оттоворившись от окончательного ответа тем, что должен выяснить возможность ухода с места моей работы, я откланиваюсь и собираюсь выходить.

— Так я надеюсь, мы с вами еще увидимся, — говорит офицер. — Оставьте ваш адрес, запишите имя, фамилию, даты и зайдите так, через недельку, полторы, или, еще лучше, позвоните по телефону.

Оставлять адрес мне нравится уже меньше, но быстро соображаю, что опасным это быть не может. Если мы решим, что лезть сюда не стоит, меня завтра уже не будет в Берлине. В противном случае — тоже всё в порядке, и полицейская прописка, и пропуск на въезд в Германию, и всё остальное.

Проверка была или очень поверхностной или уж очень тонкой. Ни я, ни мои друзья, у которых я жил на квартире, не заметили ничего. Никто не приходил и ничего не спрашивал.

Через неделю я поступаю на службу.

Я немного разочарован. Мне представлялось всё это несколько романтически — Верховное Командование, секретные документы, таинственные курьеры, интереснейшие со-

общения и прочее и прочее, и во всем этом я. Оказалось всё гораздо прозаичнее и скучнее.

В бараке, расположенном на пустыре около Потстдамского моста, лежит несколько десятков тысяч русских книг. Моя работа заключается в том, чтобы классифицировать их по целому ряду признаков. Отдельно эмигрантская литература, отдельно советская. Советская делится в свою очередь на пропагандную, техническую и художественную. Художественная — на литературу с тенденцией и без нее. Как потом мне объяснили, литература без коммунистической пропаганды и классики пойдут в библиотеки лагерей военнопленных.

Гораздо больший интерес представляла писанина.

Немецкие солдаты, во исполнение строгого приказа, с чисто немецкой аккуратностью подбирали на фронте каждую исписанную бумажонку, и всё это большими пакетами посылалось в Берлин. В этих пакетах были и колхозные дневники, в которых записывались удои коров и трудодни колхозников, и ученические тетради, и записные книжки военнопленных, их дневники до момента сдачи в плен. Иногда попадались чьи-то личные документы, географические карты, письма с фронта на родину и с родины на фронт.

Обо всем этом мне было сказано просто — «Если найдете что-нибудь интересное — давайте нам». Найти интересное с их точки зрения было довольно трудно, потому что эти бумажные горы бегло просматривались уже кем-то на фронте. Для нас же среди всего этого находились вещи нужные и полезные.

В общем, место оказалось более любопытным, чем можно было предполагать. Кое-что из писанины представляло интерес совершенно исключительный. К сожалению, потом, когда мы переехали в другое помещение, эта работа у меня была взята и передана кому-то другому. Но сидение в этих бумажных горах, и книжных и рукописных, дало мне возможность доступа к живым людям. А это и являлось основной целью моего поступления.

Поступая на работу, я не получаю от организации определенных заданий, да их трудно было и дать, не представляя возможностей, которыми я буду располагать. Старший напутствует меня такими же словами, как и уходящих в Россию: «Действуй по обстоятельствам», и так же, как для уходящих в Россию, целью моей работы должно быть создание клеточек будущей Третьей Силы, подбор людей, вовлечение их в круг наших идей и устремлений, если представится нужным и возможным, то вовлечение их и в ряды организации.

Формально я выхожу из организации. Эту технику нас заставила выработать сама жизнь, чтобы, в случае провала и ареста моего или кого бы то ни было из друзей в Берлине, не потянуть туда же цепочкой одного за другим. Я не буду посещать занятий звеньев и изредка проводимых немногочисленных собраний, буду встречаться каждые две или три недели с кем-нибудь из руководства, вероятнее всего со Старшим.

*

Первое знакомство с интересующими меня людьми происходит уже через неделю после моего поступления на работу.

Как-то вызывает меня лейтенант Корф.

— Дело вот в чем: наши военнопленные просят что-нибудь почитать. Отберите несколько книг, ну, там какого-нибудь Пушкина или Толстого, понимаете, что-нибудь из старого. Я пришлю за ними солдата.

О том, что где-то близко сидят военнопленные, я знаю уже давно, часто вижу, как они по пять-шесть человек, в сопровождении конвойного, проходят в сторону Тиргартена.

Я отбираю, как сейчас помню, «Князя Серебряного», «Капитанскую дочку» и даю пришедшему за ними солдату.

Дня через два осторожно открывается дверь моего барака и, как-то боком, застенчиво улыбаясь, входит фигура — шинель без хлястика, застегнутая через пуговицу, на голове не то кепи, не то очень помятая фуражка. За фигурой, остановившись в дверях, солдат-конвоир.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я, вот, книжечки принес обратно, что вы послали, — говорит посетитель. Так мы сегодня спросили офицера, что бы самим пойти, да побольше, если можно взять, — те, что вы дали, прочитали уже.

— Чего ж, можно, можно, — отвечаю я. — А вы присаживайтесь.

— Да я, знаете ... — косится он в сторону конвоира, все так же застенчиво улыбаясь.

— А он ничего, подождет ...

Солдат с недовольным и несколько удивленным лицом прислоняется к косяку двери и начинает с подчеркнуто скучающим видом рассматривать потолок.

Закуриваем все трое. Мой гость не курит, а священнодействует:

— Ох, голова закружилась, давно не курил.

Помолчали. Разговор завязывается не сразу, хотя посетитель, по-видимому, словоохотлив, а для меня его приход большое событие.

— Книжки хорошие, да уж маленькие больно. Вы нам чего-нибудь потолще дайте.

— Можно, можно. Сейчас выберем.

Помолчали опять. Гость присаживается на кончик стула. Я начинаю просматривать сваленную в углу груду книг.

— А вы, что же, из эмигрантов будете?.. Давно, значит, на родине не бывали?

— Да, вот, уж скоро двадцать лет.

— Так, так . . . Плохо там, ой, как плохо.

— Да я уж слышал.

— Ну, а по профессии вы кто же будете?

— Журналист.

— Пишете, стало быть?

— Не без того. Но, вот, сейчас больше читаю.

— Так, так. Мы, стало быть, с вами, вроде, как коллеги...

— Вот как? Вы тоже журналист?

— Да нет, какой там, токарь я, по металлу. Вот сейчас только этим делом занялся, писательским-то. Да и то тоже больше читаю, чем пишу.

— Как же так, что же вы читаете?

Оказывается, в отделе пропаганды верховного командования армии организована маленькая испытательная лаборатория. Из числа военнопленных какого-то лагеря около Берлина отобрано несколько человек разных профессий, специальностей, интеллектуального уровня и возраста. Изданные на фронте для отправки на ту сторону листовки даются им на просмотр и критику.

— Много ерунды пишут, конечно, ну а про большевизм, впрочем, довольно верно, — заключает мой собеседник.

Из дальнейшего разговора выясняется, что среди заключенных есть колхозники, рабочие — «вот, как я, например» — есть и интеллигенты. Среди них заинтересовал меня больше всего какой-то профессор — «он, знаете, с утра до вечера что-то сам пишет» — и прибывший совсем недавно капитан - танкист.

Беседа наша затянулась. Недремный страж показывает явное нетерпение. Переступает с ноги на ногу и выразительно кашляет в паузах между репликами.

— Ну, я пойду, — встает гость. — А то, вот, конвойный-то мой, вроде, как торопится. За книжечки спасибо. Только вы нам в следующий раз чего-нибудь поинтереснее отберите. О том вот, как другие живут . . .

— Хорошо, хорошо, постараюсь. А вы заходите почаще.

— Да, уж мы зайдем.

С тех пор визиты стали довольно частыми. Режим стал у них, по-видимому, мягче: конвойный приводит, оставляет, и сам уходит по своим делам, а через час, иногда и больше, возвращается за своим подопечным. Приходит и профессор, оказавшийся старым педагогом, довольно пожилым и интеллигентнейшим человеком. Раза два был и капитан, интеллигент уже советской формации, четыре года просидевший в концлагере по «делу Тухачевского». Приходят и по одиночке и по двое-трое сразу. Разговоры становятся все интереснее и задушевнее. Из этих разговоров я вижу, что мои посетители часто говорят между собой обо мне, о «чудаке-эмигранте», который так же, как и они, относится к большевизму, но кажется, и немцев «что-то недолюбливает», как определил мои настроения мой первый знакомый, токарь по металлу.

Всех этих людей объединяет одно — непримиримая и бескомпромиссная ненависть к большевизму. Отличает их друг от друга только разное отношение к немцам.

Колхозники формулируют свое отношение просто:

— Хуже большевиков — немец все равно не будет. Главное, чтоб землю народу дал, а там уж заживем...

Токарь по металлу настроен не менее примирительно:

— Немец, он человек аккуратный, обстоятельный. У него поучиться можно. Ну, конечно, дурь ему сейчас немножко в голову ударила, да потом пройдет: опять же, и понять надо — время военное, нужно злым быть, а то войну проиграет.

Категоричнее всех высказывает свое мнение капитан:

— Сволочи они, дорогой мой, и нацисты и коммунисты. Коммунисты больше, нацисты немного меньше, а вообще одно и то же, и те и другие. И давить их надо, как чумных крыс, тоже одинаково.

— Кто же возьмет, капитан, на себя такую серьезную операцию?

— Вот, тут-то гвоздь и забит. Некому! Нужно было бы нам, русским, народу, да силенок у нас нет. Вот, в чем дело. Понятно?

Кстати капитан никакого отношения к заговору Тухачевского не имел. Взяли его, как брали десятки тысяч других офицеров. Посадили в тюрьму, на допросах до полусмерти избивали несколько раз. Выбили зубы, сломали три ребра и, не добившись признания, то есть формального основания для расстрела, посадили его на 10 лет в концлагерь.

В первые дни войны, их, целую партию офицеров, сидев-

ших по тому же «делу Тухачевского» и не имевших к нему, как и он, никакого отношения, привезли в Москву.

— Приводят в комнату. Сидит, знаете, эдакая натлая скотина, глаза щурит, камнем на пальце поигрывает. Вкрадчивым голосом начинает мне объяснять, что вот, дескать, родина в опасности, что все мы должны встать на ее защиту, а потом, уж, после войны разберемся, кто прав, кто виноват. Выходит, по его словам, что я, как будто бы, не виноват, вот и партия и правительство оказывают мне такое доверие. Дает понять, что к аресту моему приложили, конечно, руку и «враги народа»... Человек я, знаете, злой, но отходчивый. Выхожу оттуда, в голове мысли вихрем, — а может быть и действительно так. Ну, думаю, потом разберемся, а сейчас надо немцев бить, если лезут. На следующий день получил путевку и айда на фронт, в штаб дивизии.

Но не долго воевал капитан.

— Приставили ко мне какого-то сукиного сына — лезет во все, путается, за каждым шагом следит. Вижу — не верят, стало быть, мне. Обидно мне стало, трудно вам сказать как. Утешаю себя, — ничего, поверят. Тоже и люди есть разные, есть и такие, за которыми и действительно следить нужно... Скоро попали мы в окружение, читали, наверное, Минское, много народу тогда немцы побили, еще больше отрезали... Бродим мы по лесу, ищем, как бы прорваться к своим. Восстановили связь со штабом армии — рацию с собой таскаем. Правда, больше особый отдел по ней с своим начальством разговаривает. Надежды у нас появились, скоро, может быть, выберемся. Нервы, знаете, напряжены до отказа, не спим несколько ночей, все мысли в одной точке — как бы пробиться. И вдруг, ночью, можете себе представить, арестовывают меня... Я задремал перед этим и было все это так неожиданно, что даже не сопротивлялся. Навалилось их трое, связали по рукам и ногам, караул приставили. Слышу, говорят между собой — ночью самолет прилетит, в Москву меня приказано доставить... Лежу, знаете, я связанный и плачу, слез удержать не могу от обиды, от горечи, от злости, от сознания глупости нашей и еще от чего-то, не знаю... С отправкой в Москву у них ничего не вышло. На рассвете, как с неба свалились на нас немцы. Тот молодчик, что следил за мной все время, дал в меня очередь из автомата, приказ, наверное, у него такой был, да промахнулся, пробил только ногу в двух местах. Тут же его какой-то фриц и прикончил. А меня так, связанным, готовеньким и взяли в плен.

Самой оригинальной была встреча с пришедшим в первый раз профессором. Он влетел, как будто им выстрелили из пушки. Сунул руку и, опускаясь на стул, простонал:

— Скажите, вы их больше знаете, они что — идиоты?

Я стараюсь попасть ему в тон:

— Я их знаю столько же, как и вы, и, если мы с вами говорим о руководстве Германии, то, по-моему, да.

Профессор вскакивает со стула и, быстрыми шагами бегая около стола, кричит:

— Ведь они же делают преступление, ну, наплевать перед нами, перед нашим народом, но и ведь перед своим точто так же. Ведь вы понимаете, к чему это клонится — они спасают большевизм, они помогают ему выиграть войну, они отдадут ему не только нас, наш народ опять в рабство, но и свой, весь мир отдадут. Вы понимаете?

Я профессора понимаю очень хорошо. Дело, действительно клонится к этому. Мне нужно только рассказать ему, что докладные записки, которые он пишет с утра до вечера и которыми старается кому-то открыть глаза, предупредить, объяснить всю гибельность для антибольшевизма ведущейся на востоке немецкой политики, гибельность для русского народа, для Германии, может быть, для всего мира — эти записки не дадут, вероятно, никаких результатов...

Профессор вырос на дрожжах старой русской интеллигенции. Он свято верил двадцать лет, что за его страданиями, не за его личными, а за народными, под коммунистическим ярмом с сочувствием и пониманием следил весь культурный христианский мир. Начало войны он понял, как крестовый поход Европы, предпринятый для освобождения русского народа от коммунистического рабства. Профессор переживает сейчас самое тяжелое разочарование в его жизни: то, во что он верил двадцать лет, в общечеловеческую мораль, в большую человеческую правду, в мировую совесть, в сострадание, одним словом, во все то, что в остальном мире считается архаизмом и ерундой, — не существует больше в мире. Чувства профессора — чувства не его одного, в каждом по-разному сквозит эта вера в существующую где-то вне границ коммунистического мира правду и справедливость. Это, пожалуй, самое характерное, что является общим для всех.

Когда они уходят, я остаюсь один. Вспоминаю их разговоры, отдельные слова и на душе делается тяжело, — а где же Россия? О ней не было сказано почти ни одного слова. Где же оппозиция, политически сознательные враги коммунизма? Где они?

Этих людей двадцать лет комкала и ломала жизнь. Из них нет ни одного, кого бы не коснулось, в той или иной степени, режущим углом советское «правосудие». Одни пострадали при коллективизации, другие попали в ежовскую

мясорубку, вынеся из нее, как-то сами того не зная, как, только голую искалеченную жизнь, третьи репрессированы в связи с какими-то процессами, чередующимися один за другим во все время существования советской власти. Может быть, их личная горькая судьба закрыла для них большие общественные горизонты? Может быть, это и так. Может быть, есть и другие противники коммунизма. Их нужно еще искать. Наша задача начинает мне казаться тяжелее, чем казалась раньше.

Из моих новых друзей ближе всех к правильному решению вопроса находится, пожалуй, капитан. Над ним не нужно долго работать, как над всеми остальными. Ему нужно только объяснить, что сила, о которой он говорит — есть, что сила эта — мы, вот он, капитан, токарь, профессор, колхозники, я, тысячи и миллионы других, что сила наша распылена, не осознала себя, но что, когда мы ее соберем, мы легко справимся и с одними, и с другими, и с немцами, и с большевиками. Нужно еще сказать капитану, что силу эту мы называем Третьей Силой — это наш народ. Третьей — в отличие от первых двух — Германии и Коминтерна, борющихся между собой за господство над ним...

*

Вскоре после моего поступления на работу у нас произошли большие перемены, давшие мне возможность ближе подойти к заключенным, а потом войти в их жизнь и полностью.

В порядке междуведомственной грызни какое-то учреждение забирает наш книжный барак и я, со всем своим складом, перебираюсь в нижний этаж большого дома на Виктория штрассе 10. Туда же переводится и отделение с моими новыми друзьями. Для них отведено несколько комнат в том же нижнем этаже левого крыла здания. У нас общий вход, только в коридоре мои две больших комнаты, заваленные книгами, — направо, а комнаты, в которых разместились они — налево. Входная дверь всегда закрыта на ключ, который хранится у одного из двух солдат охраны, ефрейтора Мартина. Утром я прихожу на службу, стучу крышкой ящика для писем, висящего на двери, и Мартин впускает меня внутрь. На обед и вечером так же выпускает, закрывая за мной дверь на ключ. Друзья острят, что теперь и я стал военнопленным, и так как они все были взяты в плен в чередующихся один за другим окружениях — Вяземском, Минском, Киевском и т. д., — то обо мне говорят, что я взят в Берлинском.

Добрую половину дня, по одиночке или целыми компаниями, они проводят у меня, ковыряемся вместе в книгах, до обалдения курим махорку, когда она есть, заворачивая ее для мягкости в газетную бумагу, и без конца говорим и спорим о самых разнообразных вещах. Разговоры происходят на темы иногда самые неожиданные, но на политические, конечно, чаще всего. Нередко зачинщиком их выступает Василий Иванович, — так зовут токаря по металлу, — и так как экспертом по заграничной жизни для него являюсь я, то ко мне он чаще всего и обращается:

— Александр Степанович, а правда, что за границей тоже есть коммунисты и даже целые коммунистические партии?

— Правда, Василий Иванович, есть.

— Да что вы говорите! А я, знаете, думал, что все это наши пустобрехи врут, чтобы русский народ обманывать, что, вот, мол, и в других странах есть такие же, как они.

Потом, после небольшой паузы, опять вопрос:

— Ну, и что же с ними, с коммунистами-то, здесь делают? Что же они, в тюрьмах сидят или на каторге какой-нибудь?

Мой ответ явно его не удовлетворяет.

— Да что вы говорите! Так и ходят на свободе и даже газеты свои издают? Вот ты, беда какая, ей-Богу!

Капитан, если он принимает участие в таких разговорах, бывает неизменно категоричен и тверд:

— По-моему, знаете, быть коммунистом заграницей можно в двух случаях.

— А именно?

— Для этого нужно быть или человеком не умным или человеком не честным, определяю точнее — или дураком, или подлецом. Если человек не бывал в Советском Союзе и не видел этого коммунизма на деле, но всё-таки является коммунистом, то он, простите, дурак. А если был там и видел и продолжает оставаться коммунистом, то есть стремится сделать со своим народом то же, что сделано с русским, то это второй случай — подлец. Понятно?

Нередко споры идут о сопоставлении советского и русского. Чаще всего кто-нибудь из молодежи заговорит о с о в е т с к о м искусстве, о с о в е т с к о й науке или, еще того хуже, о с о в е т с к о м народе. Тогда неизменным обличителем выступает профессор:

— Никакого советского народа нет, не было и быть не может!

— Это почему же? — возражает озадаченный оппонент.

— А вот почему. Вдумайся, следи за мыслью и, если я спрошу, связно отвечай на вопрос.

Тема эта, действительно, больная и служит постоянным источником недоразумений и споров. Что такое, вообще, «советский» и в каком отношении это определение относится к русскому?

Профессор, заложив руки за спину, шагая по комнате (он совсем не может говорить сидя), как шагал несколько десятилетий по классу, говорит короткими, ясными, так, как объясняется урок, фразами. Независимо от того, сколько собеседников у него, будь хоть один, он всегда обращается, минимум, к трем десяткам, как в классе:

— Если понятие государство складывается из трех элементов — территория, власть и народ, — то в Советском Союзе, не подлежащими никакому сомнению, являются из них только первых два, — начинает он, шагая из угла в угол. Что же касается третьего, — народа, — то тут царит сплошной мрак. Правительство уверяет, что живет на территории, подвластной ему, какой-то советский народ, не похожий ни на один другой народ в мире. Этот народ неизвестен историкам, так как от роду ему, повидимому, всего два с лишним десятка лет. Безграмотность его названия бросается в глаза каждому. По-видимому, название его — производное от формы управления страной, советской формы. Если следовать этой логике, то в Англии, например, живет...

Оратор круто, на каблуках, с профессиональной привычной ловкостью поворачивается к собеседнику и, строго глядя ему прямо в глаза, спрашивает:

— Какой народ живет в Англии?

— Английский, — бойко отвечает тот.

— Неправда.

— Ну, а какой же?

— Если следовать оригинальной формуле, найденной советским правительством, то в Англии живет народ конституционно-монархический, потому что форма правления там — конституционная монархия. Понял?

— Чего ж тут не понять.

— Ну, а во Франции?

— Во Франции живет народ республиканский, — быстро догадывается слушатель.

— Хвалю, хвалю, — поощрительно улыбается профессор. — Ну, а какой там раньше народ жил, до республиканского?

— Раньше? Раньше, перед этим жил народ... чёрт его знает, выходит, что королевский. Король, ведь, у них перед этим был.

— Правильно. А перед королевским, во время Наполеона, жил народ императорский — улавливаешь, почему? А перед этим, после революции, народ был консульским, Наполеон-то сначала консулом был. А перед ним — опять королевский. Ну, и так без конца. Мысль ясна? Возвращаемся назад. То место, где живет сейчас народ, якобы, советский, занимал, стало быть, народ монархический, перед ним княжеский, удельный и т. д. и т. д. Идем дальше. Советский народ — народ особенный, не похожий на все живущие и жившие когда-либо на земле. Это народ-лилипутик по своему кругозору, своим мыслям и чувствам. Единственная его забота — выполнять нормы производства, заданные ему правительством, единственные его эмоции — это беспредельная любовь и преданность вождю.

Профессор горячится все больше и больше:

— Этот народ косноязычен, вместо богатейшего языка народа-предшественника, — русского народа, он пользуется каким-то наречием, похожим на наречие какого-нибудь папуасского племени Ням-ням. За неимением эпитетов и из умиления перед вождем, он все хорошее, положительное, любимое называет производными от имени его отца и учителя — своего вождя. Так о хорошем урожае он говорит, что это «сталинский урожай», верную дружбу он называет «сталинской дружбой», точно так же есть «сталинская любовь», «сталинская забота о людях» и т. д. За отсутствием фантазии, из-за бедности языка он десятки сел, станций, городов называет именем своего бога, поэтому в стране есть Сталинград, Сталино, Сталиногорск, Сталинир и т. д. и т. д. без конца. Народец этот непроходимо глуп и доверчив: вождь обкрадывает его на каждом шагу, — он приписывает себе хорошо сделанные хирургические операции («врачи работают по указаниям Сталина»), талантливо поставленные фильмы («режиссеры учатся у тов. Сталина»), героические перелеты летчиков («они летают по трассе, указанной Сталиным — сталинской трассе»). Вождь крадет также явления природы, биологические законы и благотворное действие их приписывает себе. А советский народ во все это свято верит, ничего не замечает и боготворит вождя за мудрость и гениальность. И всё это воспринимается людьми безоговорочно. В природе не может существовать такого народца, человечество уже давно вышло из обезьяньего периода и, если бы какая-то его часть задержалась до сих пор на этом уровне, она была бы в обезьянах, а не в людях. Короче говоря, советский народ — это такой народ, какого в природе быть не может, вот почему его и нет. Он создан, этот бесплотный народ, советской пропагандой и создан по двум причинам. Во-пер-

вых, власть, намереваясь создать пресловутого нового человека, хотела иметь дело с народом иванов не помнящих родства. Это было легче и проще. То, что было с народом до прихода к власти коммунистической партии — было доисторическим периодом жизни, предисторией. В этот тысячелетний период царил хаос первоздания и томительное ожидание массами появления товарища Сталина. Идеал власти — это бездумная, покорная серая масса. Эта тенденция и вложена в понятие «советский народ». Вторая причина, для заграницы. Показать единство народа с властью можно только с советским народом. Показать преданность народа власти может только советский народ. Советского народа нет, а есть русский народ. Вот это мы, ты, я, он, они и здесь и там, около двухсот миллионов, которые власть гнет и в хвост и в гриву и от имени которых пугает весь остальной мир. А мы с тобой пугать никого не хотим, хотим жить вместе со всеми, в дружбе. И когда ты, — обращается профессор к оппоненту, — говоришь о советском народе, то ты являешься бездумным орудием сталинской пропаганды. Ясно всё это? — или повторить с самого начала?..

✷

За последнее время очень сильно изменился и состав лаборатории. Стал подбираться народ более интеллигентный и более сознательно относящийся к происходящим событиям. Появилось очень много университетской молодежи, главным образом, ленинградских вузов, двое из них вчерашние партизаны. Появилось несколько человек журналистов, сотрудников столичных и провинциальных советских газет, но главная масса продолжала оставаться офицерской. Те, кто откомандировывается обратно в свои лагери или рабочие команды, уходят отсюда другими людьми, чем пришли сюда. Они яснее понимают преступные замыслы и планы немцев относительно русского народа и твердо убеждены в необходимости борьбы и против них. Идея создания Третьей Силы начинает становиться руководящей для всей их дальнейшей жизни и смыслом пребывания здесь.

Как-то подошла очередь и для отъезда моего нового друга и первого знакомого, потомственного рабочего, токаря по металлу, Василия Ивановича Попова. Жаль мне было расставаться с ним, да и ему, по-видимому, не хотелось возвращаться в свою рабочую команду. Я пошел к своему непосредственному начальству, лейтенанту Корфу и попросил себе помощника. Дела было, действительно, много. Книги со всех сторон, откуда они к нам поступали, из Советского Со-

юза и из эмигрантских библиотек всех стран оккупированных немцами, перевозились самым варварским способом, грузились и разгружались в вагоны и грузовики чуть ли не лопатами. Очень много нужно подправить, подклеить, подшить. К тому времени началась уже отправка маленьких стандартных библиотек и в лагеря. Для этого книги нужно было паковать в ящики и отправлять на вокзал. Короче говоря, работы было столько, что на ней можно было занять и пять человек, впрочем, можно было б справиться и одному. Главное же ее преимущество заключалось в том, что она не поддавалась никакому учету. Никому бы и в голову не пришло проверять, что сегодня сделано и сколько.

Помощника оставить мне было разрешено. Само собой понятно, что им оказался Василий Иванович. Так мы с ним и зажили, не расставаясь по целым дням. Остальные менялись, но очень многие задерживались и на более продолжительный срок. Задержались и капитан, и профессор. Профессор и Василий Иванович были самыми старшими по возрасту, капитан был представителем среднего поколения, среди остальных — больше молодежь.

Впечатление от многих десятков людей, прошедших за это время перед моими глазами (некоторые из них не задерживались больше двух-трех недель), у меня сложилось совершенно определенное: несмотря на потуги коммунистической пропаганды, под влияние которой многие из них попадали уже в первые дни сознательной жизни, коммунистов среди них нет ни одного, хотя в бытность в Советском Союзе, многие из них были членами или кандидатами партии, а молодежь, как правило, комсомола. Нужно сказать, что в отношении немцев к людям из Советского Союза с течением времени сложилось оригинальное положение — перефразируя известное выражение о бароне, это отношение можно было бы сформулировать так — человек начинается с кандидата партии. Объясняется это, может быть, тем, что бывшие комсомольцы и коммунисты были более активными и политически лучше вооруженными антибольшевиками. С другой стороны, человек тем больший интерес вызывал, чем выше он занимал положение в советском обществе, а чем выше, тем обязательнее, чтобы он был членом партии. В беспартийной массе чаще всего можно было встретить две крайности — или уж антибольшевизм такой, какой не снился и эмиграции, или люди в такой степени сломанные и раздавленные советской жизнью, что они как политическая сила не представляли никакого интереса. Исключение из этого представляли крестьяне и рабочие, которые были самыми непримиримыми антибольшевиками и среди которых невозможно было

встретить бывшего члена партии. Характерным и общим для всех подсоветских людей, и партийцев и беспартийных, прошедших через лабораторию в первые месяцы войны, была уверенность — в войне победит или Сталин, или Гитлер и поэтому завтрашняя Россия будет или в какой-то степени зависимости от немцев, или останется во власти коммунизма. Много часов, дней и недель приходится тратить на разговоры с каждым из них в отдельности и убеждать в возможности и необходимости третьего выхода. Примитивизм политического мышления, привитый им с детских лет назойливой и нудной советской пропагандой — главное препятствие для смелых самостоятельных выводов.

Когда-то верившая в коммунизм молодежь только что пережила большую внутреннюю ломку. Ставка на мировую революцию, на единство международного рабочего класса, якобы принявшего и признавшего руководство вождей Коминтерна, что этой молодежи внушалось многие годы, как незыблемая истина — показала свою несостоятельность в течение последних лет уже два раза.

Первый раз это произошло в меньших масштабах в 1940 году, во время войны СССР с крошечной Финляндией, и второй раз сейчас.

В первые дни позорной финской войны все надежды были возложены на динамит коммунистических идей. Потом, чтобы исправить происшедший с этим динамитом скандал, пришлось прибегнуть и поправлять положение динамитом просто. Начало войны шло под лозунгом помощи рабочему классу Финляндии свалить и изгнать «фашистско-буржуазное правительство». В первом же «освобожденном» городе была сформирована новая власть, которой Красная Армия и должна была помочь восстановить попранную справедливость. Когда финляндские братья по классу, более, чем кто-либо в Европе, осведомленные о положении вещей в СССР, уклонились от «братских» объятий и, в качестве снайперов и знаменитых «кукушек», встретили огнем автоматов идущих «освободителей», стало ясным, что динамит идей — никакой не динамит, а просто куча выцветшего и никому не нужного хлама. Линию Маннергейма пришлось уже пробивать динамитом, как таковым. Нечто аналогичное происходило и теперь. В ночь объявления войны Советскому Союзу, вопреки предсказаниям Сталина, не пало ни одно буржуазное правительство в капиталистическом окружении, не вспыхнуло никаких революций. Больше того, — восьмимиллионная армия Гитлера, ворвавшаяся в страну, состояла, это было ясно каждому, не из баронов, помещиков и банкиров, а из таких же крестьян и рабочих, из каких состояла и Крас-

ная Армия. Пролетариат Европы, прежде всего пролетариат Германии, еще так недавно давший в ряды Коминтерна шесть милионов человек, пролетариат, во имя которого подтягивали животы и изнемогали часто в непосильном труде, сказал свое слово, но не в отрядах авангарда мировой революции, а в танковых корпусах фашистских, по советской терминологии, ультрабуржуазных завоевателей. Вместо выполнения своей высокой миссии — борьбы за коммунизм для будущих поколений — этот пролетариат гонялся за колхозными поросятами и гусями, и с хозяйственной деловитостью слал всё это домой, «нах фатерланд». Было от чего придти в уныние. Идейно молодежь оказалась разоруженной. Сейчас она переживала свое второе рождение. Только что пережившая крушение своих политических идеалов, разочарованная и навсегда ушедшая от коммунизма, она с жадностью искала ответа на бесконечное количество вопросов. Она пристально всматривалась в новый, окружающий ее сейчас мир. Общение с этой молодежью было для меня большой радостью. Убеждать их в правоте наших идей, звать их к нашим целям, приходилось все реже и реже — они сами, своим умом нередко приходили к тем же самым выводам.

Прелесть человеческих взаимоотношений, для нас обычных и не привлекающих нашего внимания, для них была новой и радостно свежей. Мораль, этику, взаимоотношения друг с другом, отношение к людям вообще, отношение ко всему миру они перестраивали наново. Они по-новому переживали прелесть дружбы, не отравленной обязательной бдительностью, которая от них требовалась всю их жизнь, свободу мыслить и говорить, до зари спорить об отвлеченных, не имеющих практического значения вопросах, от чего их отучала советская власть, — всё это было для них новым, неведомым и волнующе радостным миром.

Бдительность — это язва советской жизни. Быть бдительным это значит, в каждом человеке видеть, прежде всего, возможного врага, шпиона, агента иностранной разведки. Советская газета «Социалистическое Земледелие» уверяла, например, что крестьяне, работая в поле, поют такую частушку:

Каждый кустик, бугорок я
Обхожу со всех сторон, —
За кусточком иль за кочкой,
Может быть, сидит шпион...

Эта — государственного масштаба кадриль — не карикатура. Власть хочет, чтобы так было на самом деле. И в какой-то степени ей это удается. Шпиона нужно искать всю-

ду, им может оказаться каждый: сослуживец на предприятии, спутник в поезде, сосед по квартире, член своей семьи, отец или брат, любимая девушка и продавец в магазине, где вы покупаете хлеб, каждый из них может быть злоумышленником, предателем, антисоветским элементом, каждый из них может замышлять всяческие козни против советского строя и даже — о ужас! — против руководителей партии и правительства. Долг каждого советского гражданина следить за всеми вместе и за каждым в отдельности, с кем бы и где бы он ни встречался, и если он найдет что-нибудь подозрительное в поведении этих людей, он должен сразу же донести об этом органам НКВД. Если он не исполнит своего гражданского долга, не донесет, а это сделает кто-нибудь другой, гражданин привлекается к ответственности, как соучастник. Тайная политическая полиция содержит на государственный счет миллионный аппарат секретных сотрудников. Сотни тысяч людей дали подписку, под давлением НКВД, исполнять функции сыщиков бесплатно. Практически, в собравшейся небольшой компании всегда нужно считаться с возможностью, что один из присутствующих является соглядатаем полиции, и работает не за страх, а за совесть, потому что и за ним кто-то следит. Можно представить, каким адом выглядит жизнь способного критически мыслить, каким ужасом ему кажется окружающий его с детства мир. К этому привыкнуть нельзя. Пока человек остается человеком, а не становится дрессированной обезьяной, это тяжелым камнем давит на сознание всю жизнь. И вот люди освобождаются от этого. Не нужно ни следить, ни доносить и ни бояться доносов. Впервые в жизни они полностью познают, как чисты, как радостны, как искренни могут быть отношения между людьми. Они пьют эту радость полными глотками.

В рассказах о советской жизни часто говорится о большом моральном падении людей: доносы, ссоры, сутяжничество — обязательные спутники советского общежития. Это объясняется не свойствами народной психологии, а условиями, искусственно созданными советской властью. Эти же самые люди, попадая в другую обстановку, становятся совсем другими людьми.

При первом знакомстве, когда приходилось говорить о вещах, говорить о которых было большим риском, когда нужно было говорить слова, за которые гитлеровское «правосудие» автоматически рубило голову, я, признаюсь, чувствовал себя неуверенно. Только острое сознание необходимости заставляло делать то, что нужно. Очень скоро я успокоился на этот счет совсем. За все время общения с людьми «оттуда», я ни разу не пожалел о своей доверчивости, ни разу не

раскаялся за излишнюю откровенность. О том же самом говорили в один голос и все мои друзья.

Мир образов, внушенных этой молодежи с детских лет, не легко выпускает из своего плена, хотя на каждом шагу, с каждой прочитанной книгой она видит, что этот мир образов — ложь.

Советская пропаганда для изображения ненавистного капиталистического общества пользуется методом двухцветного печатания. На ее палитре только две краски: как ночь, черная и ослепительно белая, без всяких переходных тонов.

Черной краской рисуется буржуй, капиталист, зубастый, брюхастый, с головы до ног увешанный золотыми цепочками и брелоками. Главная его забота и цель жизни — угнетать беззащитных рабочих.

Белая краска — для изображения узников капитала, братьев по классу. Они вечно голодны, бесправны. Основное их занятие быть безработными. Они пухнут с голода под заборами, где время от времени избивают их полицейские, находящиеся на службе у магнатов капитала. Рабочие с надеждой и мольбой смотрят на мерцающие на востоке рубиновые звезды кремлевских башен. Оттуда и только оттуда они ждут освобождения и помощи.

В эту карикатуру в значительной степени верят и сами вожди, чем и усугубляется трагичность положения. Вожди так принюхались к собственному зловонию, что уже не могут представить просто чистого воздуха. Если взять теперешний состав Политбюро, то из всех его членов почти никто не говорит ни на одном языке, кроме русского. Исключение составляет Сталин, говорящий и по-русски с большими ошибками и только сильный грузинский акцент делает их не такими заметными. Ни один из них, как правило, не бывал заграницей, если не считать вновь присоединенных провинций, как Румыния, Польша, Венгрия и др.

В «Вопросах ленинизма» Сталин так рисует положение вещей заграницей:

«Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая власть, вот оно, мое отечество, они делают свое дело, наше дело — хорошо, поддержим их против капиталистов и раздуем дело мировой революции. Должны ли мы оправдать надежды мирового рабочего класса, выполнять наши обязательства перед ним? Да, должны, если мы не хотим опозориться вконец».

Если перевести на обыкновенный человеческий язык все эти ужимки и причмокивания, то получается, что рабочий

Бостона или Ливерпуля, Чикаго или Манчестера отечеством своим считает не Англию или Америку, а СССР, правительством — не то, которое он выбрал на выборах, а господ министров, пекущихся о нем в Кремле, — Сталина, Молотова, Берию, Вышинского и других.

Мир ушел далеко вперед. Нет ни тех отношений, ни людей, ни обстоятельств, которые были сто лет тому назад, когда Маркс писал свой «Коммунистический Манифест», а вожди Коминтерна, т. е. советское правительство, все еще живут в мире тех, ушедших в невозвратное прошлое, образов. В мире тех же ушедших образов они стараются удерживать и народ. Мне это кажется почти невероятным, но знакомство со вчерашними советскими гражданами говорит о том, что советской пропаганде это в какой-то степени и удается.

Молодой лейтенант из сельских учителей. Человек любознательности совершенно ненасытной. Через неделю после того, как он попал в плен, какое-то военное начальство направило его сюда. Жизнь по эту сторону он не видел и старается представить ее по рассказам более бывалых товарищей, но больше всего пристает ко мне.

Говорит он со вкусом, любит разобраться во всем досконально, если задает вопрос, то для понятности, иногда в нескольких вариантах сразу:

— Александр Степанович, вот, вы всякие такие штуки здешние знаете. Вопрос есть у меня.

— Давайте . . .

— Вот, предположим, я рабочий, ну, работаю, там, на каком-нибудь заводе или фабрике. Понятно? Вот. И, предположим еду я в трамвае с работы, может на работу, а может по своим делам каким-нибудь, или просто так, к приятелю. Так? Слушайте дальше. Вдруг, в трамвай, то есть, в котором я еду, входит слушайте, слушайте, — входит капиталист, или как их у вас называют, — банкир, или фабрикант, одним словом буржуй. Так? И вот тут-то вопрос и есть . . .

Он обводит глазами присутствующих и приглашает их взглядом посмотреть, как я буду выворачиваться из этой головоломки.

. . . Тут-то вопрос и есть, — что я должен делать? Понимаете? Должен ли я, к примеру, выйти из этого трамвая, или могу остаться, если уступлю ему свое место? Вот, какая механика. А, ну, ответьте!

Кстати замечу, ему было двадцать два года, он был

сначала пионером, потом комсомольцем, но большевизм ненавидел всей своей нетронутой крестьянской душой.

Я отвечаю.

— Ну, это вы, то есть, конечно, простите меня, это вы что-то заливаете, — с веселым недоверием всплескивает он руками. — То есть, как же это по-вашему получается — садится он рядом со мной, а если места нет, так и стоит? Ну, это уж вы немножко перехватили.

Мои попытки рассказать о подлинной, настоящей демократии, о том, как она выглядит в Англии, Америке, других странах, успеха просто не имеют. Реакция у всех более или менее одинакова:

— Так это быть не может . . .

Второй — тоже лейтенант. Этот более разбитной и натасканный. В Советском Союзе он работал по вербовке рабочей силы в селе для промышленности. Германию уже немного успел посмотреть — где-то в Силезии с рабочей командой работал в сельском хозяйстве. В суждениях лаконичен и непоколебим. Присаживается молча к столу, долго закручивает папиросу, закуривает и, выпуская первые клубы дыма, рубит, как топором:

— Пропадет Германия!

— Я тоже так думаю. А вы почему это, собственно, решили?

— Порядка в ней нет.

— Ну, ну, ну-у-у . . .

— Конечно, нет. Да посудите сами. Вчера я был около русской церкви (нужно сказать, что вскоре некоторые из заключенных получили право выхода в город на несколько часов без конвоя) народу, сами знаете, туча. Смотрю, эмигранты кучками стоят. Подошел я к одной, разговорились, — кто, да откуда. А потом и началось. Все пять человек и во весь голос, а кругом, ведь, толпа народа, критику наводят, да какую! И немцы то, и немцы се, и как им морду набьют, и почему это хорошо будет. Да, ведь, понимаете, во весь голос. Я, знаете, даже слушать не стал. Отошел быстренько. Чёрт, думаю, сейчас сцапают всех.

— Ну, и что?

— Да ничего. Постояли, поговорили и разошлись. И хоть бы хны.

— Да, на улице это, конечно, нехорошо. А вообще . . .

— Нет, это не порядок. Понимаете, слишком здесь много свободы.

Это «слишком много свободы» я слышу уже не первый раз. Многие из них, особенно после того, как получили пра-

во свободного выхода, завели знакомых в городе, начали бывать в эмигрантских семьях, часто приходили и, кто с радостью, кто с сокрушением, кто с непониманием, формулировали точно так же свои впечатления — слишком уж много свободы. Я стараюсь представить, до чего и как можно довести людей, чтобы в Германии, с ее Гестапо, сыском и доносами, почувствовать то, что чувствуют они.

Из тех же первых встреч с внешним миром — событие совсем комическое.

Один из вновь прибывших, в сопровождении товарища, первый раз ходил по городу. Спутник был уже старожилом и, как потом оказалось, на собственном опыте пережил то же, что заставил пережить и своего компаньона-новичка.

Ушли они сразу после обеда. Не прошло и часа, как новичок вернулся полный тревоги, возмущения и растерянности. Ввалился в нашу комнату и, разводя руками, заявил:

— Петра арестовали.

Оказалось, ничего страшного не было. Через две минуты в комнату вбежал смеющийся Петр. Судя по рассказу принесшего тяжелую весть об аресте товарища, события разыгрались так:

— Гуляем мы с Петром. На улицах масса народа, в магазинах полно товаров. Подходим мы к какому-то большому дому. Вижу, часовые стоят и полицейский перед домом прохаживается. Я и говорю Петру, — не лезь, говорю, Петро, сюда, ну их к черту, арестуют еще, видишь, охраняют кого-то. А он, можете себе представить, говорит — не кого-то, а здесь сам Гитлер живет. Ну, думаю, влопались. На этой-то стороне, понимаете, никого нет, только один полицейский. И вдруг этот мой сумасшедший Петро, можете себе представить, направляется к полицейскому и заводит с ним разговор. Я так и обмер. Понимаю я слабо, но все-таки понимаю, что он говорит. Спрашивает Петро этого полицейского — шуцмана или как они тут называются — скажите, говорит, господин полицейский, на каком балконе Гитлер речи свои говорит?.. Я, понимаете, дергаю его за рукав, — брось, дура, с ума сошел! А он, хоть бы что. А когда, говорит, его можно видеть? Полицейский что-то отвечает, и вплотную подходит к нам. Я, понимаете, не выдержал, да ходу оттуда. С дураком свяжешься, так рад не будешь. Оглянулся с угла — идут в мою сторону, полицейский Петра под руку держит. Я дал ходу, да скорее домой.

Это событие вызвало оживленные прения, воспоминания и рассказы. Оказывается, если бы место действия перенести из Берлина в Москву, то Петра, конечно, нужно было бы признать или сумасшедшим или сознательным

самоубийцей. Там за подобные расспросы о Сталине, или даже о ком-нибудь помельче концлагерь обеспечен.

— Да, что там спорить, — заключает обсуждение недавно появившийся у нас студент одного из институтов Москвы. — Мой дядька так погиб.

— Как же это произошло?

— Очень даже просто. Приехал дядюха в Москву из своей колхозной дыры, ну и глаза, конечно, на лоб полезли. Стоит дубом перед Кремлем посреди тротуара и рот от удивления раскрыл. В это время какая-то машина проходит прямо в кремлевские ворота. Мой дядька не нашел ничего лучше, как спросить у стоящего рядом гражданина — а скажите, пожалуйста, это не товарищ Молотов в машине-то был? Гражданин, в свою очередь, вопрос задает: — А вас, собственно, для чего это интересует? Дядька мой струхнул, — да так, говорит, просто... не для чего. Гражданин правую руку в карман сунул и говорит, — ну, это, говорит, мы разберем, так или не так, пожалуйте со мной. Рассказал нам обо всем этом парнишка, который с дядькой вместе приехал и по Москве вместе гулял... Трепали моего дядюху несколько месяцев. По чьему заданию следил за машинами членов правительства? да кого еще может назвать из членов организации? да когда должно было произойти покушение?.. Не знаю, уж, что он там говорил, а только на десять лет поехал.

Реакция на этот рассказ не менее показательна — ни расспросов, ни удивлений, ни тени недоверия к рассказанному. Никто не нашел ничего невероятного. Я чувствую в этом и подобных ему рассказах дыхание какого-то неведомого, жуткого, непонятного мира.

Часто разговоры заходят о будущем, — ну, вот сидим, а дальше что? Общее мнение сходится на том, что дальше — когда еще неизвестно — будем бороться с большевиками. Когда? О времени сказать трудно, вероятнее всего тогда, когда немцы поймут, что ни завоевать, ни покорить России они не могут. Они будут тогда искать не помощи в борьбе за свои преступные цели, эту помощь они от нас все равно бы не получили, а будут искать возможности спасения. Тогда с кем-то, кто сможет представлять всех нас, а это 70 милионов человек, оказавшихся с этой стороны фронта, они начнут переговоры. Кто это будет — мы еще не знаем. Но это и не важно. Может быть кто угодно, если он будет достаточно тверд с немцами и будет достойно представлять интересы русского народа. За ним пойдут все не только с этой, но и с той стороны фронта. Тогда от большевизма через несколько недель не останется и следа.

Эти разговоры — уже большой прогресс по сравнению с теми, которые я слышал при первых встречах еще в бараке. Правда, и состав переменился сильно. Но не только этим объясняется перемена в настроениях, — прошло несколько месяцев после начала войны, немцы уже потерпели первое поражение под Москвой, а кроме того, люди уже вышли из оцепенения после первых дней плена и совсем оттаяли после двадцати пяти лет жизни под террором НКВД.

Глава V

Германия не едина

Германия в три руки творила свое преступление над русским народом — армия, Восточное министерство и СС. Все три они были подчинены одной воле Гитлера, но каждая имела свои специфические особенности .

Наиболее прямолинейным, последовательным, «идеологически» выдержанным было Восточное министерство Розенберга. Оно неуклонно действовало по планам и схемам, разработанным еще задолго до начала войны. Восточные области, как назывались захваченные части России, должны были быть организованы как аграрная база и резервуар рабской силы для Великогермании, а население превращено в рабочий полускот-полулюдей. Семидесятимиллионный народ, оказавшейся под немецкой властью, прежде всего должен быть лишен исторической памяти и государственной традиции. Особые команды «Штаба Розенберга» шли по пятам за армией и увозили в Германию или уничтожали всё то, что могло служить напоминанием о тысячелетней истории и культуре порабощенного народа. Вывозились музеи и библиотеки, автоматически закрывались средние и высшие школы; будущим рабам, «унтерменшам», вполне достаточно было бы уметь подписать свое имя и прочесть приказание немецких властей. Эти команды крали и волокли в Германию всё, что можно было увезти, от паркета Гатчинских дворцов до реликвий с могилы Льва Толстого. Они разрушали памятники старины, монастыри и церкви.

В конце декабря 1941 года на восток поехала первая партия чиновников Восточного министерства для принятия от армий части занятых областей. Перед отправкой чиновники, прозванные за свою желтую форму «золотыми фазанами»,

были собраны Розенбергом, произнесшим перед ними напутственную речь:

«Вы едете представителями германского народа в завоеванные немецким солдатом области Востока. Вы встретитесь там с тяжелыми проблемами, нуждой и голодом, в которых живет население. Не подходите ко всему этому с нашей немецкой точки зрения — это особый мир. Вы должны помнить, что русский человек это животное, он им был и остался. Большевики сделали из него рабочее животное. Вы должны его заставить работать еще больше. Он должен быть вьючным скотом при построении великой германской империи. Вы там увидите страдания — русский человек любит страдать — это особый склад его патологической души, который показал миру их писатель Достоевский. Вы должны русским всегда давать чувствовать, что вы представители народа-господина. . .»

Для памяти уезжающим инструкция министра «занятых областей Востока», была отпечатана в виде 10 заповедей и роздана на руки. Членам нашей организации, осевшим в Берлине, удалось достать один экземпляр этой инструкции. Ее размножили на ротаторе и передали и в занятые области, и в лагеря военнопленных, в рабочие батальоны, формирование которых из русских военнопленных началось около этого же времени.

Части СС выполняли роль палача. Это был автомат, машина уничтожения, бесчувственная и безотказная.

Свои особенности имела армия. Она была и продолжала оставаться послушным орудием в руках Гитлера и до тех пор, пока одна победа на фронте приходила на смену другой, она была счастлива сознанием, что выполняет высокие предначертания фюрера. При походе в Россию и особенно с тех пор, как победы начали чередоваться с ответными ударами противника, а потом и с крупными неудачами, единство устремлений этих трех факторов стало давать трещину.

Армия, придя в Россию, столкнулась с политическими проблемами, о которых она понятия не имела при походе на запад. Среди офицерства было не мало людей, видевших всю гибельность для Германии партийных затей. Были люди, понастоящему понимающие большевизм, знающие и даже любящие подлинную Россию, желающие добра не только Германии, но и ей. При попустительстве, а иногда и при помощи этих людей удавалось кое-что делать и в оккупированных областях России, и в самой Германии, в смысле облегчения тяжелой участи русских людей, а также и в смысле собирания русских сил для борьбы против большевизма.

Разная степень понимания сложившейся обстановки была свойственна единицам, стоящим на всех ступенях военной иерархической лестницы до генералов включительно.

В январе 1942 года командующий южным участком фронта, фельдмаршал фон Клейст, издал приказ по группе подчиненных ему армий, в котором рекомендовал «с жителями занятых армиями областей обращаться, как с союзниками». Население, которое выходило толпами на околицу сел в праздничных одеждах, с иконами и хоругвями, — Бог весть, как сохраненными, — для того, чтобы встретить освободителей, население, которое с первого дня заявляло о своей полной готовности помочь немцам в борьбе против большевизма и для этого готово было итти на любые жертвы, трудно было рассматривать как врагов. Но Розенберг был тогда в зените своего могущества, и приказ фельдмаршала фон Клейста стоил последнему поста командующего фронтом — он был уволен.

Командующий 2-ой танковой армией, генерал-полковник Шмидт, за то, что в районе расположения его армии допустил создание местного русского самоуправления с более широкими полномочиями, чем это предвидело Восточное министерство, был просто выкинут из армии.

Эти примеры можно было бы продолжить — более значительные, менее значительные они показывали, что даже в в высшем руководстве армии были люди, идущие на большой риск, стремясь если не отклонить, то хотя бы смягчить задуманное Гитлером и Розенбергом преступление.

Сидящие в изоляционном лагере после войны офицеры немецкого Генерального Штаба подсчитали, что за время войны Гитлером было расстреляно 22 немецких генерала, 58 были доведены до самоубийства, из 19-ти фельдмаршалов к концу войны только четыре занимали в армии какие-нибудь посты, и только 8 генерал-полковников из 37-ми оставались на службе. Это опустошение в высшем командном составе армии было вызвано, конечно, не только расхождением во мнениях по поводу политики на востоке, но какая-то часть жертв, без сомнения, падает и на него.

В среде низшего офицерства таких людей было еще больше. Они стояли ближе к переживаемой русским народом трагедии и яснее видели, что творимое партией преступление готовит такую же трагедию и для немецкого народа. Одним из понимающих всё это и готовых помочь русскому антибольшевизму в его борьбе за освобождение своего народа был и мой непосредственный начальник, капитан Корф.

Он родился, учился и вырос в России. В первую мировую войну сражался в рядах русской армии против Германии и

получил два высших воинских отличия — кресты IV и III степени Георгия Победоносца. После революции боролся против большевиков в одной из армий в балтийских странах. Семья Корфов была довольно многочисленна, одни осели в Германии, другие, оставаясь бесподданными, жили во Франции, мой знакомый, направивший меня на работу в Верховное Командование Армией, приехал в Германию из Югославии.

Капитан Корф по окончании антикоммунистической борьбы в России эмигрировал в Германию и принял немецкое подданство. Впрочем, больше жил заграницей в качестве корреспондента немецких газет. Он был европейцем в старом значении этого слова и, как многие немцы, хорошо знающие окружающий мир, был свободен от супернационалистических, характерных для Германии настроений. На работу в Верховное Командование он попал как знаток европейских языков; он говорил безукоризненно, по меньшей мере, на пяти.

Первый продолжительный и серьезный разговор с ним произошел у меня по случаю довольно неожиданному и чуть-чуть не имевшему для меня важных последствий.

Утром я пришел на работу. У дверей нашей лаборатории, как всегда, постучал крышкой ящика для писем. Мне открыл Мартин. Уже по его лицу я увидел, что произошло что-то важное. В своей комнате я нашел в сборе почти всю компанию. Рассказывают мне, что сегодня ночью бежали два их товарища. Сожители по комнате ничего не видели и не слышали. Утром нашли полуоткрытое окно, через которое ушли беглецы. Из окна, действительно, легко было спуститься на крышу гаража, а оттуда спрыгнуть на землю. Мои расспросы, были ли какие-нибудь признаки подготовки, не замечал ли кто-нибудь, как они собирались или разговаривали об этом, не привели ни к чему, — никто ничего не видел и ничего не слышал.

Надо сказать, что бежавших очень не любили все остальные, одинаково и дружно. Малосимпатичны они были и мне, не делать разницы в отношениях к ним перед остальными стоило мне большого труда. Оба они были из числа советской полуинтеллигенции, так богато представленной с этой стороны. Было в их отношениях друг с другом что-то странное, один зависел от другого, а тот держал его крепко в своих руках, не то какой-то тайной, не то когда-то совершенным вместе преступлением. Были они друзьями детства и чуть ли даже не дальними родственниками. По своему внутреннему складу они были представителями той немногочисленной группы, которую совершенно сломала, опустошила и перемо-

лола жестокая советская жизнь. У них не было ни принципов, ни идей, ни убеждений, а было то, что, по определению профессора, можно было назвать «принципиальным подхалимажем». Они были в сладком восторге от всего немецкого, был ли то немецкий фильм, который им показывали в лагере военнопленных, или дрянные сигареты, нерегулярно выдаваемые военнопленным. О той части Берлина, которую им удалось повидать, они отзывались как о самом прекрасном, виденном ими в жизни: они даже и предположить не могли, что нечто подобное может быть на свете. Один из них целыми днями писал стихи, без рифмы, чушь несусветную и безграмотную, писал изумительным каллиграфическим почерком, потом приставал ко мне с просьбами отправить их куда-нибудь напечатать. Другой целыми днями спал. Оба они были беспросветно глупы и своей глупостью раздражали каждого. Но не восторги перед немецкими эрзацами восстановили меня против них, хотя и это раздражало очень.

Недели за две до побега они оба подали прошения об освобождении их из плена. Меня просили перепечатать на машинке.

Один мотивировал свою просьбу тем, что, работая на каком-то заводе в Москве, он в 1937 году вынес оттуда какие-то чертежи и передал их знакомому инженеру-немцу. По его словам, чертежи были крайне важными и для Германии очень ценными. Инженер-немец был, конечно, шпионом. Дальше шла галиматья невообразимая и вранье такое, что и писать было тошно.

Другой хотел ударить по слабой немецкой струне. Его дед — или, не помню уж сейчас, прадед — был немцем. Потом, путем каких-то сложных комбинаций, в которых участвовали тоже какие-то таинственные силы, фамилия у просителя получилась русская, хотя немцем он себя чувствует с малых лет.

Оба не были в партии — «это было несовместимо с религиозными убеждениями», и оба уверяли, что по выходе на свободу они смогут отблагодарить и быть полезными «великому и гениальному вождю и учителю великого германского народа Адольфу Гитлеру»...

Обе биографии были составлены с расчетом на психологию комсомольца Ванюшки, именно так представляющего капиталистический фашистский мир. Рассказ о шпионе и украденных чертежах, конечно, — дань советскому воспитанию и вывернутые наизнанку последствия советской бдительности.

Интересная деталь — неприязнь к себе они вызывали и у немцев. На следующий день я зашел с каким-то вопросом к

Корфу. У него на столе лежали оба прошения. Он, брезгливо морщась, кивнул на них головой:

— Читали?

— Даже переписывал на машинке...

— Какая же сволочь, а? Как вы думаете?

— Да, публика малосимпатичная, — отвечаю я.

После этого писания я никак не мог заставить себя смотреть им в глаза. Было в них что-то и физически отталкивающее: и всегда холодные потные руки, и старательно зализанные липкие, жирные волосы, и еще что-то неуловимое. На конструкцию сложнейшей прически один из них затрачивал от двух до трех часов в день. И вдруг они оба бежали...

Около десяти часов меня вызвали наверх к начальнику отделения Корфу. Он был в кабинете один.

— Слушайте... Сегодня после службы вас будут, вероятно, допрашивать офицеры военной разведки по поводу происшедшего у вас случая.

Он помолчал.

— Я не хочу думать, что это было сделано с вашей помощью, но согласитесь с тем, что без помощи извне они бежать не могли. Без документов, без денег, без языка, в форме военнопленных и в городе, который они совсем не знают. Они были вызывающе глупы, но я не думаю, что настолько, чтобы рискнуть это сделать, не рассчитывая на чью-либо помощь. Вы единственный человек, во-первых, русский, во-вторых, имевший к ним доступ, и в-третьих, по нескольку раз в день входивший и выходивший оттуда.

Положение складывалось нелегким. Оправдываться мне было бы трудно. Впрочем, так же трудно было бы доказать и мою причастность: кроме логических домыслов, против меня не было ничего. Правда, и у капитана Корфа положение оказывалось неприятное — мое пребывание вместе с военнопленными было в большом противоречии с официальными правилами. С военнопленными запрещено было какое бы то ни было общение даже немцам, не имеющим к ним прямого отношения. Но оправдываться как-то надо, и оправдываться как-то так, чтоб это послужило хоть в какой-то степени оправданием и для начальника. Я давно уже чувствую в нем человека, который в нашем большом деле может оказаться полезным. Но сначала надо оправдаться перед ним.

— Господин капитан, то, что я могу привести в свое оправдание, вероятно, не будет иметь действия у офицеров, которые меня будут допрашивать и которые меня, может быть, арестуют, — они не знали бежавших людей. Об этом я могу сказать только вам. Оправдание простое — вы можете заподозрить, и не без основания, меня в русском патриотизме, в

национализме, в неодобрительном отношении к немецкой политике на востоке, в этом нет никакой тайны. Но мне кажется, что у вас нет никаких оснований заподозрить меня в идиотизме. А нужно быть полным идиотом, чтобы помочь бежать именно этим двум. Они были слишком глупы, чтобы доставить даже моральное удовлетворение, что вот, мол, я сделал доброе дело...

Он перебивает меня на полуслове.

— Что они глупы, я знаю, но я еще не уверен, была ли это настоящая глупость или... талантливая игра.

— Вы допускаете мысль, что они могли быть подосланными агентами?

— Может быть...

Мне делается не по себе: за неделю перед этим один из бежавших просил меня поместить в выходящей в Берлине русской газете его объявление о том, что он разыскивает какую-то дальнюю родственницу, которая, якобы, была привезена в Германию на работу. Таких объявлений в то время публиковались десятки тысяч. Я не имел права этого делать без разрешения начальства. Поговорив тогда, решили дать объявление без упоминания его фамилии, путем каких-то объяснений, эту фамилию заменивших. Было дано только его имя, как сейчас помню — Коля. После слов Корфа мне впервые приходит в голову мысль, что это объявление могло быть и условным сигналом для единомышленников, находящихся на свободе. Если их поймают и вскроется эта деталь, а потом наши разговоры в лаборатории, в которых они редко принимали участие, но которые всегда слушали, мои рассказы о неудачах немцев на фронтах, переживаемые всеми нами очень радостно, — если они обо всем этом расскажут (а они при их подлости обязательно расскажут), дело будет дрянь.

Мои горестные размышления прерывает Корф:

— Ну, а если они не агенты, то дураки уж действительно: на днях я узнал, что их просьба об освобождении будет, вероятно, удовлетворена.

По-видимому, арийский дедушка и украденные чертежи возымели где-то наверху свое действие.

После небольшого молчания, в течение которого я замечаю, что настроение Корфа становится более благоприятным для меня, он спрашивает:

— Скажите, вы — член НТС?

НТС — это название нашей организации. Я отвечаю, что нет.

— А были?

— Был.

Скрывать было бы глупо. Я подписывал два года газету в качестве редактора, а она расходилась по всей Европе. Корф, будучи журналистом, не мог не видеть ее.

— Был, но сейчас не состою.

— Почему? — спрашивает он.

— По двум причинам, — отвечаю я. — Во-первых, сейчас организации нет, она, как известно, распущена, а во-вторых... во-вторых уже и излишне, — если нет организации, то и состоять в ней нельзя.

— Ну, а что же, всё-таки, во-вторых? — настаивает он.

— Во-вторых, я отошел от работы еще до ее закрытия по личным обстоятельствам — не мог справляться с той нагрузкой, которую должен был нести...

— Но, значит, идейного расхождения у вас не было?

Отвечаю, что не было и спрашиваю в свою очередь:

— Господин капитан, вопрос об НТС имеет какое-нибудь отношение к сегодняшнему делу?

— Нет, никакого... У меня были сегодня офицеры с фронта, говорят, что в занятых областях оживилась деятельность каких-то групп русской молодежи, в разных местах называющей себя по-разному, но по настроениям напоминающей НТС. В бытность мою в Париже я читал иногда вашу газету и даже был знаком с кем-то из членов организации.

Я благословляю судьбу, что не отрицал принадлежность к организации хотя бы в прошлом. Если он читал газету, то мог случайно запомнить и фамилию редактора. Но его желание поговорить вообще меня радует. В плане подготовки организации антибольшевистских сил мы учитывали необходимость поисков среди немцев людей, симпатизирующих нам и готовых помочь. Я с удовольствием поддерживаю разговор, чтобы выяснить его отношение к этому делу:

— При существующей в восточных областях обстановке неудовлетворенность ею и, как следствие этого, политическое оживление — только естественны — отвечаю я. — Что же касается настроений русских людей, в том числе и молодежи, то оно сейчас всюду одинаково.

— А именно?

— Видите ли, в чем дело, господин капитан, на этот вопрос я могу ответить или совсем откровенно или попытаться усвоить тот изумительный стиль, каким писали свои биографии наши беглецы...

Он смеется.

— Нет, ради Бога, только не это, — и потом, вдруг, став серьезным: — Это разговор между нами... Меня просто интересуют для самого себя не совсем ясные вещи.

— Насчет стиля биографии я пошутил, не мог бы. — серьезно отвечаю я. — Да, надеюсь, и вы бы не поверили... Об отношении русских людей ко всему происходящему? Знаете, основная масса — я думаю не только о находящихся в Европе, но и там, в России, — не сочувствует, да и не может сочувствовать, конечным целям борьбы ни одной из воюющих сторон. Для советского правительства конечная цель — мировая революция. Эта идея, если и владела когда-нибудь русскими умами, то умерла уже давно. И поборников ее в России или совсем нет, или их так мало, что о них не стоит и говорить. Основная же масса народа ушла давно в другую сторону. Люди хотят мира, спокойной жизни и это все. А борьба за мировую революцию будет требовать новых напряжений, жертв и крови. Народ не хочет их больше давать. С другой стороны, Германия не декларировала своих целей, поэтому есть широкие возможности предполагать всё, что угодно, вплоть до того, о чем кричит советская пропаганда, а именно, что Германия стремится колонизировать расчлененную Россию, уничтожить народ и освободившуюся землю взять себе... Согласитесь, что это не может привлечь симпатии ни одного русского человека, я имею в виду человека нормального. Вот люди и стоят на распутьи. Это основная масса. Есть люди крайних воззрений — одни стоят по одну, другие по другую сторону от нее.

То, что я говорю, едва ли является для него новостью, может быть — только подтверждением его собственных мыслей.

— А какие же крайние воззрения? — спрашивает Корф.

— Одни из них гласят: лучше будет, если Россия будет покорена немцами. Делятся они на две части: одни считают, что всё-таки, в конце концов, это будет легче, чем коммунизм; другие надеются, что потом, когда-то, немцев легче будет сбросить, чем большевиков... Часть русских людей, очень немногочисленная, находит лучшим выходом победу большевизма. Всё-таки это свое, а не чужое и, тем более, неизвестно, какое чужое. Недавно один рабочий выразил хорошо эту мысль так: «каждый вол, если б ему предложили выбирать, возьмет старое, притертое, хорошо ему известное ярмо, а не новое, которое будет сдирать кожу на новых местах, и к которому нужно очень долго приспосабливаться и привыкать»... Большевизм — это ярмо старое, там известно всё: тяжело, трудно, иногда невыносимо трудно, но никаких сюрпризов, всё известно заранее. А власть победившей Германии — сплошная загадка. И судя по началу, я имею в виду политику в занятых областях, загадка, не обещающая ничего хорошего.

— Да, необходимость коренных перемен в восточной политике очевидна для многих и из нас, немцев, к сожалению, еще пока только таких, которые не решают этих вопросов. А как вы думаете, чем можно объяснить рост сопротивления, которым встречают сейчас русские продвижение немецких армий на восток?

— Проснувшимся национальным сознанием, во-первых, и во-вторых, политикой Восточного министерства Германии. Я, может быть, ошибаюсь в том, что является во-первых и что во-вторых, но во всяком случае этими двумя факторами.

— Почему же национальное сознание не просыпается в порядке сопротивления советской власти? — спрашивает Корф.

— А это дело другое. Советская власть, большевизм, — это болезнь, тяжелая болезнь, внутренняя. Условия советской жизни, может быть, и тяжелее условий жизни под немецкой оккупацией, но создают их свои же русские люди, — болезнь внутри организма. Она может быть преодолена только самим организмом, но, само собой понятно, легче и быстрее при помощи извне. Вторжение же чужестранцев, я имею ввиду вторжение не с целью помощи, вызывает в русском народе чувства, за которыми может спрятаться и советская власть. Отстаивая свою независимость от врага внешнего, русский народ, вместе с тем, спасает и врага внутреннего...

В комнату вошла секретарша. Мне понравилось, как Корф сразу же прервал разговор:

— Так вы, значит, приготовьтесь, что перед вечером вас могут вызвать, — перебил он меня, — я постараюсь поговорить с ними перед этим.

До допроса дело не дошло. После обеда бежавших поймали где-то в Потсдаме. Кажется, побег был сделан всё-таки по глупости. Но о настроениях наших и разговорах они кому-то на допросе сказали — дня через два Корф, встретив меня в коридоре, бросил мимоходом несколько слов о том, что у нас внизу слишком распускают языки и говорят много глупостей.

На следующий день мне рассказали и друзья, что побег они, конечно, видели, даже пытались отговаривать беглецов. Они бежали сразу же после того, как был дан сигнал тревоги, — вечером был небольшой налет. Результатом всего этого было то, что какое-то начальство распорядилось поставить на окна решетки. Для беглецов дело кончилось штрафным лагерем.

*

С осени 1941 года в разных местах, в разных формах и на разном уровне идейности стали предприниматься русскими людьми попытки организации русских антибольшевистских

сил. Все без исключения русские начинатели этих акций ставили перед собой одну и ту же конечную цель — создание русского национального правительства и объединение вокруг него национального актива, не ограничивая при этом радиус действия только оккупированными немцами областями, а и предпринимая шаги для установления связей с активными антибольшевиками, находящимися с той стороны фронта.

Понимались эти попытки с трех сторон по-разному.

Русские надеялись таким путем вырвать право на свободу и независимость от немцев в борьбе против большевизма. Решающим в этом отношении предвиделся день создания союзниками «второго фронта». В этом случае мечталось о создании крупных воинских соединений — людские резервы, если считать только добровольцев, были почти неиссякаемы. После того, как немцы будут втянуты в борьбу на западе, вытеснить их из России и тем самым лишить большевизм единственного двигателя — эксплуатируемой им идеи защиты родины.

Думающая часть немцев видела в этих попытках возможность повлиять на руководство и заставить его переменить политику по отношению к России — преступную по отношению к русскому народу и гибельную по отношению к немецкому.

Руководство же смотрело сквозь пальцы на все эти начинания до тех пор, пока воинские формирования не перерастали состава батальона. Формирования более крупные были запрещены приказом Гитлера № 2-15 от 13 января 1942 года. Дальше ставилось «табу», и дальше дело нигде не шло. Попытки ведения национально-политической работы пресекались в корне, жестоко и кроваво. Руководство Германии, поставившее перед собой целью уничтожение живых сил русского народа, независимо от их политических убеждений, видело в этих попытках прежде всего возможность получения бесплатного пушечного мяса, а операция уничтожения русских сил, таким образом, превращалась в операцию самоуничтожения.

В это время за колючей проволокой лагерей военнопленных, в кошмаре эпидемий, в первую очередь тифа, уносившего десятки и сотни тысяч человеческих жизней, обреченные немцами на вымирание голодной смертью люди думали, страдали, рвались к борьбе против большевизма, к борьбе за Россию. От большевизма очень скоро не осталось бы и следа, если бы тогда дана была хоть половина тех возможностей, которые немцы могли дать, отказавшись от своих чудовищных планов. Но они были непреклонны.

Участие русских военнопленных в борьбе Германии против ее врагов и, прежде всего, против Красной Армии — явление невиданное и небывалое ни в истории России, ни в какой бы то ни было другой. Явление это можно объяснить только политикой советского правительства и до войны и во время ее.

Если на сторону врага государства переходят во время войны единицы, то уместно говорить о выродках. Если это делают десятки тысяч, то объяснить можно это моральным падением народа в целом. Но если переходящих приходится считать миллионами, то и первый и второй диагнозы неверны и объяснения нужно искать не в психологии переходящих, а в окружавшей их обстановке, в условиях их жизни, в данном случае, в практике советского строя.

Молодежь, родившаяся или вошедшая в сознательную жизнь уже при советской власти, подверглась чудовищной операции — воспитанию в коммунистическом духе. В процессе этого воспитания ампутировались основные свойства человеческой морали и этики и прививались понятия диаметрально противоположные тем, которые являются основой воспитания во всем остальном мире.

Любовь к родителям, любовь к родине, самое понятие р о д и н а, в е р а в Б о г а, л ю б о в ь к б л и ж н е м у считались преступными и недопустимыми. Это было проклятым наследством капитализма. «У пролетариата нет отечества» — лежало в основе воспитательной работы с детьми, начиная с самого младшего возраста. Любовь к родителям считалась одним из самых вредных пережитков старины — «у нового человека», подлинного пролетария-коммуниста, не должно быть семьи, ее заменит ему сначала комсомол, а потом партия и рабочий класс.

Воинствующее безбожие было краеугольным камнем коммунистического воспитания.

Детям внушалось, что слежка за ближними, за родственниками, за членами семьи, а прежде всего за родителями — их прямой долг перед партией и коммунизмом. Донос на ближних, на членов своей семьи, органам политической полиции — величайшая из добродетелей подрастающего поколения нового коммунистического общества. Идеалом для юношества был поставлен Павлик Морозов, донесший на своего отца, расстрелянного потом ГПУ-НКВД.

Это воспитание искалечило внутренний мир целого поколения. И только семья, только родители, самоотверженно восставшие против новой «морали», спасли это поколение от окончательного морального разложения.

В 1934 году перед угрозой близкой войны советские воспитатели в течение ночи перестроились на другой, но в такой же степени аморальный лад: вместо коммунистической морали стал лошадиными дозами прививаться самый человеконенавистнический, самый ожесточенный шовинизм.

Можно представить, какой хаос творился в душах молодежи, подвергавшейся в течение многих лет этим экспериментам.

Советское правительство перед войной отказалось подписать конвенцию Международного Красного Креста о защите военнопленных. Через три месяца после начала войны приказом № 260 от сентября 1941 г. оно заявило, что в Советском Союзе не может быть военнопленных, а могут быть только предатели родины. Человек попавший раненым в немецкий плен, по толкованию советских законов, уже считался государственным преступником, не говоря уже о тех, кто попадал в плен совсем здоровым. За все время войны этим людям не было послано ни грамма продовольствия, ни строчки писем родных — это были люди, вычеркнутые из жизни.

Не легче оказалась судьба тех немногих, кто оставался до конца верным советскому правительству и даже в первые месяцы войны боролся с немцами до последней возможности, а потом часто раненым попадал в немецкий плен. Советское правительство прокляло и этих людей, отказалось и от них, выдав их на безнаказанную расправу Гитлеру. «Предателями» заклеймила своих немногих защитников советская власть, как с предателями и поступала с теми из них, которым каким-то чудом удавалось бежать из немецкого плена.

Погибших потом в Германии, замороженных голодом в лагерях или убитых тифом советское правительство не по праву оплакивает сейчас как свои жертвы. Они не были жертвами коммунистической партии Советского Союза, а были жертвы русского антикоммунизма, жертвы русской демократии, принесенные в борьбе против деспотии как гитлеровской, так и сталинской. Члены организации сидели вместе с этими людьми в концлагерях и тюрьмах, в штрафных лагерях и в «лагерях уничтожения» и там вместе с ними мечтали о новой, свободной жизни, о борьбе за освобождение русского народа и от сталинского террора. Доживи эти люди до наших дней, они преследовались бы сейчас НКВД с этой стороны демаркационной линии и просто убивались с той. Не случайно советские представители в Австрии подали списки требуемых ими «военных преступников», уже за два года до окончания войны убитых за антинемецкую деятельность палачами Гитлера. В данном случае советское «правосудие» просто опоздало...

В вспомогательные части немецкой армии шел тот, кто не находил в себе сил умереть голодной смертью в лагере военнопленных, шел тот, кто никогда не мог вернуться на родину в случае победы большевизма. Но, прежде всего, шел тот, кто считал: что бы там ни было, но всё, что ни будет, лучше, чем большевизм.

Вся эта молодежь, если не лично, то как члены семьи, подвергалась тем или иным репрессиям советской власти. В СССР трудно найти семью, в той или иной степени не пострадавшую от непрекращающегося террора. Попадая в плен, молодые солдаты в большинстве случаев не могли вспомнить почти ни одного светлого момента в своей недолгой жизни, которым они обязаны были бы большевизму. Это с одной стороны. С другой — те же большевики уже во время войны, особенно в первые месяцы, настойчиво твердили, что немцы идут разрушить советский строй, т. е., в представлении советской молодежи, разрушить то, что украло их молодость, отравило их жизнь, сделав из нее сплошную физическую и духовную каторгу. Немецкая пропаганда убеждала их, когда они были еще на той стороне, что Германия борется не против русского народа, а только против большевизма, что Германия призывает и русский народ выступить и присоединиться к «великому освободительному походу» всей Европы против врага человечества — сталинского коммунизма. Если учесть всё это, то можно понять, что число идущих в немецкие вспомогательные части было немалым.

Для интеллектуальной элиты этой молодежи была другая дорога — в лагеря политической подготовки. Только что пережившая крушение своих идеалов, она искала ответы на целый ряд возникших у нее вопросов всюду, где надеялась или предполагала их найти.

Эти лагеря, как только стало известно об их создании, вполне естественно, привлекли внимание нашей организации. Нужно было во что бы то ни стало попасть туда, в качестве ли слушателей-военнопленных, в качестве ли преподавателей отдельных дисциплин — все равно. После долгих усилий, закулисных ходов нам это удалось, и в самом большом лагере Вустрау в 1942 году в качестве преподавателей оказались члены нашей организации — В. Д. Поремский, Д. В. Брунст, Р. Н. Редлих и др. Они сразу же приступили к выполнению двух задач — к набору в ряды организации подходящих для этого людей и созданию соответствующих настроений в остальной массе. Из этого лагеря организация получила потом десятки человек стойких и сильных борцов за наши русские идеалы. Многие из них отдали свои

жизни за свою веру — часть была убита гитлеровским Гестапо, часть уже после войны сталинским НКВД.

Лагеря политической подготовки были сосредоточены, главным образом, в самой Германии и преимущественно недалеко от Берлина. Наиболее крупный из них, кроме Вустрау, Вульхайде. Набор туда производился только по признаку добровольности и даже некоторого отбора, прежде всего, по известному уровню интеллигентности. В программу курсов входили, в основном, критика коммунизма и программа национал-социализма. Посещение фабрик, заводов, квартир рабочих, крестьянских хозяйств и т. д. являлось как бы практическим курсом занятий.

Программа была не всюду одинаковой. Пользуясь трениями между разными учреждениями — лагеря создавались одновременно армией, Восточным Министерством, Министерством Пропаганды, — в некоторых лагерях, особенно организованных армией, программа была вполне приемлемой даже и для критического взгляда. Так, в вышедшей в 1943 г. книге «Правда о большевизме» (ротаторное издание, а потом и типографское), в том же лагере Вустрау, один из молодых советских инженеров М. Першин, участник курсов, вступивший в ряды нашей организации за год перед этим, писал:

«Самое главное: ради чего, ради какого нового строя нас призывают на борьбу с коммунизмом? Не будет ли этот новый порядок хуже большевистского? Не означает ли новый порядок вообще полного уничтожения России, превращения ее в «придаток капиталистического мира во главе с фашизмом», как это утверждают большевики? Вообще, что лучше: «свой» ли большевизм или чужое господство над Россией?

Мы отвечаем: мы, русские, не хотим ни чужого господства, ни большевизма. Мы боремся за свободную и независимую Россию, без большевиков и капиталистов.

От нас, русских, зависит судьба нашей родины. . .»

Это было написано и издано в тридцати километрах от Берлина, от того места, где Гитлер с Розенбергом строили планы об освобождении для немецкого плуга плодородной русской земли и о низведении коренного русского населения до уровня рабочего скота. Это было издано не в подполье, в подполье издавалась другая литература, а с ведома и при попустительстве тоже немцев.

«Правда о большевизме» прошла военную цензуру и была принята в качестве пособия в лагерях политической подготовки, организованных армией.

В том же лагере Вустрау был переиздан на ротаторе сокращенный труд эмигрировавшего немецкого философа Шубарта — «Европа и душа Востока». Труд, полный глубокого преклонения перед русской культурой и больших надежд на русского человека в будущих судьбах мира. Книга эта была в равной степени как антибольшевистской, так и антинацистской.

Тема о «своем» большевизме и «чужом», т. е. немецком, господстве, была, конечно, самой животрепещущей и всегда злободневной в лагерях. И в частных беседах, и в небольших семинарах без контроля немецких глаз, и на лекциях, и в докладах, которые контролировались немцами, дискутировалась она без конца. Антинемецкие настроения оформлялись из чувств в убеждения, из органического отталкивания от расовых теорий и нацистского мракобесия росло и крепло философски обоснованное мировоззрение.

Слушатели курсов предназначались для занятия административных постов в занятых немцами областях. С точки зрения национально-русской на этих людей можно было положиться — они отошли от коммунизма совсем, оттолкнулись и от нацизма, симпатии к которому, как правило, никогда не чувствовали. Их нужно было только вооружить положительной политической программой — и они были уже готовыми борцами за независимую демократическую Россию. Это и было основной задачей членов организации, проникнувших в лагерь.

Военнопленные, идущие на работу в вспомогательные немецкие части, не подвергались политической перестройке. С голым органическим антикоммунизмом и все нарастающей ненавистью к немцам они представляли для нас тоже большой интерес. Заслать своих людей туда было труднее. Брались в эти части военнопленные только из лагерей, находящихся в прифронтовой полосе или совсем недалеко от нее. Проникнуть туда удалось совсем с другой стороны.

По мере того, как кончались курсы в лагерях политической подготовки, а на работу в занятые области Восточное министерство категорически никого не пускало, этих людей, в качестве пропагандистов, стали отправлять в сформированные из военнопленных батальоны. Несколько десятков человек наших новых друзей, привлеченных в организацию в Вустрау, а также и в других лагерях, и вполне подготовленных для работы, поехали туда в первую очередь.

Третья Сила находила все больше и больше своих проповедников, а значит и сторонников. И в занятых немцами областях (там эмигрантам запрещено было появляться) и в ла-

герях «остовцев», — насильно привезенных на работу в Германию русских людей, и в лагерях военнопленных, и в созданных немцами восточных батальонах, и в партизанских антинемецких отрядах члены нашей организации вели тяжелую, полную ежеминутного риска работу по сбору антибольшевистских сил. Не всюду эта работа велась достаточно сдержанно и умело, и за это время организация теряла десятки людей арестованными, брошенными в концлагеря и тюрьмы и уничтоженными в гитлеровских застенках. Но это не останавливало остальных. После потери смыкались ряды и работа велась дальше. Велась чаще всего в труднейших условиях, без связи с друзьями, без инструкций из центра, по собственному разумению и, прежде всего, применительно к обстоятельствам — каждым отдельным борцом. Только благодаря закалке и блестящей подготовке кадров для работы во вражеской среде, для революционной борьбы, за всё это время не произошло ни одного непоправимого провала, — аресты носили всегда только местный характер, правда, принимая иногда размеры очень опасные. Наряду с арестом единиц и десятков, в Смоленске, Киеве, Орле, Минске и других городах, наши силы были серьезно подорваны арестом в Брянске. Друзья сообщали коротко: «Арестовано две тысячи человек. Наших среди них триста». Мы еще не знали тогда, что материалы на всю организацию в целом и на каждого ответственного работника персонально собираются в каких-то картотеках, что составляется досье, список грехов и преступлений, который потом, в самый решающий момент, и будет нам предъявлен.

Надо сказать, что работу по сбору антикоммунистических и антинемецких сил вели далеко не только члены нашей организации: Мы были только небольшой составной частью многомиллионной массы с разной степенью активности, идущей к тем же целям. Многие тысячи безвестных героев, имена которых мы никогда не узнаем, погибли на этом же пути к России. Чаще всего это были одиночки - антибольшевики, принесшие ненависть к большевизму из Советского Союза, не сдавшиеся и не сломившиеся противники коммунистической власти.

Работа нашей организации облегчалась полулегальностью нашего положения. Немцы не препятствовали философской и идейной критике большевизма. Никто не мог этого делать так, как подготовленные кадры организации. От философских основ до декретов, регулирующих работу сельского хозяйства, от резолюций всех съездов коммунистической партии СССР до высказывания отдельных вождей по разным вопросам — члены организации знали всё это лучше любого

советского пропагандиста. За критикой большевизма немцами ставилась точка. Дальше говорить ничего было нельзя. Даже намека на какую-нибудь положительную программу у них не было — всё должно было решиться по окончании войны. Но для пытливой мысли, как известно, преград еще не придумано. И наши люди после критики сталинизма непосредственно переходили к проповеди наших идей. Что они сразу же вызывали и укрепляли антинемецкие настроения — это было само собой разумеющимся...

Глава VI

Перелом

Русский народ встретил Гитлера как своего освободителя, но обман развеялся скоро. К концу 1941 года стало ясно многим, что германские полчища несли не освобождение, а новую кабалу. Вместо спадающего большевистского ярма немцы торопились надеть новое. Для многих стало ясным, что Германия не союзник нашего народа, а лютый враг - поработитель, что происходит не крестовый поход христианской культурной Европы против безбожного коммунизма, как твердила немецкая пропаганда, а разбойничий налет за наживой и рабами, что в руках Гитлера не меч освобождения, как всем хотелось видеть, а топор мясника.

Народ дорого заплатил за эту обманутую веру. Миллионы антикоммунистов, перешедших на эту сторону, чтобы включиться в борьбу против коммунизма, немцы сгноили в лагерях и заморили голодом с такой же жестокостью, как это делали большевики со своими врагами. Три с половиной миллиона человек в течение только зимы 1941 - 42 годов были убиты тифом и голодом, только в лагерях военнопленных, т. е. три с половиной миллиона служащих Красной Армии, не поднявших оружия на защиту советского строя.

Народ понял обман Гитлера. Друзья, пробравшиеся в Берлин с докладом о положении в занятых областях, в один голос утверждали одно и то же: психологический перелом в народе произошел, на смену радости и благодарности к освободителю в народной душе поднимается сначала горькое разочарование, а потом и гнев.

Один из прибывших рассказывает такой случай:

В какое-то село, только что оставленное частями Красной Армии, вошли немцы. Солдаты рыщут по дворам, бьют птицу и домашнюю скотину, спрятанную от убежавших особотдельцев, выворачивают прямо на дворах сундуки со скудным крестьянским добром.

В одном дворе унтер-офицер нашел старика-крестьянина. Вытащил его за бороду на середину двора и требует масла и сала. Крестьянин говорит, что у него нет. Тогда немец, понимающий немного по-русски, замахивается и грозит ударить. Крестьянин, побледнев как мел, говорит:

— Бей!

Немец бьет. Старик падает на колени, с трудом поднимается на ноги и, вытирая кровь с разбитого лица, говорит так же коротко:

— Бей еще!

Немец бьет опять. Старик поднимается и опять твердит все то же:

— Бей еще!

В тяжелых унтер - офицерских мозгах зашевелилась какая-то мысль. Немец спрашивает:

— Штой такой? Почему? Зачем бей? За что?

— За то, что я вас ждал, — отвечает крестьянин, выплевывая кровавую слюну.

Не знаю, выдуман ли этот случай или действительно имел место, но он, как нельзя лучше, характеризует отношения между народом и пришедшим завоевателем.

О происшедшем в народе душевном переломе мы узнали и по тому, что с фронта, вместе с ликующим «гром победы раздавайся», стали доноситься и другие мелодии — об ожесточенном сопротивлении, о жгучей ненависти к завоевателю. В плен уже не сдавались, как два месяца тому назад, целые дивизии, корпуса и армии, число одиночных перебежчиков сократилось в несколько десятков раз. Роль советского народа в войне была окончена. На сцену выходил русский народ.

Приезжающие с фронта в отпуск солдаты и офицеры (многие из них хорошо говорят по-русски) рассказывают потихоньку в семьях, своим знакомым и друзьям о невиданном, небывалом во время этой войны сопротивлении русских. О том же самом говорят переводчики из русских эмигрантов, которых к концу 1941 года вернули всех в Германию.

В знакомой русской семье я встретился с одним из них, только что вернувшимся с фронта. Друзья предупредили, что за несколько месяцев он постарел на десятки лет — вернулся нервно - больным — и что рассказывает о пережитом очень неохотно. Он действительно почти не участвовал в общем разговоре и только потом, когда разошлись гости и кроме хозяев и меня не осталось ни одного человека, разговорился. О причинах своего возвращения рассказал скупо и коротко.

— В небольшом городке, на среднем участке фронта, немцы поймали группу молодежи, партизан. Они не были пар-

тизанами в полном смысле этого слова — жили в городе и, по-видимому, должны были быть только связью между той стороной и партизанской группой. За месяц до этого их перевезли ночью на самолете и сбросили с парашютами. С ними была маленькая отправная радиостанция... Меня, как переводчика, вызвали для допроса. Отказаться я не имел права, хотя был при воинской части и к комендатуре никакого отношения не имел: это было бы равносильно самоубийству. Не отказался еще по одной причине: думал, что, может быть, как-нибудь смогу им помочь, знаете, ведь, от переводчика много зависит... Допроса, собственно, никакого не было, потому что ни один из обвиняемых не проронил ни слова. Только последний, кажется, самый молодой, ему едва ли было больше семнадцати, на повторное требование офицера назвать свое имя, глядя ему прямо в глаза, спокойно, даже как-то лениво сказал: «мне противно с вами разговаривать»... Приговор был коротким — расстрелять всех четырех.. На следующий день их вывели во двор комендатуры. Молодой офицер, недавно переведенный откуда-то из Голландии, страшно нервничал. Перед тем, как дать последнюю команду, он просил меня перевести несколько слов о том, что по немецким законам каждый из них может выразить свое последнее желание, и спросить, не хочет ли кто-нибудь из них что-либо передать родителям или, еще не поздно, сказать что-нибудь в свое оправдание... Я им перевел. Мертвая тишина... Вдруг одна из девушек спокойным звонким голосом говорит: «Кончайте эту комедию. Стреляйте. Нам холодно...» В ее глазах, обращенных к офицеру, было столько холодного презрения, что он отвернулся и подал сигнал... Вернувшись домой, он написал письмо родителям и застрелился.

Через несколько дней переводчику было приказано сдать форму и вернуться обратно в Германию. Перед отъездом он был вызван в комендатуру, где уже другой комендант взял с него подписку о том, что он никогда не будет рассказывать о виденном здесь и слышанном.

У меня этот рассказ перевернул всё в душе. Первый раз за всё время меня покинула уверенность в правильности и верности выбранного нами пути. Я не мог заснуть целую ночь: правы ли мы? не ошибаемся ли? Может быть, действительно наше место на той стороне? Не просмотрели ли мы чего-нибудь? Если при советском строе может родиться и расти такая молодежь, не оправдал ли он тем самым свое существование? Не является ли преступлением перед родиной самое наше пребывание здесь?...

С другой стороны, полгода тому назад — миллионные армии, сдающиеся без боя в плен, сотни тысяч добровольно перешедших на эту сторону. И после них — вот эти дети.

Утром на службе, оставшись один с глазу на глаз с профессором, я рассказал ему о вчерашнем и о своих мыслях.

На него мой рассказ не произвел такого впечатления, как я подсознательно ожидал.

— Дорогой мой, такая молодежь в России была, есть и будет. Это и есть Россия, а не СССР, русский народ, а не советский. В России сейчас поднимаются на борьбу силы, по сравнению с которыми Гитлер с его бронированными дивизиями — пигмей. Говорить сейчас о возможности немецкой победы могут только слепцы... Но вы знаете, такую же светлоглазую молодежь двадцать пять лет расстреливают и в сталинских застенках, только ни вы здесь, ни многие из нас там не слышали и не знают ничего об этом. Я знаю, я сидел с этой молодежью в концлагере, где были вот такие же герои, о каких рассказываете вы. Они с такой же святой отвагой пытались бороться и против Сталина... Гитлер — недоучка. Он не доучился у Сталина. Знаете, как вот этот случай выглядел бы в СССР? Здесь вам рассказал переводчик вы — кому-то другому, да и он рассказал не вам первому, вот об этом и знают все. Вы не спали ночь, а другой пойдет за этой молодежью следом. В СССР этого быть не может. По-советски это сделано было бы иначе. Переводчик при первых же признаках его слабости, был бы расстрелян. Он никому бы не смог рассказать ни о том, что он видел, ни о том, что он пережил. Офицер там самоубийством не кончил бы. Нашу молодежь там расстреливают люди особой подготовки и особого склада души. Их презрением не тронешь. А если бы кто-нибудь и проявил такую слабость, как застрелившийся немец, его объявили бы запутавшимся в шпионских делах и расстреляли бы до самоубийства. Машина уничтожения инакомыслящих — это единственное, что работает там безотказно и бесперебойно. Сила там в том, что всё это делается в гробовом молчании. Тот, кто оказывает сопротивление советской власти, не видит перед собой зовущих примеров, и каждый, поднимая руку на тиранию, чувствует себя начинателем. А это очень трудно. Гитлер создал газовые камеры, о которых вы как-то рассказывали мне. И вот мы уже знаем об этом, знает, наверное, и весь мир. В СССР не узнал бы никто. Ничто не проникает за каменные стены подвалов НКВД... 16 миллионов человек гниют там в концлагерях, это почти 10 % населения страны. Посчитайте, какой процент это будет от мужского населения. А ведь в мире об этом или не знают или не верят этому.

Он помолчал.

— Рассказанный вами случай говорит только о том, что войну с Россией Германия выиграть не может, как не может ее выиграть никто, если не привлечет на свою сторону русский народ...

*

Кончился 1941 год. Новый год мы встретили большой компанией на квартире одного из членов организации в восточной части Берлина. Достали несколько бутылок кисловатого вина, которое хозяйка дома, женщина воинствующе непьющая, немилосердно разбавила водой «чтоб надольше хватило». Тот, кто имел продовольственные карточки, срезал их за две недели вперед — ужин получился на славу. За одним общим большим столом — на сооружение его была использована чуть ли не вся мебель квартиры от ночной тумбочки до шкафа, положеного на стулья — собралось больше двадцати человек. Большая часть гостей — вчерашние советские граждане, вступившие в организацию или здесь, за рубежом, или еще в России. Среди них четверо рабочих — «осты», с риском больших осложнений ускользнувшие на эту ночь из лагеря. Было двое старых членов, ушедших с первой партией в Россию. Они только что пробрались обратно с большим докладом о состоянии нашей работы и об общем положении в занятых областях. После ужина вполголоса пели песни — под Новый год это можно, — читали стихи, перемежая всё это вспышками общего разговора, воспоминаниями, рассказами о пережитом. Песни пели народные русские, и новые, свои...

«Бьет светлый час за Русь борьбы последней...»

Дружным безголосым хором старательно выводили, больше переживая слова, чем музыку:

«За новый строй, за жизнь и честь народа,

За вольный труд, за мир родным полям...»

Пели недавно вошедшую в моду «Мы поколенье суровых людей», автор ее, член организации, сидел сейчас в немецком концентрационном лагере. Друг, написавший музыку, был убит немцами в Польше.

Пели и знали, что эти же самые песни, так же вполголоса, в это же время поют единомышленники и друзья и в далекой России, и оставшиеся на Балканах, в лагерях военнопленных и рабочих. Пели и знали, что в безграничном русском мире мы пока единственная организованная русская сила, готовящаяся к борьбе за подлинно русское дело. С востока идут русские люди; борются и умирают, чтобы отстоять

свою тюрьму, умирают за интересы ненужные им и, в конце концов, враждебные. С запада идут такие же русские люди под руководством немцев. Эти борются против большевизма, но за что — тоже не знают. Нас мало. Мы еще очень слабы по сравнению с борющимися гигантами. Но мы растем, мы будем расти за счет и одних и других.

Между песнями вспоминаем друзей, погибших за общее дело, и там, в России, и здесь, в Германии. Вспоминаем далеких единомышленников на Дальнем Востоке, в Англии и Америке — как-то они там? У них положение тоже не из легких, вроде нашего, только наоборот — их там считают врагами союзника, а нас, если мы не победим, будут, вероятно, обвинять в том, что были союзниками врага. Если победим — судить не будут, а будут славословить за дальновидность и героизм, за мужество и жертвенность.

Стихов читали много, — Гумилева, Есенина, но еще больше своих, плохих и хороших, но очень искренних и страстных. Тема единственная — родина, Россия. Одно из прочитанных, посвященное Гитлеру, врезалось в память больше других. Оно было размножено потом на ротаторе и, вопреки элементарнейшей осторожности и конспирации, чуть ли не каждым членом организации, особенно из молодых, носилось в кармане:

Кем послан ты? Диаволом иль Богом?
Не все ль равно! Как ураганный смерч,
По нашим разухабистым дорогам
Пронесший истребление и смерть.

•

Ты сгинешь и развеешься в сугробах,
И радость отомщенья затая,
Чудовищным и необъятным гробом
Вдруг обернется Родина моя.

•

Так смейся же теперь оскалом волчьим,
Ломай, грызи железо мертвых скреп,
Стой во главе своих позорных полчищ,
Кормя их песнями про сытный русский хлеб.

•

Веди их дальше, в степи, тундры, топи,
Еще бессмысленнее и лютей,
Чтобы потом, во всей твоей Европе
Не смолкли плачи бледных матерей.

•

А мы? Переболеем, переможем,
Перегрустим ... И из веков в века
На Запад и Восток издалека
Поведаем о тихой правде Божьей.

Стихотворение написано молодым инженером, поэтом и журналистом, Александром Неймироком — белградцем, что мы «югославяне», под дружескую зависть всех остальных, неоднократно подчеркиваем. Через год автор был посажен в тюрьму, потом ненадолго был отпущен и осенью 1944 года посажен опять. Прошел скорбный путь по лагерям Заксенхаузен, Флоссенбрюк и ряду других и в мае 1945 года — полутрупом — был освобожден частями американской армии в Дахау.

В перерывах между стихами и песнями вспоминаем, кто, где и как встречал прошлый Новый год, — вся отечественная география и география Европы переплетается в один общий узор. С разных концов стола то и дело слышится: «у нас в Киеве...», «а вот у нас в Москве...», «ну, что у вас в Белграде, вот в Париже...», «Днепропетровске...», «Смоленске...» и так без конца.

Расходимся небольшими группами уже под утро. На берлинских улицах приглушенное веселье. Из ресторанов и баров, из-за окон, затемненных черным картоном, из открывающихся дверей доносится веселая музыка и пьяные голоса. Танцевать с началом похода на восток запрещено. Берлин торжествует и славит свои победы, и он еще не скоро поймет и почувствует, что немецкая звезда уже вышла из своего зенита.

Мы молча то и дело обгоняем или встречаем веселые компании поздних гуляк, переходящих из ресторана в ресторан. Среди них много офицеров с дамами. Далеко по улицам слышен женский смех, шутки и обрывки песен. Старожилы говорят, что если бы не затемнение, потушившее миллионы цветных огней, световых неоновых реклам, которыми славился Берлин, то можно было бы подумать, что никакой войны и нет — так эта ночь похожа на ночи под Новый год мирного времени. Недавнее поражение под Москвой вызвало у немцев небольшую горечь, но что же делать, могут ведь быть когда-нибудь и маленькие неудачи! В основном же всё остается по-старому и немецкая победа — вопрос самого недалекого будущего. Сам фюрер незадолго перед Новым годом категорически заявил: «Поход на восток закончен. Вражеской армии больше не существует»...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

«Осты»

Начиная с декабря 1941 года, на вокзалах и улицах больших городов Германии всё чаще и чаще можно было наблюдать необычайное зрелище — траурные прецессии привезенных на работу в Германию русских людей. Первые партии ехали добровольно. Люди старались уйти от близкого большевизма — «Бог его знает, как будет колебаться фронт», — от наступающего кое-где голода, да и поучиться у Европы уму-разуму, главным образом, техническому. Об этом так красиво говорили плакаты в красках с картинками и многообещающими словами. Поток добровольцев скоро кончился, потому что ни одно обещание не исполнялось — привозили, загоняли за проволоку в лагерь и заставляли работать без просвета. Того, кто мечтал поучиться на немецком заводе у фрезерного станка, гнали копать землю, инженера-электрика — таскать грузы, а преподавателя музыки — «как не поедешь? ведь страна Моцарта, Бетховена и прославленных консерваторий!» — возить на тачке стальные болванки. Вести об этом скоро дошли, конечно, и до родных мест. Эти первые транспорты и были последними добровольными. Следующих привозили уже, как военные трофеи, под стражей, свирепо разгоняющей окружающих зевак, главным образом, конечно, русских.

А посмотреть было на что. До слез убогая, почти нищенская одежда, за спиной мешки и котомки, в руках самодельные сундучки. Женщины в платочках, мужчины в кепках и картузах. А под всем этим — родные русские глаза, иногда выцветшие от горя, иногда полные молодого задора. На полулохмотьях «спинжаков» и кофточек (и то и другое категорически неуловимого цвета) на груди оскорбительно новый лоскут материи и на нем белые буквы «ОСТ». Это — клеймо победителя на его трофеях. Не русский, не татарин или узбек,

а «восток» — Азия. В витринах киосков журнал «Унтерменш». В этом журнале с бесспорной очевидностью доказывается, что вот эта самая Азия в течение веков (на первой странице изображены наездники Атиллы) только и делала, что врывалась, опустошала и грабила Европу. Всё это сопровождено картинками, забыть которые русскому человеку, их видевшему, не удастся, живи он хоть двести лет.

Теплой волной ласки и заботы встретила эмиграция хлынувшую на немецкие улицы Россию. Собирались вещи, одежда, обувь, от скудного пайка отрывались хлебные и картофельные купоны. Завязывались знакомства, крепли, расширялись. Встречались сначала, по русскому обычаю, больше в церковных оградах. По воскресным дням, за жиденьким липовым чаем знакомились ближе уже по домам.

Гестапо не могло не обратить внимания на этот альянс. Отношение к руской эмиграции у немцев было запланировано в общем масштабе русского вопроса. Эмиграция, в большинстве своем интеллигенция, пожила в Европе, настроена национально, дай ей возможность общения с советскими — наговорит еще им всяких бредней о какой-то там России, да еще, тем более, «великой». Полиция издала строгое распоряжение — под страхом тяжелых наказаний не разрешается эмигрантам встречаться, разговаривать и вообще общаться с советскими.

К чести эмиграции надо сказать, что этот приказ никого не испугал и никого не остановил. Его обходили осторожно и неустанно: и встречались, и говорили, под шумок даже выходили замуж и женились, а потом занимались делами и более преступными. К концу войны не всегда уже можно было распознать, где эмигрант, а где вчерашний советский. Потом, перед крушением Германии, так, многомиллионным сплавом, и двинулись дружно на запад, конечно, не все, а только тот, кто вырывал эту возможность в последний момент. Двинулись навстречу демократии, к свободам, к «праву человека и гражданина»...

*

Многие миллионы русских людей — число их к концу войны поднялось до 12-ти миллионов — были привезены на работу в Германию. Приехав сюда, они возненавидели немцев больше, потому что увидели их ближе. Возненавидели за обман, за бесчеловечную, звериную жестокость, с которой пришли они к нашему народу, встретившему их, как освободителей. Но вместе с тем острее, чем раньше, они осознали необходимость борьбы и против большевизма. «Проклятая Германия» — говорили они, но, говоря это, не могли не ви-

деть, что «проклятая» она для них, для русских. Они видели, и многие испытали на себе, весь ужас немецкого рабства, но не могли не видеть, как живет немецкий народ и другие народы Европы. Разве снилось когда-нибудь нашему колхознику в годы мира такая жизнь, какую имел немецкий крестьянин во время войны и накануне поражения Германии? Разве мог мечтать наш рабочий о таких условиях жизни, в каких жил европейский рабочий даже под игом национал-социализма на четвертом-пятом году войны? Ложь большевизма, обнаружившись так наглядно, оттолкнула их от него навсегда. Но они не могли пристать и к другому берегу просто потому, что для них его не было.

Привезенные в Европу, они оказались в положении классически безвыходном. Для них были непримиримыми врагами и немцы и большевики. Но что можно было делать? Бороться и против тех и против других было не только трудно, но и невозможно — это было уделом немногих. Каждый акт саботажа, будь то на немецкой фабрике или на транспорте, символически хотя бы, помогал большевизму. Борьба против Красной Армии, во-первых, била бы не в цель — в ней были такие же русские люди, обманутые большевизмом, а, во-вторых, помогала бы немцам. В раздвоенном мире рассудка и чувств жили эти люди годами. Эмоционально, сердцем предвкушали радость от сознания, что скоро русские солдаты пройдут победителями по улицам проклятого Берлина, что пропитанная русскими слезами и кровью немецкая злая земля почувствует, что значит возмездие. Рассудком понимали, что победа, купленная русской кровью, русским талантом и трудом, будет использована большевизмом для еще более жестокого закрепощения русского народа.

Радовались каждому сообщению с фронта о немецких поражениях и неудачах, но не могли не видеть, как в освобожденных Красной Армией городах и селах растут леса виселиц для ни в чем неповинных рабочих и крестьян, как снова намертво завинчивается пресс коммунистической диктатуры.

Эти люди представляли собой благодарную аудиторию для русской национально-политической пропаганды. Помимо своей воли вовлеченные в водоворот происходивших событий, вырванные чужой рукой из мира обывателя, всегда и всюду тормозящего политическую активность, они самой судьбой принуждены были искать выхода из создавшегося тупика в каких-то общих больших решениях. Среди этих людей не нужно было заниматься антинемецкой пропагандой — это делала на каждом шагу сама жизнь. Еще меньше они нуждались в пропаганде антикоммунистической — у них за

спиной было 20 лет жизни под советским гнетом. И каждый из них автоматически, только за то, что он остался с этой стороны фронта, а не ушел с Красной Армией или в партизаны, — с точки зрения советского «правосудия», уже был государственным преступником. Третья Сила была для них само собой разумеющимся и единственно возможным и приемлемым выходом. Нам оставалось только сформулировать эти мысли в отчетливые формулы лозунгов и сделать их достоянием миллионов людей. Для этой работы часть наших групп, готовых к очередным отправкам на родину, пришлось задержать в Берлине. Постепенно собралось там около двухсот человек.

Техника работы не всегда представляла возможным открывать лицо организации. Вовлекать в ее ряды и оформлять принадлежность к ней было иногда трудно, потому что народа было очень много и проверить и узнать каждого было просто невозможно. Тогда сами собой выработались методы работы — вовлекать людей только в сферу нашего влияния, наших идейных установок и, до поры до времени, не открывать им наличия организации.

Мне вспоминается разговор с одним из друзей, в качестве переводчика имеющего возможность общения с рабочими двух лагерей.

— Ты знаешь, в каждом лагере есть уже по нескольку десятков хороших, верных наших друзей. Один из них, не мною привлеченный, недавно пытался даже распропагандировать меня.

На мой вопрос: знают ли они сами о том, что являются членами организации, он со смехом ответил: «Что ты, что ты, конечно же нет! Они совсем искренне убеждены, что они первые и что им нужно начинать дело»...

Осторожность в работе с новыми людьми диктовалась еще и наличием в их среде, хотя и редкой, но всё же существующей сети засланных агентов НКВД. Эти распространяли слухи о несуществующих еще тогда победах Красной Армии, о больших реформах и переменах во внутренней советской политике, о «политическом нэпе». Обнаружив признаки национально-политической антикоммунистической работы, эти посланники НКВД, не задумываясь, доносили об этом органам немецкой полиции. Трудно сказать, сколько тысяч антибольшевиков-патриотов удалось уничтожить органам НКВД при помощи немецкого Гестапо. Разговоры о «политическом нэпе» ввели в заблуждение какую-то часть старой эмиграции и большую часть общественного мнения западных союзников. В возможность коренных перемен меньше всего пове-

рила вот эта масса рабочих — она слишком хорошо знала большевизм, чтобы поверить в сладкие сказки о его перерождении.

Несмотря на осторожность, всё-таки · какое-то число из вновь прибывших мы принимали в наши ряды. Создавали из них небольшие группы-«звенья» и быстрыми темпами проходили с ними курсы политической подготовки и революционной борьбы. На частных квартирах, каждый раз на разных, по вечерам, в нерабочие дни — за городом, просто в лесу, где-нибудь недалеко от лагеря, небольшими группами в шесть-восемь человек проводили теоретические и практические занятия. Эта работа была блестяще налажена руководителем наших кадров в Берлине и его ближайших окрестностях, погибшим потом в 1944 году в концлагере Заксенхаузене, молодым врачом Николаем Сергеевым.

В качестве врача он имел возможность, не вызывая подозрения, принимать у себя десятки посетителей ежедневно и навещать больных в разных частях Берлина. Сотни людей, главным образом из «остов», где бы они сейчас ни находились, вспоминают добрым словом «доктора Николая», у которого всегда можно было получить и хлебные карточки, и моральную поддержку, и одежду, и нужную литературу .

*

Революционная борьба против диктатур, всё равно — против сталинской или гитлеровской, трудна не потому, что их тайные полиции, — НКВД и Гестапо, — как-то особенно искусны и проницательны. Сила тоталитарной полиции заключается в том, что она действует по своим особым принципам, основанным на полном пренебрежении законностью и гражданскими правами отдельных лиц. Апеллировать на незаконность ареста в СССР или гитлеровской Германии было бы равносильно тому, что попросить Сталина, или в то время Гитлера, уступить свое место кому-нибудь другому. Фашизм, независимо от того, коричневый ли он, гитлеровский, или красный, сталинский, — это господство одной политической партии в стране. Все вожди фашизма, независимо от их цвета, первым делом после прихода к власти громят все политические партии, оставляя единственную, свою собственную, которая, прикрываясь потом именем народа, и творит свои преступления.

Для политических противников сразу же создаются концентрационные лагери, где в невыносимо тяжелых условиях они и гибнут без надежды на освобождение. После ликвидации политических противников лагери заполняются подозре-

ваемыми в сопротивлении и, наконец, противниками «потенциальными» — возможными, «будущими» врагами власти.

Тоталитарные режимы, подавляя личность во всех областях ее творчества, в какой-то мере притупляют, вероятно, и полицейские таланты. И сила тоталитарной полиции заключается не в полицейских талантах, а совсем в другом. Если нужно найти в чем-то виновного или подозреваемого, она арестовывает десятки и сотни заведомо невинных людей, в надежде, что среди них окажется и искомый. Эти сотни, путем допросов, с применением средств, которые покажутся невероятными для гражданина западных демократий, просеиваются. Виновный, в конце концов, находится, а если не находится, то арестовываются новые сотни. В этом и весь секрет тоталитарных полицейских сил.

Разговоры о всезнающей и всеведущей гитлеровской тайной полиции в очень малой степени отвечают действительности. Она была всесильной, но не всезнающей, всемогущей, но не всевидящей. Чтобы убивать миллионы людей по расовому или национальному признакам не нужно ни талантов, ни способностей. Для этого нужно только иметь руководителям и исполнителям особого склада духовный мир. Особым складом души наци обладали в полной мере. Но там, где нужна была интуиция, знание человеческой психологии, они часто оказывались безоружными. Рассказы о всевидящем оке Гестапо раздуваются сейчас людьми в оправдание своей бездеятельности в борьбе против Гитлера. Все же те, кто хотел бороться и не боялся опасности, боролись иногда очень успешно. Движения сопротивления были созданы почти во всех порабощенных странах, почти во всех странах-сателлитах и достигали иногда исключительно больших масштабов. Так, антинемецкая организация, созданная Дражей Михайловичем в Югославии, охватывала около 200 тысяч человек. Штабу польского повстанческого движения удалось создать не только заговор, не только подпольную армию, а целое подпольное государство со всеми его функциями. Восстание в Варшаве навсегда войдет в историю подпольной борьбы, как непревзойденный пример.

Движения сопротивления зарождались и росли в бесчеловечно жестоких условиях немецкой оккупации, с системой заложников, с расстрелами в соотношении 100:1, т. е. за одного убитого немцами уничтожалось сто, а иногда и больше, ни в чем не повинных граждан оккупированной страны. За мелкий акт сопротивления или саботажа сметались с лица земли целые села вместе с сотнями жителей без различия пола и возраста, превращались в развалины города и в пустыни целые области.

Не лишним будет заметить, что коммунистические партии Европы не выделили ни одного имени общеизвестного значения. Единственный человек — это Тито, да и тот боролся больше против национальных югославских освободительных сил, чем против немцев, и пришел к власти только благодаря штыкам Красной Армии. Всюду в других местах коммунизм паразитировал на национальных освободительных движениях, а, где возможно, он, расчищая путь к власти, уничтожал героев и организаторов этой борьбы .

Европа боролась. Не боролась только Германия, потому что тогда противников Гитлера было не так много, как сейчас. Впрочем, сейчас их уже значительно меньше, чем было сразу после окончания войны. Десятки героев, убитых Гестапо после 20 июля, и единицы идеалистов, погибших перед этим, после поражения Германии выросли в «немецкое движение сопротивления», в котором, если поверить немецкой печати в первые месяцы после войны, принимали участие, по меньшей мере десятки тысяч человек.

Европа боролась. Боролась не только в оккупированных странах, не только в провинции самой Германии, но и в Берлине. В столице скрывались сотни нелегально живущих людей — это были, конечно, иностранцы, бежавшие из лагерей рабочие, главным образом, русские, бежавшие военнопленные и люди, просто скрывающиеся от преследований немецкой полиции за те или иные, не всегда, впрочем, политические грехи.

Когда в ноябре 1943 года начались большие и частые бомбардировки Берлина, когда огромный город стал превращаться в развалины — число скрывающихся в нем исчислялось, вероятно, многими тысячами. В один из налетов, когда сгорело отделение полиции для иностранцев на Бургштрассе, где погибли все картотеки и досье, немцы окончательно потеряли контроль над иностранным миром. Нам приходилось встречаться с десятками людей, большими компаниями живущих в развалинах и подвалах сгоревших домов, оставшихся там необнаруженными до самого конца войны.

Наша учеба в звеньях, составленных из молодых членов, была сравнительно безобидным занятием. Читателю, не знакомому с обстановкой в осажденной со всех сторон Германии, трудно будет представить, что в немецком подполье, в самом центре империи, в Берлине, нами устраивались большие собрания, созывались многочисленные съезды, почти непрерывно работала подпольная типография, изготовляющая антинемецкую литературу. Многие десятки членов организации, то уезжая, то возвращаясь в Берлин, прожили в нем не-

легально годы войны. В этом же берлинском подполье было спасено много человеческих жизней из привезенных на каторгу русских людей. Из этого же подполья тянулись нити большой пропагандной работы, ведущейся на территории самой Германии, так же точно и на территории оккупированных ею стран, прежде всего, России.

Часть русских людей, вывезенных на работу, не могла быть охвачена ни нашей пропагандой, ни работой безвестных одиночек, на свой страх и риск готовивших соотечественников к мысли о создании Третьей Силы. Не во все лагеря рабочих можно было найти доступ, да не хватило бы для этого и достаточно подготовленных кадров. Среди тех, до кого не доходили слова утешения, кто не слышал призывов к бодрости, до кого не доходили сведения о росте антикоммунистических национальных сил, было много людей, переживавших тяжелые дни безысходности. Они не видели выхода из создавшегося тупика и нередко уже здесь, в Германии, становились более лояльными подданными советского правительства, чем были двадцать лет у себя на родине. С одним из таких людей я встретился у своих знакомых.

Инженер-строитель. Долгое время работал на новостройках в Малой Азии. В Германию приехал добровольно и сейчас переживал тяжелую внутреннюю драму. Он был дальним родственником моих знакомых, и поэтому разговор был более откровенным, чем это бывает при первой встрече.

— Я принципиально не верил ни одному слову советской пропаганды, особенно, когда она твердила о жизни в капиталистическом окружении, — говорит он. — Не верил. А сейчас вижу, что она была права. Этот капиталистический мир — это, ведь, действительно царство зверя...

Он рассказал о случае, слышанном мной незадолго перед этим где-то в другом месте — как у них в большом лагере, на окраине Берлина, закопали живого человека в землю.

— Согнали нас на фабричный двор... Мальчонка, лет 18-ти, украл что-то из продуктового склада... Этого нельзя рассказать. На человеческом языке нет слов, чтобы передать эту картину. Вырыли яму, связанного бросили его туда живым и забросали землей... Поверьте мне, я два раза сидел в советском концлагере, видел тысячи людей, сидевших дольше, чем я, но я никогда не только не видел, но и не слышал ничего подобного...

— Слушайте, слушайте, — перебиваю я, — но ведь Германия, это не капиталистический мир. Ведь это то же самое,

кое в чем даже хуже, чем большевизм. Вот в Англии, Америке...

— Ну, что там в Америке... Мы и о Германии думали, что...

В порядке отталкивания от «капитализма», представленного для них нацистской Германией, такие люди становились большевиками. Особенно тяжело и обидно было наблюдать это у активных и непримиримых раньше врагов советской власти...

Глава II

В поисках „Сидорчука“

Наша лаборатория все меняет и меняет свой состав. В последнее время все больше прибывает людей интеллигентных. Непримиримость их к коммунизму часто носит характер уже не только бытовой, но и принципиальный и идеологический. Воинские звания и титулы вновь прибывающих уже на несколько категорий выше, чем у бывших заключенных первых месяцев войны. Василий Иванович, то и дело, приходит по утрам с новостями — «майор приехал»... «профессора доставили»... «писателя привезли»... Однажды утром он пришел более возбужденным, чем когда-либо. Здороваясь, я стараюсь подражать ему и, понизив голос до шепота, говорю:

— Полковник прибыл...

— Берите выше, Александр Степанович.

— Да что вы?

— Ге-не-ра-а-л! — скандирует он, приподнимаясь на цыпочки и неуклюже прикладывая руку к козырьку. — Генерал прибыл вчера вечером.

Любопытству моему нет предела: генерал — это уже персона. Целый день, о чем бы мы ни говорили, разговор возвращается к новому нашему гостю. Меня интересует всё, — чем он командовал, сколько ему лет, когда он попал в плен, и вообще всё, что о нем можно узнать. Вновь прибывшего, как на зло, увезли с раннего утра и он не возвращается до вечера. Когда после обеда Василий Иванович сообщил, что генерал не только генерал, а оказывается еще и политический комиссар, то от нетерпения с ним познакомиться я уже не мог сидеть на месте.

Генерал, первый советский генерал, которого я сейчас увижу. Уж, не Сидорчук ли? — мелькает у меня в голове.

В своих мечтах о возвращении на родину эмиграция делилась во взглядах — вследствии чего это может произойти.

Левое крыло, представленное социалистическими партиями, возглавление которых оказалось почти без исключения заграницей, склонно было надеяться на эволюцию советского строя. Оно рассчитывало, что Сталин на тормозах сведет страну к демократии. Эта точка зрения была очень распространена и заграницей, особенно в годы войны, после перестройки советской пропаганды на ура-патриотический лад. Эта перестройка очень скоро оказалась тактическим маневром, предпринятым властью для того, чтоб спасти от развала советский строй. Мечты о переменах к лучшему, о «послаблении» были и внутри страны так жгучи, что удалось обмануть не только заграницу, но и большую часть русского народа.

Другая часть эмиграции надеялась на российского Бонапарта. Его старались увидеть в каждом новом генерале, появляющемся на советском горизонте. Долгое время фаворитом был Тухачевский. Эта надежда была, вероятно, единственной, имеющей под собой реальные основания. С гибелью Тухачевского эмигрантские надежды переносились на маршала Блюхера, потом на маршала Егорова, потом даже на Тимошенко. Чувство юмора изменяло людям настолько, что одно время серьезно старались распознать российского Наполеона даже в Ворошилове.

Мы, лучше многих знавшие дух советской диктатуры, категорически отвергали возможность эволюции. Формулу одного из вождей Белого Движения, генерала Врангеля, мы считали неизменно верной, — «советский строй может гнить, но не может эволюционировать». Второй вариант — появление русского Бонапарта — принципиально не отвергали, но, хорошо изучив сталинское окружение, принцип, по которому оно подбиралось, не находили в нем даже карикатуры на Бонапарта, не говоря о нем самом. Мы считали, что если переворот произведет армия, а кроме нее произвести его никто и не мог бы, то инициатором и руководителем может быть кто-то из неизвестных еще нам фигур командиров дивизий, корпусов или армий. Условно мы назвали его — «комкор Сидорчук». К встрече с этим Сидорчуком, в надежде оказаться ему нужными и полезными, мы, собственно, и готовились больше десяти лет. С трудом верилось, что в мирное время, в условиях советского террора и сыска возможен крупный заговор, способный потом перерасти в народное освободительное движение, хотя уклад военной жизни, скопление больших воинских соединений в одном месте облегчали, казалось бы, задачу и тем самым не исключали

возможность переворота. Другое дело было во время войны. Авторитет армии и ее генералов поднимался в глазах народа. Мы надеялись, что и военное руководство будет более независимым и решительным в своих действиях. Поэтому понятно, что к каждой крупной военной фигуре, в силу тех или иных обстоятельств оказавшейся с этой стороны фронта, мы присматривались с особым интересом. До сих пор все это не оправдывало ожиданий и не подавало надежд.

Появление первого советского генерала вполне естественно вызвало с моей стороны большой интерес.

Сведения оказались не совсем точными — Георгий Николаевич Жиленков, впоследствии один из организаторов и руководителей Русского Освободительного Движения, генералом и вообще военным никогда не был. Он был секретарем Ростокинского райкома партии в Москве. В районе его было около 400 тысяч жителей и приблизительно 18 тысяч членов коммунистической партии. При небольшой насыщенности беспартийного населения членами партии большевиков, пост, занимаемый им, был очень крупным и ответственным в административном советском аппарате. Секретари райкомов, более или менее, полновластные и почти бесконтрольные руководители отдельных, иногда очень больших, территориальных и административных единиц. Секретари райкомов — это костяк руководящего состава коммунистического партийного и государственного советского аппарата. А секретарь райкома в Москве — это уже почти правительство. Не то правительство, которое подписывает официальные указы и распоряжения, не наркомы, или, как их теперь называют, министры, снимаемые с занимаемых должностей, как домашняя прислуга, по телефонному звонку, а то, настоящее, которое всем руководит, всё знает и берет на себя ответственность за решения — партийная верхушка.

В недавно сформированную 24-ую ударную советскую армию Жиленков был командирован, как Член Военного Совета, с правом в случае нужды заменить командующего армией. В те дни, когда армия была взята немцами в кольцо и пыталась выйти из окружения, Жиленков командующим ею и оказался. После того, как с остатками ликвидированной армии он попал к немцам в плен и было обнаружено впоследствии, кто он, его, как командующего армией, немцы записали генерал-лейтенантом. Так он им и остался до самого конца.

Появление его с этой стороны было не банальным. Когда без всякой надежды на выход из окружения сдавались в плен последние остатки армии, ему удалось затеряться в солдатской массе. В качестве простого солдата он и был

взят. Набор во вспомогательные части немецкой армии из советских военнопленных был в то время уже очень распространенным явлением. Как доброволец попал в такую часть и он. Восемь месяцев шофером грузовика он ездил в немецкой транспортной колонне. В октябре 1941 года был под Москвой, на фронт возил боеприпасы и раненых с фронта. За всё это время имел десятки раз возможность быстро и без всякого риска перейти обратно. Когда немцы разбитыми и обмороженными в панике бежали от Москвы, он вместе со своей колонной делил общую участь. Кстати, забегу немного вперед. От Москвы немцы откатывались под ударами частей Красной Армии, которыми командовал и генерал Власов, позднее возглавитель и организатор Освободительного Движения, давший ему и свое имя.

Вскоре Жиленков был опознан. Его указал кто-то из солдат штаба его армии. Он был арестован и самолетом доставлен в Берлин.

Позднее, когда он был уже на свободе, я узнал его ближе. Для меня всегда были непонятными причины, побудившие его вести себя так, как он вел себя первые восемь месяцев с этой стороны фронта. Почему он не бежал обратно, столько раз имея возможность для этого, он позднее, в разговоре, объяснял мне так:

— Вы, кажется, не плохо знаете советскую жизнь, но есть в ней что-то, что можно понять только пожив там... Критика советского строя, — я сужу по здешним книгам, газетам и журналам, — начинается обыкновенно с того, что говорят о тяжелом материальном положении, до которого советское правительство довело народ. Это верно, но не это самое главное... Другие находят, что тяжелее материальной нужды — неуверенность в завтрашнем дне, психологический гнет. Это уже ближе к истине, но и это еще не то. Психологический гнет заключается не в постоянном страхе, не в невозможности самостоятельно жить даже в своем внутреннем мире, а совсем в другом. Если вы член партии и не просто член партии, а какой-нибудь руководитель, вы должны быть всё время в состоянии энтузиазма, в состоянии восторга, в состоянии непоколебимой веры и в вождя, и в каждое его указание. Если вы только согласны со всем этим — этого мало, этого недостаточно. Вы должны гореть. Можете представить мое положение секретаря райкома. В неделю я обычно три, иногда четыре раза выступаю на митингах, собраниях и заседаниях. Это значит, что я должен три-четыре раза в неделю быть горящим факелом для других. Это трудно, если вы действительно верите, это невыносимо физически, если у вас веры ни на грош нет. Вы хотите спросить —

так что же, все верят? — Нет, не все. Верят немногие, почти никто. Но все умеют лгать. И знаете, лгать не только словами, не только глазами, а жестами, походкой, манерой разговаривать — всё это должно быть искуснейшей ложью. Если она будет слишком грубой и заметной, вы враг... Она бывает иногда непереносимой, но уйти от нее нельзя... Член партии не может сам выйти из партии. Его могут выкинуть, но последствие — быть прокаженным на всю жизнь, ждать ареста в первую голову, при первой же новой чистке. На той ступени партийной лестницы, где стоял я, нет и этой возможности. С этой ступени только два пути — или вперед на следующую, или в могилу. Уж, если оттуда выкинут, из партии, то шанс остаться в живых очень незначителен... Вот, здесь я слышал от вас, что нацизм называют сытым большевизмом... Это неверно. Здесь вы можете стоять в стороне. Исполняйте то, что вам прикажут, держите язык за зубами и вас, в общем, никто не тронет. А там — нет. Там старое правило — «кто не с нами, тот против нас» остается до сих пор в силе. А быть с «нами» в моем положении это значит всё время рваться вперед, все время пылать, или все время лгать. И днем и ночью, где бы вы ни были, вы должны следить за собой. С этим сживаешься. Можно думать, можно разговаривать с другими, смеяться, но в подсознании у вас всё время живет это чувство — нужно лгать. И это стоит такого нервного напряжения, что люди изнашиваются, стареют гораздо быстрее, чем где-нибудь. Вы знаете, это звучит дико, но здесь в плену, в подневольном труде, в чуждом, враждебном мире, у врагов, я в первый раз в жизни почувствовал себя свободным человеком. Можете вы это представить? Я — один из руководителей партии, в недалеком будущем, может быть, кандидат, а потом член Центрального Комитета, высшего управительного органа страны! Что же чувствовали простые солдаты и офицеры, попавшие в плен со мной?.. Мне не нужно гадать и распрашивать об этом очевидцев — я видел все своими глазами. Видел и не мог не сделать выводов... По прошествии первых дней мне прошлое стало казаться каким-то кошмаром, тяжелым наркозом, под которым я был несколько лет. Если бы даже можно было, я просто не мог бы вернуться в состояние того угара, в котором прошли годы жизни...

О том, что перед ним была открыта дорога к большой партийной карьере, я, раньше, чем от него, слышал и от других москвичей-партийцев, знавших его издалека, но слышавших о нем очень много. Для крупной партийной карьеры у него было и особое качество, за которое дорого заплатили бы многие советские вельможи — Жиленков был человеком

«без прошлого», без всяких компрометирующих родственных связей, часто являющихся балластом для продвижения вверх по партийной лестнице — он вышел из беспризорных. Но это было не всё. Глядя на его совершенно исключительную работоспособность, наблюдая недюжинный ум, можно было понять и представить — на каких людях держится административно-советский строй, какие люди не дают потонуть ему в мире противоречивых и иногда, казалось бы, несовместимых друг с другом, хозяйственных и организационных вопросов.

Происхождения он был, вероятно, не очень «простого», то есть, едва ли, из рабочей или крестьянской семьи. И черты лица, и руки, и манера держать себя и что-то еще, трудно уловимое, — всё это говорило о многих поколениях предков, не в поте лица добывавших свой хлеб...

— Георгий Николаевич, и это единственная причина, помешавшая вам вернуться обратно? — спрашиваю я.

— Нет. Была еще одна.

— Какая же?

— Скитания по лесу, с простыми солдатами, крестьянами и рабочими открыли мне глаза на отношение их, а значит, и всего народа, к советской власти и к советскому строю. Вам, вероятно, трудно будет представить, что в бытность там, в Москве, я никогда и предположить не мог, что партия, одним из руководителей которой долгие годы был и я, так глубоко погрязла в преступлениях и что она так ненавистна народу. В Москве — знаешь только о Москве, да и то не обо всей, а только о той, которая вокруг вас.

— И это всё? — донимаю его я.

— И еще не всё. Была еще одна причина, менее принципиального порядка. Возвращаться нельзя было, то есть можно было, но не хотелось до конца своей жизни догнивать где-нибудь на Колыме с клеймом предателя и врага народа, а для этого достаточно побыть на этой стороне только два часа! Я не чувствовал за собой никакой вины, которую нужно было бы искупать. Наоборот, мною было сделано всё, чтобы избежать этой катастрофы. Но всё это уж не так важно...

— Что же важнее этого?

— Важнее всего — все свои силы отдать действительно своему народу, а не партии, которую я столько лет отождествлял с народом.

Жиленков недолго задержался у нас.

Командующий средним участком восточного фронта, фельдмаршал Клюге, решил организовать, как потом оказалось, на собственный страх и риск, крупное соединение из

добровольцев-военнопленных. Отбор людей и формирование первой бригады было предложено Жиленкову. Летом 1942 года он уехал с этой целью в Смоленск. Командиром бригады, принимавшем участие в формировании, был назначен полковник Владимир Боярский, в недалеком прошлом командир советской дивизии, тяжело раненым взятый немцами в плен.

Небывалое до сих пор создание крупной воинской части было понято и солдатами и офицерами формирующейся бригады, как начало исполнения общерусских желаний и надежд. Считалось, что бригада — это только первая по счету, что за ней будут формироваться десятки других и, таким образом будет создана русская армия. Устав, форма были приняты свои, русские, что было особенно существенно, так как создаваемые с осени 1941 года батальоны носили немецкую форму. Немцев рассматривали, как союзников, если они будут благоразумны, и возможных врагов в будущем, если благоразумие им изменит. Впрочем, уже самый факт формирования говорил о том, что возврата к розенберговской восточной политике, по-видимому, не будет.

Бригада была сформирована, вооружена и обучена в предельно короткий срок. После парада только что сформированной части командующий фронтом отдал приказ о включении ее в состав немецких соединений, указав определенный участок на линии фронта, который она должна была занять. Это было обманом со стороны фельдмаршала Клюге, на который Жиленков и Боярский реагировали самым решительным образом. В штаб фронта был послан ответ с изложением точки зрения командования и всего состава бригады — «...бригада является частью будущей русской армии и действовать будет только в ее составе. Состав бригады считает, что она создана для осуществления русских целей освобождения России от большевизма и свои отношения к немецкой армии рассматривает, как союзные»...

В штабе фронта это заявление произвело впечатление разорвавшейся бомбы. В бригаду был отправлен офицер штаба с предупреждением, что если командование бригады не исполнит приказа командующего фронтом, то бригада будет разоружена, а командный состав предан военно-полевому суду.

Полковник Боярский во время разговора с делегатом штаба, нарисовал план расположения немецких воинских частей в этом районе и стрелками показал, где и как он предполагает обороняться и где атаковать, в случае нападения со стороны немцев.

Скандал перерастал всё имевшее до сих пор место. Бригаду оставили в покое. Вопреки настоянию фельдмаршала Клюге расстрелять бунтовщиков, Жиленкову и Боярскому были даны гарантии неприкосновенности и они были вызваны в Главную Ставку для переговоров. Некоторая уступчивость и мягкость немцев в данном случае объяснялись отчасти и тем, что хорошо вооруженная, прекрасно укомплектованная русская часть стояла в тридцати километрах от фронта. Завязавшийся с ней бой мог отразиться на целом участке неожиданными последствиями.

Но и у русских было положение безвыходное. Что делать? Куда итти? Уходить к большевикам — это значит поголовная смерть, да и не за тем люди оказались с этой стороны фронта. Начать военные действия против немцев — никаких шансов продержаться хотя бы неделю. Немцы проявили выдержку. Договорились, что бригада не выступит на фронт, как немецкая часть, а будет расформирована на батальоны, которые сохранят русскую форму и русских офицеров и в таком состоянии будут ждать, когда вопрос с формированием русской армии решится в общих масштабах.

Недоверие немцев было вполне обоснованным. При самом маленьком накоплении русских антибольшевистских сил, как правило, начинались сразу же трения, нередко переходившие в открытые столкновения с немцами. Это было только логично — немцы рассматривали эти силы только с точки зрения использования их в своих интересах, русские же хотели служить интересам только русского народа и, прежде всего, делу освобождения его от большевизма. Но, конечно, не с тем, чтобы место сталинских сатрапов было занято гитлеровскими гауляйтерами.

Удар был жестоким, разочарование беспредельным. Когда бригада была расформирована и батальоны разведены по разным местам, было приказано сменить русское командование каждого из них на немецкое, заменить русскую форму формой вспомогательных частей и превратиться, по существу, в такие же батальоны вспомогательных войск, какие формировались немцами и раньше. Офицеры и солдаты батальонов протестовали круто и решительно. Кончилось дело тем, что батальоны почти все по очереди, перебив вновь назначенных командиров-немцев, ушли в лес. Часть их там попала в руки большевиков, часть пополнила число партизан Третьей Силы.

После этого немцами была сделана еще только одна попытка. Летом 1943 года была сформирована бригада Гиля. На этот раз результат был еще печальнее. Бригада ушла в лес лишь частично; большая часть ушла просто на ту сторо-

ну к большевикам во главе с командиром Гилем. Ответственность за исход этой попытки несло СС, так как оно было инициатором и контрагентом в переговорах.

Гиль, вернувшись в Москву, получил орден и благодарность «за выполнение особых заданий партии и правительства».

После этого немцы не решались на формирование русских частей крупнее батальона почти до самого конца войны.

Фельдмаршал Клюге был очень разочарован и огорчен своим неудачным опытом. Потом, будучи переведенным во Францию, он, говорят, не переставал требовать ареста и расстрела Жиленкова и Боярского. Что его желание не было удовлетворено, показывает, что и наверху были какие-то силы, которые не хотели отталкивать в стан открытых врагов русский антибольшевизм...

*

После отъезда Жиленкова Василий Иванович еще много раз приходил по утрам с сенсационными новостями. Приезжали и генералы, и ученые, имена которых были известны не только в Советском Союзе, партийные работники, крупные и помельче, писатели и артисты, о которых я слышал еще задолго до войны. В поисках Сидорчука меня больше всего интересовали генералы. Но Бонапарта среди них не было. Василий Иванович был в курсе всех приездов и отъездов почему-то раньше, чем кто-либо другой в нашей лаборатории. Но самое крупное событие в нашей тогдашней жизни он как-то просмотрел.

Однажды, это было в конце ноября 1942 года, я был один в своей комнате и собирался уже уходить. Вдруг, короткий стук и за ним сразу же открывается дверь. В комнату входит незнакомец высокого роста, сухой, с типично военной прической бобриком. Он как-то заполняет всё свободное пространство комнаты сразу. Из-за его спины появляется наш профессор. Театральным жестом показывая в мою сторону, говорит:

— А вот это наш эмигрант, о котором мы вам говорили, тоже военнопленный, взят в берлинском окружении.

Незнакомец, широко улыбаясь, со словами — «Очень приятно, познакомимся», протягивает мне руку.

Мне кажется, что я до сих пор чувствую крепкое рукопожатие и глубоким басом названную им свою фамилию — Власов.

После первого знакомства я вижусь и разговариваю с ним подолгу каждый день.

При очередной встрече со Старшим я рассказываю ему о новом знакомом:

— Знаешь, мне кажется, что человек, которого мы ждали, появился.

— Сидорчук? — спрашивает он с интересом.

— Не совсем, да сейчас и конъюнктура другая. Наш Сидорчук должен был за эти годы много передумать и очень вырасти. Сейчас задача, стоящая перед нами, гораздо сложнее, чем была тогда, когда мы его выдумали. Мне кажется, что человек, о котором я тебе говорил, смог бы ее разрешить.

Глава III

Андрей Андреевич Власов

Советская пропаганда сделала всё от нее зависящее, чтобы дискредитировать европейский антикоммунизм. Самоотверженные борцы против Гитлера, как Драже Михайлович, Никола Петков, генерал Бор-Комаровский и миллионы других именовались ею не иначе, как фашистами, даже гитлеровцами, поскольку они не являлись одновременно борцами и за коммунизм. Но если советская пропаганда так старалась дискредитировать антикоммунистические силы Европы, то нетрудно представить, что было ею предпринято, чтобы дискредитировать русский антибольшевизм. В этом она добилась самых больших успехов: западными союзниками было отказано русскому антибольшевизму в праве на существование как во время войны, так и после нее.

Для русского народа советским правительством был применен традиционно-советский способ — гробовое молчание. В движении, возглавляемом позднее Власовым, в той или иной степени, принимало участие более 10-ти миллионов человек — советская пропаганда и советское правительство ни во время войны, ни после нее не проронили об этом движении ни слова.

Западным союзникам, не связанным обетом молчания, не без успеха было внушено некоторое количество совершенно бессмысленных небылиц, которые потом, в разное время и в разных местах, и появлялись в западной печати. В американских, английских, французских газетах мы читали еще во время войны редкие заметки о том, что Власов был старым царским генералом, эмигрировавшим после гражданской войны в 1920 году из России, наиболее педантичные корреспонденты добавляли к этому, что он был, кроме того, еще и

«казачьим генералом», но все поголовно сходились на одном — «Власов и его армия дрались против России на стороне немцев». Во всем этом нет ни слова правды, но самая большая ложь заключена в последних словах.

Власов был одним из крупнейших и выдающихся генералов Красной Армии. Его заслуги были отмечены советским правительством целым рядом орденов и быстрым продвижением по военной иерархической лестнице. За несколько лет перед войной он, как крупный военный специалист, был послан с миссией комбрига Черепанова советником к маршалу Чан Кай-ши в Китай. Не исключена возможность, что его встречи там с представителями иного, не-советского мира, — там были представители и Англии и Америки — впоследствии имели некоторое влияние на его решение выступить против сталинской диктатуры. Он олицетворял оппозиционные круги высшего офицерства и какую-то часть верхушки партии. В его непримиримости к коммунизму также чувствовалась органическая непримиримость и главного врага коммунизма — крестьянства. Власов был сыном простого крестьянина с Волги.

По возвращении из Китая, он командовал знаменитой 99 дивизией, на испытаниях 1939 года признанной лучшей по подготовке во всей Красной Армии. Советская пропаганда по этому поводу сделала его имя известным не только в армии, но и в широких кругах народа. Его статьи и портреты часто появлялись и в органе армии «Красная звезда», и в специальных военных журналах.

К началу войны Власов командовал 4-ым танковым корпусом, стоявшим во Львове. Направление отступления корпуса было единственным в первые дни войны, где продвижение гитлеровских дивизий было не столь стремительным.

Позднее он был командующим киевского участка фронта, а потом и защитником города. После ряда атак, немцы, отчаявшись взять Киев, обошли его, оставив глубоко в тылу. По приказу Сталина отходить, Власов, с остатками киевского гарнизона, с тяжелыми боями вырвался из немецкого окружения и вышел к своим.

Когда в октябре 1941 года передовые немецкие части докатились до окраин Москвы, когда Гитлером уже была проведена подготовка для захвата столицы, защита ее была поручена наряду с другими генералами лично Сталиным и Власову. Под общим командованием Жукова защита эта переросла в наступление, а потом и в разгром немецких армий на московском направлении.

Признательность советского правительства за первую

одержанную во время войны победу не имела границ. Ордена и звание генерал-лейтенанта были наградой Власову.

Весной 1942 года предпринятое 2-ой ударной советской армией наступление, с целью освобождения Ленинграда, окончилось ничем, и когда армия была окружена немцами, спасать положение был послан Власов. Армию спасти было уже невозможно. К моменту прибытия Власова немцы раскрошили ее на целый ряд небольших частей и уничтожали эти части одну за другой, сжимая кольцо всё теснее и теснее.

Власов решил разделить участь армии. С одним из последних небольших отрядов он и был взят в плен.

Он был не первым советским генералом, попавшим на эту сторону. До этого уже были взяты в плен генералы Понеделин, Кириллов и другие, командующие тоже армиями или крупными соединениями, но он был первым, присоединившимся к народному антикоммунистическому движению. Скитания по лесам с остатками разбитой армии, обреченной на гибель бездарным руководством из Кремля, сиденье в лагере военнопленных в самой России — лагерь находился в Виннице, — среди простых солдат, крестьян и рабочих, разговоры, ведущиеся между высшим командным составом еще до разгрома заговора Тухачевского, тяжелые воспоминания о трагедии крестьянства в годы коллективизации, — с семьей он поддерживал самую близкую связь, — всё это помогло решиться ему встать на борьбу против большевизма. Но можно быть уверенным только в одном — решение выступить активно он не принес с той стороны фронта. Там он был не более и не менее лояльным, чем большинство советских генералов и маршалов. Только оказавшись здесь, он был увлечен стремлением многомиллионных масс и без колебаний встал в первый ряд общенародного движения.

В апреле 1943 года Власов, по приглашению командующего северным участком восточного фронта, посетил Прибалтику и города ленинградского района. В Пскове, в Гатчине и ряде других мест, на многотысячных митингах он выступил с жесточайшей критикой немецкой восточной политики, выразив при этом уверенность, что немцы, в конце концов, поймут, что без участия русского народа они большевизм победить не могут, а русский народ может принять участие в борьбе только на основе независимости и определенных гарантий. Выразил громко то, о чем мечтали, к чему стремились десятки миллионов русских людей, оказавшихся вне террора НКВД.

На митинге в Гатчине, указывая на видневшийся вдали Ленинград, он закончил свою речь словами:

«...Кончится война, мы освободимся от большевизма и тогда, в нашем Ленинграде, которому мы вернем его настоящее историческое имя, мы будем принимать и немцев, как дорогих гостей...»

О его выступлениях полетели обширные доклады в Берлин. Впервые кто-то осмелился громко протестовать против немецкой политики на востоке и впервые кто-то осмелился сказать, что Россия останется Россией, и в ней город Петроград, где немцы могут быть только в качестве гостей, а они считали его уже крепко своей неотъемлемой собственностью.

По телеграмме из Берлина поездка была моментально прервана. В газетах, издающихся в занятых областях России, было запрещено упоминать имя Власова, а в немецкой печати оно не упоминалось и до этого.

По возвращении в Берлин после этого Власов полтора года, до ноября 1944-го, сидел в полузаключении, без права передвижения и с ограниченным правом встреч, под неусыпным наблюдением.

В листовках, предназначенных для «той» стороны, с этой строжайше запрещенных, немцы, время от времени упоминали о нем, как об организаторе русских антибольшевистких сил. Батальоны, сформированные из военнопленных всех национальностей России, рекламировались для Красной Армии, как РОА — Русская Освободительная Армия, и как «власовцы», хотя большая часть этих батальонов (в начале формирование производилось исключительно из представителей нацменьшинств), как правило, о Власове не имела никакого представления. Таким образом, «власовцами» назывались позднее люди, уже осенью 1941 года вступившие в немецкие вспомогательные части, в то время, как сам Власов был еще с той стороны и защищал Москву, одержав первую победу над немцами.

*

Власов не был политическим вождем в общепринятом значении этого слова. Антикоммунистическое движение родилось, психологически окрепло, идейно выкристализовывалось еще до появления Власова с этой стороны фронта. Движение нужно было только возглавить, дать имя, в котором, как в фокусе, могли бы пересечься надежды и чаяния миллионов людей. Русский мир тосковал по русскому имени и готов был подхватить любое для объединения своих сил. Если б не было Власова, был бы, в конце концов, кто-нибудь другой. У Власова было только то преимущество, что он был известен всем с этой стороны фронта и очень популя-

рен с той. Он был прекрасным солдатом, прославленным военачальником, честным гражданином и патриотом. Большего от него не требовалось.

Русское Освободительное Движение, по своей структуре, по процессу формирования, возвращалось к подлинно русским формам общественно-политической жизни. Вождизм — явление не русское и русскому духу несвойственное. За всю историю России в русской общественно-политической жизни не было единоличных вождей, руководящих, направляющих и олицетворяющих народные и общественные движения. Не было их ни раньше, на заре государственного самосознания, не было и позднее. Были сильные личности, не ставя между ними знака равенства, был Петр Великий, Сперанский, Столыпин и целый ряд других между ними по времени — эти люди проводили большие и благодетельные реформы при помощи небольшого круга своих единомышленников и последователей. Движения же народно-общественного характера строились по другому принципу. Ни одно из них, имеющих большое общественно-политическое значение, нельзя определить и назвать чьим-нибудь одним именем. Начало общественной жизни, в теперешнем понимании этого слова, в России можно отнести к первой половине прошлого века. Под влиянием двух больших культурно-политических течений складывался духовный облик русского человека XIX столетия. Течениями этими были славянофильство и западничество. Оба они, несмотря на диаметральную противоречивость одного к другому, были движениями подлинно русскими и потому ни одно из них не называлось ничьим именем. Была идея и она была превыше всего. Ни одно человеческое имя не могло подменить ее — имена оставались на втором плане и поэтому, как правило, по нескольку равнозначущих в каждом движении. Это не объясняется тенденцией обезличивания людей, борцов и деятелей, а сознательным приоритетом идеи над человеком, ее носителем. Это и было всегда характерным для русской души. Даже такое сугубо заговорщицко-революционное явление, как декабристы, в начале XIX века пытавшиеся перевернуть и перестроить общественно-политический строй, было руководимо несколькими людьми, ни один из которых не претендовал заменить своим именем их общее название. По тем же причинам ни одна политическая партия более позднего времени, до выхода на сцену партии большевиков, не называлась по имени своего лидера. Только то, что осталось в народной памяти, как явление отрицательное, всегда называется именем одного человека, зачинщика, инициатора, организатора. Так народ помнит пугачевщину, аракчеевщину, Степана Разина и Никиту Пу-

стосвята. Советская пропаганда, введя понятие «ленинизм-сталинизм», таким образом, подсознательно действовала по установившейся с веками традиции называть чьим-то именем социальные бедствия или религиозную ересь.

Понятие «вождь», политический вождь, принесено Лениным и потом Сталиным доведено до абсурдного и карикатурного значения. Но как раз выход Ленина на арену общественной жизни и обозначил тот момент, когда русский народ потерял право быть самим собой и превратился в объект жесточайших политических экспериментов.

Русское Освободительное Движение было движением подлинно русским и по духу, и по смыслу, и по форме. Только таким оно и могло быть — выше всего идея и за ней ее служители. Попытки характеризовать его, как движение за идущим впереди вождем — отрыжка советского коммунистического воспитания и известная примитивизация мышления, желание подражать по форме материально более сильному предшественнику и врагу.

Называть Русское Освободительное Движение власовским движением неправильно по существу и безграмотно политически. Это ни чем не умаляет ни значения имени Власова, ни его роли в истории освободительной борьбы. Он не был вождем не потому, что не достоин им быть, а потому, что борьба за возвращение русского народа на его исторические пути, есть борьба, между прочим, и против идеи вождизма, так зло исказившей извечно русское служение идеалам, подменив его служением личности. Не Власов вызвал к жизни русский антибольшевизм, а русский антибольшевизм создал Власова. Сталин будет последним «вождем» в русской общественно-политической жизни, если она вернется к своим истинно русским истокам. Вышибать клин клином рекомендуется в домашнем хозяйстве. В политике это применимо в гораздо меньшей степени — вождя вышибать вождем менее целесообразно политически и, вероятно, невозможно технически.

*

С появлением Власова в нашем заключении для нас, общающихся с ним, стало как-то сразу всё на свои места. И не только у нас, в нашей маленькой лаборатории, но и — мы это чувствовали, — во всем большом антикоммунистическом русском мире. Было ясно, что если будет когда-то, так называемая русская акция, в форме ли создания национального русского правительства, или какого-то другого начинания, во главе его стоять будет только он.

В лагере военнопленных в Виннице, откуда его привезли к нам, Власов написал листовку — обращение к бойцам и командирам Красной Армии. За полной своей подписью он первым, но далеко не последним из советских генералов, заявил в этой листовке о том, что «большевизм — враг русского народа». Я потом видел эту листовку, в ней, в отличие от сделанных немецкой пропагандой, не было призыва переходить на эту сторону или сдаваться в плен. Наоборот, говорилось, что нужно крепко держать в руках оружие и всегда помнить, что самый жестокий и коварный враг русского народа сидит в Кремле. Немцы размножили эту листовку и перебросили на ту сторону, вероятно, в виде исключения и только потому, что имя Власова было очень популярно в Красной Армии.

Переговоры о включении в борьбу против большевизма русских сил, — предполагалось, что их возглавит Власов, — ведомые в Виннице, не привели ни к чему. После его приезда к нам, первое время его очень часто вызывали наверх для каких-то переговоров с приезжими офицерами, кажется, всё это были люди в очень небольших чинах. Потом вызовы эти стали все реже и реже и, наконец, прекратились совсем.

Незадолго до приезда Власова в нашем отделении появился новый человек — капитан немецкой армии Фельд. Человек, который на всех нас произвел самое разное впечатление. Он блестяще говорил по-русски, кажется, так же хорошо по-английски, — в Англии он долгое время жил или очень часто там бывал. В суждениях об организации русских сил и о необходимости перемен в восточной политике он был очень смел и говорил такие слова, которые от человека в форме немецкого офицера услышать было, в равной степени как приятно, так и неожиданно. Как-то раз, — он заходил к нам очень часто, а после приезда Власова и каждый день, — когда познакомились уже ближе, зашел разговор о том, что немцы могут пойти на договор с русскими антибольшевиками, а потом использовать их и обмануть. Кто-то из присутствующих вполголоса уронил: «Ну, что ж, тогда пойдем в партизаны и будем бороться против немцев из лесу, пока не победим». Капитан Фельд посмотрел на говорившего и тихим голосом, но так, что все слышали, произнес: «В таком случае в лесу мы с вами, вероятно, встретимся». Всё это было для нас и новым и необычайным; поэтому и расценивали его одни, как английского агента, другие как тонкого немецкого провокатора, третьи, и таких было большинство, как искреннего и честного помощника, если уж не борца, за наше русское дело. Конечно, последняя характеристика и была наиболее точной. Всё остальное — дань советско-

му воспитанию, краеугольным камнем которого лежит обязательное недоверие ко всем и каждому.

Капитан Фельд был переведен в наше отделение из Ставки, находившейся тогда в Виннице. Там он встречался с Власовым и по его настоянию Власов был переведен в Берлин. Все встречи, для которых Власова вызывали наверх, были организованы им же.

После того как свидания и разговоры кончились ничем, Фельд часто приходил к нам, жаловался на немецкое упрямство и глупость верхов и, время от времени, предлагал писать записки и меморандумы, которые потом за подписью Власова и подавал куда-то наверх, где тоже были люди, по его словам, так же, как и он, относившиеся к этим вопросам.

Эти меморандумы писались в нашей лаборатории и нередко в присутствии большей части нашего коллектива.

Власов ходит из угла в угол по комнате, я сижу за столом за пишущей машинкой, все остальные расположились вокруг, кто на стопке книг, кто на подоконнике, а кто и просто на полу, прислонившись спиной к книжному шкафу.

Диктует только Власов. Все остальные вполголоса комментируют и изредка подают советы.

— Готова стенография? — спрашивает он меня, остановившись около стола.

Я вставляю в машинку лист бумаги, усаживаюсь удобнее и говорю, что готова. Стенографировать было бы излишним, он диктует очень медленно, с большими перерывами произнося слова:

— «Политика Германии в занятых немецкими армиями областях России...»

Кто-то из присутствующих полушопотом говорит:

— Андрей Андревич, немцы эти области называют «освобожденными»...

Власов, не поворачиваясь к сказавшему и не снижая голоса, так же громко спрашивает:

— От чего освобожденные? От хлеба? От кур и гусей? От чего?

— Я думаю, что от всего вместе, — отвечает подавший реплику.

— Ну, то-то. Освобожде-е-н-н-ые-е... — ворчит он, продолжая шагать по комнате. Потом повернувшись ко мне:

— Написал — «в областях России»?

— Написал.

— Давай дальше. Как там было начало?..

Я читаю: «Политика Германии в занятых немецкими армиями областях России...»

Он продолжает:

— «... может быть чревата большими и тяжелыми для Германии последствиями. Население городов и сел, встретившее немцев как освободителей от тяжелого коммунистического рабства, начинает сравнивать установленный немцами режим с самыми худшими годами сталинского террора»...

Он несколько раз молча проходит по комнате, потом спрашивает меня:

— «Сталинского терора» — написал?

— Написал.

— Пошли дальше. «... Подпольная советская пропаганда, не переставая, твердит народу о том, что немцы пришли как завоеватели, чтобы ограбить страну и превратить ее в свою колонию... В мероприятиях немецких властей в занятых областях России русский народ видит подтверждение слов советской пропаганды и начинает...».

Документ этот ничем не отличается от тысяч и тысяч других документов, написанных в те годы русскими людьми и подаваемых во все мыслимые и немыслимые учреждения немецкого государственного аппарата.

Такие меморандумы писались жителями занятых областей, коллективами военнопленных, русскими офицерами «Голубой дивизии»», участниками гражданской войны в Испании на стороне Франко, простыми колхозниками, сельскими учителями, профессорами, писателями, артистами и отправлялись по разным адресам в Берлин.

Такие же заявления, но в других выражениях писались и немцами и подавались в вышестоящие их инстанции. Во всех этих заявлениях, пусть разными словами, говорилось о том, что трагические последствия проводимой немцами политики в России не заставят себя долго ждать, о том, что в русском народе можно приобрести себе верного союзника в борьбе против большевизма, о том, что большевизм может быть ликвидирован в несколько месяцев русскими руками, если такие-то и такие-то меры будут проведены в жизнь. Насчет предлагаемых мер расхождения, как правило, тоже не было, а если и были, то в самых несущественных деталях. Предлагалось, просилось, где-то наверху военного командования, будто бы, даже требовалось, то же самое, что пишем и мы в этом меморандуме:

«Считаю необходимым со стороны Германии декларировать цели ведущейся ею войны, признать независимость и целостность России и неприкосновенность ее границ 1939 года... Дать русским людям возможность создать свое антикоммунистическое национальное правительство и, если ока-

жется нужным, помочь ему материально, очистить Россию от остатков большевизма...».

Люди, хорошо осведомленные в настроениях народа и в его отношениях к кремлевской верхушке, называли и сроки, в течение которых эта чистка могла быть произведена. Сроки были разными, но всегда очень маленькими. Во всяком случае, как показала реакция народа в начале войны, очищение от коммунизма остальной части России могло быть произведено в несколько месяцев. С созданным российским национальным правительством Германии предлагалось заключить мир.

Один из таких меморандумов, присланный из Пскова и подписанный несколькими десятками человек, кончался оригинальнее других:

«Если германское правительство не найдет возможным удовлетворить просьбу русских людей и провести предлагаемые мероприятия (мероприятия были, примерно, теми же, что и в остальных письмах), то мы просим — обманите нас, обманите русский народ, чтобы только он мог покончить с большевизмом». Дальше следовали подписи.

Эти записки, меморандумы, обращения привозились офицерами с фронта, русскими людьми, участниками экскурсий из занятых областей в Германию, и подавались в разные инстанции. Они доходили до каких-то определенных высот и потом или складывались в ящики письменных столов, или, что еще более вероятно, просто выбрасывались в корзины. Были слухи, что некоторые из них доходили и до Гитлера, в частности, по словам Фельда, был на столе у него меморандум, написанный Власовым.

Все эти меморандумы, если не вызывали перемены политики на востоке, то и не пропадали совсем бесследно. Они увеличивали число сторонников радикальных перемен в отношении к России и русскому народу среди немцев, главным образом среди военных, и усиливали их недовольство верхами партии.

Капитан Фельд был одним из таких людей, с той только разницей, что все другие носили недовольство в себе или делились им с близкими людьми, а он выдвигал все новые и новые проекты, чтобы дело сдвинуть с мертвой точки. Из этих попыток наиболее существенной было создание так называемого «Смоленского Манифеста».

Началось это в ноябре 1942-го года. Он пришел однажды после визита «куда-то наверх», где еще раз убедился, что перемен никаких не предвидится и надежды на них в будущем тоже мало.

— Андрей Андреевич, есть еще одна возможность.

— Какая же? — спрашивает Власов.

— Я еще не совсем точно представляю детали, но в основном, мой проект выглядит так: до сих пор мы пытались делать политику и потом, на основании ее, строить пропаганду на ту сторону. Не пробовать ли то же самое в обратном порядке... Мы делаем пропаганду на ту сторону так, как будто политика уже есть. Предположим, что это дает какие-то результаты, на той стороне вызывает какие-то действия, опираясь на эти результаты, мы скорее заставим делать п о л и т и к у здесь. Объясню сейчас детали. На ту сторону мы сообщаем, что создан Русский Комитет, или еще лучше Русское Правительство и от его имени призываем русский народ к борьбе против Сталина. Предположим, что это дает какой-то эффект — с нами хотят связаться, выяснить детали, условия совместной борьбы, будущие взаимоотношения с Германией и т. д. На основании этих результатов, мы требуем уступок здесь. Если это будет известно командованию немецкой армии, то можно не сомневаться в том, что оно поддержит нас более решительно, чем это делало до сих пор. У меня есть основания предполагать и надеяться, что это будет именно так. Акцию мы могли бы начать сейчас же: все, что касается пропаганды на ту сторону, вне контроля партийных и правительственных органов. Она находится всецело в руках армии.

У Власова два возражения: если с этой стороны, и после обозначившихся действий с «той», никаких перемен не последует и там в России поймут, что это был просто обман и пропагандный трюк, то доверие будет потеряно навсегда. Если когда-нибудь в будущем можно будет, на самом деле, обратиться с сообщением о договоре русского антикоммунизма с Германией, то этому уже больше никто не поверит и будет понято тогда, как еще одна попытка обмануть. Второе: если сообщение о том, что русское правительство уже создано, перебросить на ту сторону, то в нем ни в коем случае не может быть призыва к солдатам и офицерам Красной Армии переходить сюда. Такой призыв был бы, без всякого сомнения, истолкован с той стороны, как очередной немецкий фокус.

После долгих переговоров и обсуждений Власов, получив гарантии, что будет сделано так, как находит нужным он, согласился. Фельд уговорил на акцию свое начальство.

Манифест был написан. В программной своей части он мало чем отличался от опубликованного позднее, почти два года спустя. Солдаты и офицеры Красной Армии призывались к организации антикоммунистических сил. Никаких

конкретных мер, по существу, не предлагалось. О переходе на эту сторону не было сказано ни слова.

Манифест решено было подписать в Смоленске, чтобы иметь возможность назвать его «Смоленским». Предполагалось, что подпишут Власов, генерал Малышкин, находящийся в это же время в лаборатории, в качестве секретаря Комитета, городской голова города Смоленска и находящиеся в том же районе на формировании бригады Жиленков и Боярский.

Подписали только Власов и генерал Малышкин». Жиленков в это время переживал тяжелые дни в борьбе с командованием фронта за сохранение сформированной им бригады. Городской голова Смоленска был где-то в Германии с экскурсией, организованной немецким министерством пропаганды. В конце декабря Власов из Смоленска прочел Манифест по радио.

Все переговоры с немцами, которые приходилось вести русским антибольшевикам, напоминали шахматную игру.

Немцы хотели, под тем или иным предлогом, использовать русские силы в своих целях — будь то формирования с этой стороны фронта или ослабление сопротивления с той.

Русские старались не дать немцам использовать себя и получить что-нибудь для русского дела и для борьбы против коммунизма в интересах русского народа.

История со «Смоленским Манифестом» была сыграна, фактически, вничью, с небольшим и совсем непредвиденным выигрышем для русских.

После того, как было напечатано несколько миллионов экземпляров этого обращения, оно было направлено на фронт. С этой стороны фронта Манифест не должна была видеть ни одна душа. Были приняты специальные предосторожности, даже в типографии были уничтожены все корректурные листы после того как делались поправки в наборе. Корректура делалась в нашей лаборатории.

Через несколько дней пришел Фельд и со смехом рассказал о происшедшем на фронте недоразумении. Четко работающая обычно немецкая машина на этот раз дала перебой. Манифест был расклеен в нескольких городах, занятых немцами областей России, а в районе Орла он был сброшен с немецких самолетов. Фельд был склонен думать, что это недоразумение было организовано немецкими военными властями, так как маловероятным было объяснение летчиков, что они перепутали Орел с каким-то городом на советской стороне. Расклеенный Манифест снимать было бы глупо — он так и остался висеть. Через некоторое время по

адресу «Берлин, Председателю Русского Комитета Власову» стали поступать запросы и поздравления от населения занятых областей.

Позднее стало известно, что командование среднего участка фронта решило использовать Манифест с этой стороны, чтобы задержать все нарастающую волну недовольства русских людей, рассчитывая, что, рано, или поздно, но такой шаг немецким правительством сделан будет.

С той стороны Манифест никакого действия не произвел. Было ясно видно, что на этой стороне ничего серьезного нет: в бытность Власова в Смоленске ему не разрешили ни с кем поговорить, никому ни показаться, да он и сам избегал этого.

Советская пропаганда парировала этот удар просто... В листовках, сделанных для оккупированных немцами областей, в разных вариантах говорилось одно и то же: «... кто из вас видел Власова? Никто! Немцы врут и никакого Русского Комитета нет...»

В отношении возможного мира с Германией и у нас в лаборатории и вообще во всем русском антикоммунистическом мире разговоры происходили часто. Две точки зрения, по существу мало чем отличающиеся одна от другой, разделялись большинством.

Одна гласила: русский народ двадцать пять лет находится в рабстве, какого не знает история человечества. Весь остальной мир относился, да и относится к этому, в лучшем случае, безразлично, в худшем — помогает рабовладельцам. Пусть этот остальной мир заботится о своих интересах сам, а мы, если представляется возможность, позаботимся о своих.

И вторая: мы не можем оказать большей услуги миру, как покончив с коммунизмом у себя дома. Все остальные проблемы, волнующие мир, даже и окончание войны с Германией, менее значительны и менее важны: с Германией покончат и без нас.

Были люди, которые находили, что по очищении России от коммунизма, нужно будет все-таки помочь западным союзниками раздавить Гитлера. Это диктовалось не только моральными обязательствами русского народа, которому западные демократии помогли в самый тяжелый период борьбы, но и совсем практическим расчетом: пока мы возимся со сталинцами, как бы малочисленны и слабы они ни были, Гитлер сможет покончить с союзниками на западе и тогда всей тяжестью своего бронированного кулака обрушится опять уже на послебольшевистскую Россию.

Были настроения — и тоже довольно распространенные, — которые видели выход в сотрудничестве с Германией без всякого камня за пазухой, но, само собой разумеется, при условии, что она откажется от мысли о завоеваниях за счет России, поможет материально русскому антибольшевизму очистить страну, за что ей будет как-то заплачено. Перед людьми этих настроений стоял трудно решимый вопрос — найдутся или нет умные немцы, способные изменить политику Германии на востоке. Под «умными» немцами подразумевались какие-то люди, стоящие у власти или могущие придти к ней, способные понять всю сложность русской проблемы. Вопрос решила жизнь — таких немцев, увы, до самого конца войны не нашлось . . .

*

Осенью 1942 года началась подготовка к изданию газеты для военнопленных — «Заря». К тому времени из состава лаборатории уже можно было набрать нужных работников для редакции. Состав лаборатории все время менялся, но то, что представляло интерес как интеллектуальная сила, или оставалось у нас или находилось в пределах досягаемости. К началу выхода газеты все сотрудники редакции были выпущены на свободу, а позднее, летом 1943 года, они надели форму будущей Русской Освободительной Армии.

Вместе с ними получил право свободного выхода и Власов.

В темносинем, не совсем удачно сшитом костюме, в коричневом пальто, которое могло бы быть немного длиннее, он перед концом рабочего дня заходит ко мне. Мы давно уже условились, что первый день его на свободе он проведет у меня.

Хозяйка, предупрежденная заранее, сделала предельно хороший ужин. Кроме семьи, в которой я живу, нет ни одного человека из посторонних.

О политике не говорим совсем. Власов много рассказывает о Китае, о Чан Кай-ши, о встречах со Сталиным в Кремле, куда он был вызван в тяжелые для Москвы дни, о боях на окраине столицы и о том, как скованная морозом немецкая армия, под ударами сибирских дивизий покатилась от Москвы на запад. Рассказывает он мастерски и есть рассказы, которые могли бы сделать честь профессиональным чтецам и артистам. Мне больше всего нравится рассказ о маршале Буденном, который я как-то раз слышал в лаборатории.

В начале войны командующим южным участком фронта был назначен этот престарелый вахмистр драгунского полка первой мировой войны, за время советской власти сделавший завидную карьеру до маршала и инспектора кавалерии. Буденный — самый безобидный из всех советских вождей, вроде умершего Калинина, в иностранной печати называемого президентом советской республики. Он стоит далеко от всякой политики, коротая старческий век за бутылкой водки, да ухаживая за смазливыми балеринами московского балета. В начале войны Сталин решил использовать его авторитет героя первых лет революции, прославившегося со своей конной армией в борьбе против «белых», и назначил его командующим фронтом. Оказавшийся потом комендантом города Киева Власов попал к нему в подчинение.

— Намотаешься за целый день до того, что маму родную не узнал бы, — рассказывает он — то на фронт, а фронт под самым Киевом, то в одно место, то в другое, то формировать отряд из рабочих, то выравнивать где-то начавшийся прорыв, то по прямому проводу говорить со Ставкой. Часа в три утра прикурнешь, не раздеваясь, в кабинете, а часа в четыре тормошит адъютант:

— Товарищ генерал, товарищ генерал, командующий фронтом у телефона!

Вскакиваю, ничего не могу сообразить, где, что, какой командующий. Наконец, вспоминаю и беру трубку:

— Я слушаю, товарищ маршал.

— Здравствуйте, генерал!

— Здравствуйте, товарищ маршал!

— Ну, как у вас там?

— Спасибо, товарищ маршал. Держимся.

— Ну, а немцы-то, как, — лезут?

— Лезут, товарищ маршал, лезут.

— Ну, отбивайтесь, генерал, отбивайтесь.

Буденный говорит старческим козлиным тенорком:

— Генерал!

— Слушаю, товарищ маршал.

— Я, вот, соседу вашему, Пахоменке, посоветовал, чтобы он немцев-то поближе подпускал, не стрелял бы в них, а потом, когда подойдут, так чтобы залпами, залпами в них, в немцев-то... Попробуйте и вы, может, подействует.

— Попробуем, товарищ маршал, попробуем.

— Ну, до свидания, генерал, держитесь!

— До свидания, товарищ маршал!

На следующий день, то есть, что значит на следующий день, часов в пять утра, нужно быть уже на ногах и опять начинается все сначала. Немцы окружают Киев, не хватает

боеприпасов, не хватает людей, то есть людей, желающих драться, (в окружении потом было взято в плен что-то около 700 тысяч), а из Ставки категорический приказ — не отступать. Целый день то на лошади, то на автомобиле, то пешком носишься с места на место. После двух, иногда трех часов ночи полумертвым свалишься в Штабе, а в полчетвертого опять звонок. Звонил он, почему-то, всегда в это время:

— Здравствуйте генерал!

— Здравствуйте, товарищ маршал!

— Ну, как, генерал, действует?

Долго не могу вспомнить, что такое действует. Наконец, вспоминаю вчерашний его совет.

— Действует, — говорю, — товарищ маршал, действует.

— Ну, вот и хорошо, и Пахоменко говорит, что действует! Залпами их, залпами, немцев-то, когда они подойдут . . .

. . . . . .

Власов беззлобно смеется, вспоминая о том, как маршал Буденный руководил юго-западным фронтом. Судя по его словам, и маршал Ворошилов, командующий в начале войны тоже фронтом, был не более находчив и остроумен в своем стратегическом творчестве.

Гость засиделся до позднего вечера. С последним трамваем я провожаю его до дому.

Через три - четыре дня визит повторился и потом, в продолжение почти всех зимних месяцев, он приезжал уже сам каждый второй - третий день. Нередко с ним вместе приезжал Жиленков, только что вернувшийся — фельдмаршалу Клюге так и не удалось его расстрелять.

Жиленков идет по улице в форме своей бригады. Форма — почти точная копия форм Красной Армии: шинель с красными отворотами русского образца и генеральские погоны. Встречные немцы с большим изумлением смотрят на советского генерала, расхаживающего без всякого конвоя по берлинским улицам. Их изумление было бы, конечно, еще больше, если бы они знали, что это командир бригады, в настоящее время в полном составе находящейся в лесу, в тех самых «партизанен», о которых с таким ужасом рассказывают солдаты-фронтовики. Иногда мы ходим в кино, главным образом, чтобы посмотреть журнал, в котором можно всегда увидеть кусочек России. Редко заходим выпить пива в небольшой ресторанчик через дорогу, а чаще всего сидим целый вечер дома. С разрешения Власова, а иногда и по его просьбе, я приглашаю на каждый такой вечер человек трех-четырех из друзей — членов организации. В рамках разговоров «ни о чем» тогда очень трудно удержаться и по-

нятно, что прежде всего поднимаются вопросы, которые всех волнуют одинаково.

Начинается обыкновенно всегда с одного и того же:

— Андрей Андреевич, а что, если они обманут?

«Они» — это немцы, а обманут — это значит, что что-то пообещают, что-то за это возьмут и обещанного потом не дадут.

Он отвечает неизменно одними и теми же словами:

— Ну, если обманут — погибнут сами. Мы не ждем от них благотворительности, а предлагаем только то, что необходимо и для них и для нас. Войну проигрывает тот, кто сделает больше политических, стратегических и экономических ошибок. Политически они войну уже проиграли, а это, при данных обстоятельствах, значит — проиграли все. Если они окажутся реалистами, а не фантазерами, как были до сих пор, и поймут, что о завоеваниях не может быть и речи, а думать нужно только о том, чтобы спасти ихнюю Германию — они пойдут с нами на переговоры и заключенный договор исполнять будут. Ну, а если обманут, пусть на себя и пеняют.

Он охотно поддерживает любую тему, кроме одной — разговоров о западе. Меня это удивляет. Удивляет и немного беспокоит. Он совершенно не интересуется тем, что там делается, как идет борьба, на что можно рассчитывать, кто мог бы оказать нам поддержку или, наоборот, повредить. До высадки союзников в Нормандии тогда еще было очень далеко. Участие западных союзников в войне обозначалось редкими и в то время довольно безобидными налетами авиации, но можно было предположить, что вечно так продолжаться не будет. У него же отношение к западу было таким, как у большинства советских людей — противоборствуют в войне две силы, сталинизм и гитлеризм, поэтому нужно попытаться договориться с немцами, чтобы Германия осталась немецкой, а Россия снова стала русской, т. е. без большевиков.

Разговоры тянутся часами и нередко мы выходим после того, когда уже ушел последний трамвай. Тогда или я один или целой компанией провожаем его до дому. Если провожаю я один, я часто его спрашиваю о впечатлении, произведенном на него моими друзьями. Он почти всегда отвечает одно и то же:

— Ты мне эмигрантов покажи как-нибудь, а это какие же эмигранты — так, вроде наших комсомольцев.

Я ему рассказываю, что таких эмигрантов, как он видел в журнале «Крокодил», в природе вообще не существует. Если они и были когда-нибудь, так умерли уже давно.

— Тогда знаешь что, — говорит он, — их нужно выдумать, а то наша публика советская никогда не поверит, что их нет. А лучше придумать их и показать нашей братии, вот это, дескать, плохая эмиграция и с ней мы дела иметь не хотим, а вот это — хорошая, это наши люди. Потом окажется, что плохой-то нет, и слава Богу, а с другой уже подружились.

Но в чем-то он был и прав. Эмиграция жила в основном образами и идеями прошлого. За небольшим исключением, она верила, что жизнь в России замерла, одни считали, что это произошло в феврале, а другие в октябре, 1917 года. Начало жизни в будущей послебольшевистской России представлялось ей, как продолжение оборванной когда то нити. 25 лет существования советского строя просто как бы не имело места. Во время пребывания еще в Белграде, для нас молодежи-студентов, только еще входящих в политическую жизнь, целиком погруженных в изучение процессов, происходящих на Родине, было, помню, большим развлечением поговорить на все эти темы с так называемыми «зубрами». Собеседниками оказывались чаще всего старые генералы или общественные и политические деятели дореволюционной России. Вспоминается почему-то разговор с генералом Ф.

— Ваше превосходительство, вот как вы представляете наше возвращение на Родину? Предположим, что каким-то, нам неведомым способом, большевизм рухнул и вот мы все получили возможность вернуться домой . . .

Генерал не дает закончить вопроса. Обводя собеседников иронически снисходительным взглядом, он, разглаживая седые усы, наставительно объясняет:

— Что же тут особенного представлять-то, молодежь, дело ясное, как божий майский день. Вот, например, ваш покорный слуга — иронически почтительный поклон в нашу сторону — ваш покорный слуга, в феврале 1917 года, был градоначальником города, ну, скажем, Киева. Последний приказ, который я подписал, был за номером 68. Когда мы вернемся, я сяду и напишу номер 69. Ясно, молодежь, или не совсем . . .

Нам было совсем ясно, но не то, что говорил его превосходительство, а другое — нашему собеседнику не придется подписывать ни приказа номер 69, ни какого приказа вообще. Единственно, что могло ему дать возвращение на Родину, это быть похороненным не на чужбине, а на русской земле, которой он и отдал всю свою жизнь.

Что-то от такого генеральского представления было свойственно большинству эмиграции. Не все собирались писать

приказы, но начать жизнь с февраля 1917 года намеревалось большинство. Для заграничных русских политиков, особенно левых, было бы большой обидой сравнение их с царским генералом, но от понимания теперешней России они были так же далеки, как и он. Им трудно было бы поверить, что их программы, их партии, имена их лидеров абсолютно неизвестны никому и никому ничего не говорят в подсоветском мире. Что их партийные установки и идеалы давно уже стали глубокой и невозвратной историей даже и для свидетелей великого всероссийского обвала. Во всем подсоветском мире мы не встретили ни одного человека, проявившего, хотя бы какой-нибудь интерес, обнаружившего, хотя бы какое-то знание политической жизни дореволюционной России. Да и не мудрено: большинство оказавшихся здесь подсоветских граждан или родились или вошли в сознательную жизнь уже при советской власти.

Антибольшевизм эмиграции начинается с октябрьского переворота. Для эмиграции советская власть — это завоеватель, враг-победитель. Антибольшевизм людей подсоветских питается сегодняшним днем — октябрь для них смутно вспоминаемая история. И власть советская для них бесчеловечно жестокая и несправедливая, но «своя» власть. А кроме того, они пережили уже за годы большевизма ряд потрясений, которые по тяжести переживаний, давно уже затмили и октябрь и всё, что было связано с ним. Для крестьян эпоха коллективизации — воспоминание не только более близкое, но и более страшное, чем годы гражданской войны и военного коммунизма. Для рабочих тридцатые годы, когда целым рядом декретов их положение бесправных рабов государства было узаконено, более свежо в памяти, чем всё, бывшее до этого.

Антибольшевизм эмиграции более принципиален и идеен, подсоветских более горяч и действен. Отношение эмиграции к большевизму скорее академически-протестующее, для подсоветских это раны на их теле и душе. Для эмиграции, с течением времени, большевизм стал олицетворением какого-то отвлеченного зла, для подсоветских годы большевизма, это воспоминание не только о политическом строе, но воспоминание и о своем детстве, учебе, первой любви и первых успехах в жизни. Для эмиграции советский строй — это пирамида, в верхней точке которой сидит виновник всех зол и несчастий — «любимый вождь». От него тянутся миллионы нитей, пронизывающих всю пирамиду до самого основания, поэтому он является организатором и вдохновителем преступлений и в государственных масштабах, и в отдельной человеческой судьбе.

Подсоветские люди, бывшие сами составной частью этой пирамиды, не могли видеть ее структуру так отчетливо, как это было видно со стороны. Это определяло их отношение и к советскому строю, и к Сталину персонально. Они редко отрицали систему в целом и легенда о «добром царе и плохих сановниках» имела какое-то, хотя и ограниченное, количество сторонников.

В примирении этих двух антибольшевизмов, в сплаве их в один идейный и пламенный, принципиальный и действенный, мне представляется, и заключается одна из наших основных задач.

Сначала это идет трудно. В смысле политическом, в отличие от бытового, на сближение идут не охотно и одна и другая сторона. Эмиграция мечтала встретить такой же антибольшевизм, какой исповедывала и она сама. Его не оказалось. Не оказалось просто потому, что такого в России нет и в природе.

Вновь пришедшие же представляли эмиграцию по советским карикатурам. В этом отношении двадцать пять лет пропаганды не прошли даром и в этом вопросе советские пропагандисты могут похвастаться самыми большими успехами. Миллионеров, банкиров, фабрикантов, крупных помещиков с большими состояниями и их сынков, уже в корне разложившихся, плохо или совсем не говорящих по-русски, готовы были они увидеть заграницей.

Наша задача заключается еще и в том, чтобы взгляд вновь пришедших братьев с Родины не упирался как в непроницаемую стенку в нацистскую Германию, а видел бы дальше через огневой вал западного фронта иной, далекий мир.

*

Как-то летом 1943 г. Старший вызвал меня на свидание раньше назначенного срока. Дело оказалось очень спешным и очень важным. Мы встретились на станции подземной железной дороги, проехали до зоологического сада и, миновав вокзал, отправились в Тиргартен. В обеденные часы в нем бывают совсем пустынные аллеи. Мы выбираем одиноко стоящую скамью и направляемся к ней.

— Дело вот в чем,—начинает мой спутник, опускаясь на скамейку.—У нас есть возможность перебросить маленький мостик на ту сторону, на запад. На этих днях один наш знакомый, очень сочувствующий нашему делу швейцарец, будет на несколько дней здесь в Берлине, а потом вернется обратно в Швейцарию. Мы его эту поездку используем. А тебя я позвал, чтоб спросить — стоит ли предложить Андрею Анд-

реевичу от его имени попробовать связаться с англичанами и американцами — или не стоит? Если стоит, то сможешь ли ты с ним поговорить об этом?

— Поговорить я, конечно, могу. Но стоит ли предлагать — не знаю, — отвечаю я. — А не думаешь ли ты, что можно это сделать от его имени, но без его ведома? В исторических романах, кажется, так поступают ближайшие сотрудники больших особ, вероятно так же посоветовал бы поступить и старик Маккиавелли. Как бы это вышло по его учению? — если получится удачно — слава мудрости государевой, если нет — голову долой с зачинщиков.

— Я думаю, что это только в романах, а кроме того, здесь случай особый — отвечает он. Головами нашими мы играем и так и так, в совершенно одинаковой степени с ним или без него. Но мне хотелось бы, чтобы он сам был в курсе этого дела. В такой зачаточной стадии дела, как сейчас, разговор может вестись только от его имени. Ведь, и мы со своей стороны будем говорить о том же самом — о накоплении русских антибольшевистских сил в Германии. Одним словом, я хочу сказать, что мы можем играть своими головами, а чужими только в том случае, если на это согласны их владельцы. Впрочем, ты можешь заверить его, что дело верное и человек надежный. Без стопроцентной уверенности в нем я бы не предложил Власову этого шага.

Поделившись последними новостями: он — полученными от друзей из России сведениями, я утренней сводкой совинформбюро («немцев бьют уже совсем всерьез и без всяких передышек»), — мы прощаемся и расходимся в разные стороны.

В тот же день вечером я отправляюсь в Далем, юго-западное предместье Берлина, куда незадолго перед этим был переведен Власов вместе с его будущими ближайшими сотрудниками.

С Андреем Андреевичем остаться с глазу на глаз сегодня оказалось не просто: сначала было несколько человек офицеров из лагеря Дабендорф, расположенного около Берлина, потом они ушли с генералом Малышкиным, жившим в том же доме наверху, потом приехали какие-то немцы. Когда уехали и они, я прошу Власова выйти в сад и, гуляя по узким аллейкам от дома до решетки сада, рассказываю ему о целях своего визита.

Он долго не произносит ни одного слова. Потом, когда уже пересекали сад в третий или четвертый раз, говорит:

— Я благодарю за предложение, но должен от него отказаться. Ты спросишь — почему? Сейчас я тебе отвечу...

Мы еще несколько раз молча пересекаем садик туда и

обратно. Наконец он говорит, останавливаясь у входа в беседку:

— Предположим, что удалось связаться и переговоры завести. Техническая часть меня сейчас не интересует, насколько это возможно или невозможно — дело другое, я думаю, что при желании возможно. Предположим, что связь мы завязали, — что мы можем предложить, что можем просить и что они могут от нас потребовать? Мы можем сообщить, что здесь, в Германии, и оккупированных ею странах находится столько-то и столько-то миллионов русских антибольшевиков, способных сократить сопротивление Гитлера на несколько месяцев. Западных союзников это заинтересует. Можем мы это сделать, то есть, выступить сейчас против Германии, я не говорю о формах, а в принципе? — Можем. Но какой ценой? Ценой гибели, если не всех, то большей части антикоммунистических русских сил. Большей части в такой степени, что если нам за это что-то пообещают в будущем, я имею в виду помощь в нашей борьбе против Сталина, то эту помощь некому будет принять... А только наше выступление, только наша помощь в борьбе против Гитлера для западных союзников и представляет интерес. Возьми пример Драже Михайловича. Вероятно, он для них более приемлем, чем Тито, однако они отказались от него и помогают Тито, потому что сейчас в борьбе против Германии он может дать больше...

Он подождал, пока заглохли шаги проходившей по улице парочки и, медленно шагая по аллее в сторону дома, продолжает:

— Можно предположить, что условием нашего признания они бы не потребовали немедленного выступления с нашей стороны и помощи в их борьбе против Германии. Но тогда какой интерес имеет для них связь с нами? Можешь ты поверить в то, что вот сейчас, во время войны, когда Красная Армия перешла, наконец, в наступление и успешно его развивает, они пойдут на союз с нами, ценой отказа от союза со Сталиным? В это поверить тоже нельзя. А поддерживать связь на будущее — мне кажется, что они не столь дальновидны и, может быть, совсем искренно рассчитывают сотрудничать со Сталиным и после войны... Что же остается тогда, о чем можно было бы, вот, сейчас, сегодня разговаривать? Ничего не остается и разговаривать сегодня, по крайней мере, не о чем.

— Но, Андрей Андреевич, — возражаю я, — наступит когда-то день, — мы все верим и ждем, что он наступит, иначе наше пребывание здесь было бы неоправданным, — наступит день, когда по договру с немцами или вопреки их жела-

нию мы будем силой, большой, организованной и вооруженной. Неужели вы думаете, что тогда нам придется бороться на два фронта, отбиваться на западе и наступать на востоке? Это значит сразу стать в такое же положение, в каком находится сейчас Германия. Как бы мы ни были сильны, мы будем все-таки слабы для этого, и мне кажется, единственная возможность достичь нашей цели — это или нейтралитет запада в нашей борьбе против коммунизма или помощь с его стороны. При любом другом варианте наша попытка обречена заранее на неудачу...

— Ты прав, — говорит он, — во всем, кроме одного. Союз англичан и американцев со Сталиным не вечен. Когда он даст трещину, если еще не дал, мы не знаем. Но трещина обязательно будет, когда Сталин выйдет в Европу. Красная Армия будет раньше в Европе, чем союзники возьмут Берлин, если они его возьмут когда-нибудь. Только тогда они увидят настоящие планы и намерения Сталина и только тогда русский антибольшевизм привлечет, может быть, их внимание. Но не раньше. Будем надеяться, чтоб не позднее.

— Значит, если бы каким-то сверхъестественным чудом сейчас, вот здесь, оказался бы, ну, скажем, Черчилль, у нас ничего не нашлось бы сказать ему?

Он улыбается.

— Ну, ему бы мы сказали... Мы посоветовали бы ему на рысях гнать по Европе с запада на восток, если он не хочет проиграть выигранную войну... Могли бы ему сказать также при этом, что, несмотря на то, что он считается, кажется, лучшим знатоком коммунизма в Европе, он о сталинском коммунизме не имеет и тени понятия... Могли бы его и порадовать — если Сталину удастся, в разультате этой войны поджечь мировой пожар и провести мировую революцию, то он, если бы ему свойственно было чувство справедливости и благодарности, должен обязательно поставить памятник Гитлеру с Розенбергом, а рядом с ними и Черчиллю.

— Нет, серьезно, Андрей Андреевич, — перебиваю его я. — Вот сейчас русские батальоны переводятся на запад. Мы могли бы предложить англичанам и американцам, что эти батальоны перейдут на запад еще дальше, дальше, чем это имеет в виду командование немецкой армии, перейдут прямо к ним, к союзникам. Конечно, с условием, что господин Черчилль не будет отправлять их в мясорубку к своему восточному союзнику, а задержит у себя до конца войны.

— Ну, тогда получается то же самое. Для русского дела они не будут потеряны только в том случае, если Черчилль отдаст нам их обратно. Это был бы случай, о котором говорил

ты. Союзники были бы нейтральны, или помогали бы нам. Но если бы эти батальоны перешли на запад сейчас, то мы здесь в Германии не получили бы не только возможности организоваться и вооружиться, но, вероятно, и дожить до конца войны.

— Андрей Андреевич, вы совершенно уверены, что эту возможность немцы нам, в конце концов, дадут?

— Они, может быть, никогда и не захотят ее дать, но она выпадет у них из рук, а мы ее тогда подхватим. Единственно,что нам нужно желать, чтобы это произошло не слишком поздно.

— В том, что это произойдет, не сомневаюсь и я, да и никто не сомневается. Но этот проклятый вопрос — когда?

Он смеется.

— А ты вспомни, как говорили астрологи — «когда фельдмаршал Бек пошлет по матушке фельдмаршала Рундштета ...».

Я вспоминаю фразу, которую он часто говорил в лаборатории и продолжаю в том же тоне: — «... а Риббентроп полезет в драку с Розенбергом, тогда кто-нибудь из них вступит с нами в переговоры» ...

— Память у тебя хорошая, только боюсь, что это будет еще не скоро. Народ они дисциплинированный и вежливый, по крайней мере, друг с другом, а фельдмаршалы, наверное, в особенности ... Тяжелый и редкий случай. Они погибнут от своих добродетелей — их дисциплинированность и любовь к порядку оказывают им сейчас медвежью услугу. Бунтовать они не умеют. Будь бы у нас это — уже давно бы переменили курс. Впрочем, у нас сейчас тоже не побунтуешь...

— Ведь, вы понимаете, — подхватываю я, — если бы сейчас произвести подсчет голосов среди немцев, кто за продление политики Розенберга и Гитлера по отношению к русскому народу и кто против, я убежден, что большинство высказалось бы против, если уж не из благоразумия и угрызения совести, то хотя бы из страха. А ведь вот тянут свой фатерланд прямо в могилу и остановить их невозможно — бефель ист бефель ... Впрочем, мы уклонились. Не знаю, заметили ли вы, что с гораздо большим основанием, чем «все дороги в Рим ведут», можно сказать, что все русские разговоры кончаются тем, что ругаем немцев. Они, конечно, этого и заслуживают ... Так, Андрей Андреевич, значит с плутократами, как говорит доктор Геббельс, разговаривать нам пока не приходится?

— Да, с этим придется подождать. Связь эту вашу вы не теряйте, может быть, позднее мы ею и воспользуемся ...

Разговоры о необходимости установить контакт с западными союзниками не раз возобновлялись и позднее, в конце 1944 и в начале 1945 годов. В феврале 1945 г. был послан на запад один из выдающихся офицеров штаба капитан Л. Он удачно перешел фронт, но позднее мы о нем узнали, что летом того же года, через полгода после окончания войны, он был выдан советским властям.

Это была не единственная попытка, предпринимались они и в других местах и на севере и на юге и на центральном участке западного фронта, но результаты были всюду одни и те же: парламентеры, иногда уже через год после окончания военных действий, как это было с майором М., посланным к англичанам, передавались западными союзниками органам советского НКВД.

Глава IV

Бунт на коленях

В советском пропагандном языке есть выражение — «родимые пятна капитализма». Это выражение служит для определения свойств и качеств человеческой психологии, не поддающихся действию коммунистического воспитания и не исчезающих, несмотря на все старания советской власти, из человеческой души. Родимые пятна не линяют и не выводятся, они остаются на всю жизнь. К таким пятнам относится чувство собственности. Раньше, когда разрушали семью, пятнами же были любовь к родителям и любовь к родине. Впрочем, в советской практике родимые пятна капитализма часто потом оказывались найсвятейшими советскими добродетелями и, наоборот, советские добродетели становились родимыми пятнами капитализма.

При более близком знакомстве с составом редакции, готовящейся к выходу «Зари», я сам для себя неожиданно обнаружил, что если оставаться при этой терминологии, то есть родимые пятна и коммунизма. Они заметнее всего бывают у особенно активных участников гражданской войны и у молодых людей, соприкоснувшихся с первоисточниками коммунизма в русском его издании.

Наиболее ярким представителем этой группы был первый редактор «Зари» Милетий Александрович Зыков, один из замечательнейших людей из советского мира, с которыми мне приходилось встречаться.

Ленинская гвардия, вожди без кавычек, организаторы и руководители Октябрьского переворота и гражданской войны, часто были людьми большой культуры, эрудиции и знаний. Это был цвет русского марксизма, дань, взятая с русского народа коммунистическим интернационалом. Они были расстреляны потом Сталиным почти поголовно. Среди этих

подлинных вождей большевизма нужно особенно выделить Бухарина, Рыкова, Бубнова и целый ряд других.

Зыков молодым комсомольцем, журналистом, попал в эту среду. На дочери Бубнова, наркома просвещения СССР, он был потом женат. До ежовской чистки он был одним из заместителей редактора правительственной газеты «Известия» и постоянным ее сотрудником. Потом карьера кончилась чисто по-советски — арест, допросы, таскание по тюрьмам и ссылка. Как была его настоящая фамилия, узнать мне так и не удалось, да я и не пытался, несмотря на очень близкие отношения, какие у нас потом сложились. В те времена это было не принято. Советское правительство за сдачу в плен привлекало к ответственности и семью виновного. Вполне понятно, что очень многие из них, попадая в плен и тем более выходя на волю, меняли имена и фамилии. Немцы не препятствовали этому и охотно шли навстречу. Мне иногда казалось, что и фамилия Зыков родилась в результате такой же перемены.

Познакомились мы при обстоятельствах не совсем обычных. Как-то летом 1942 года, прийдя на службу, я увидел в коридоре странное зрелище — в цинковой ванне, в которой заключенные стирали белье, наполненной до верху водой, сидит незнакомый мне человек с намыленной головой и немилосердно трет себя щеткой. Одевшись в очень потрепанную и замазанную красноармейскую форму со стоптанными, развалившимися сапогами, он представился Милетием Зыковым.

Появился он у нас при обстоятельствах несколько таинственных. Его привезли с передовой линии фронта откуда-то из-под Ростова, на самолете. Перешел он к немцам добровольно и назвал себя комиссаром батальона. Потом, гораздо позднее, рассказывал мне, что был, на самом деле, комиссаром дивизии и чуть ли даже ни корпуса. Я не уверен, что и это было точно, но, во всяком случае,во всем знакомом мне подсоветском мире, оказавшемся с этой стороны, я не встречал человека такого масштаба, таких способностей, как был он. Общее убеждение было, не знаю насколько оно верно, что он был евреем. Может быть, это, в конце концов, послужило причиной его гибели.

На следующий день после приезда он решил написать брошюру о советской экономике, что и было им сделано в течение нескольких дней. Написана она была так, как мог написать только очень крупный специалист по этим вопросам. Прогнозы его потом не оправдались (брошюра называлась «Неминуемый крах советской экономики») только потому, что он не смог предвидеть размеров американской помощи

Советскому Союзу. Я часто заходил к нему во время работы, он писал ее до последней буквы без единой строчки пособий, без справочника. От первого до последнего слова по памяти

Перед тем, как засесть за работу, он попросил солдата охраны, все того же нашего старичка Мартина, принести стопу бумаги, чернила и перо. Мартин принес, потом ушел опять куда-то, вернулся с пресс-папье в руках.

В соседней комнате, где устроился Зыков, я слышу бурное объяснение. Громкий голос Мартина и изредка спокойный голос Зыкова. Один говорит по-немецки, другой по-русски. Вдруг, оба появляются у меня в дверях.

— Будьте добреньким. — умоляющим голосом обращается Зыков ко мне, — спросите Вы этого олуха, что он от меня хочет. Принес, понимаете, пресс-папье, размахивает им, трет по столу и рассказывает при этом что-то мне.

На мой вопрос Мартин объясняет, что он хотел научить этого русского, как обращаться с инструментом, которым можно сушить чернила на бумаге. Этим инструментом не нужно тереть бумагу, а нужно вот только так, прикладывать и больше ничего.

Я не могу удержаться от смеха: «Узнаю тебя, о, Германия!»

— Слушайте, господин Мартин, этот человек написал в своей жизни столько, что ни Ваш уважаемый дедушка, ни Ваш папа, ни Вы сами, ефрейтор Мартин, не прочли за всю вашу жизнь, ни каждый в отдельности, ни все вместе. А Вы его учите, как обращаться с этой штукой.

Мартин смотрит на нас с недоумением и недоверием. В России он никогда не бывал, сейчас по старости лет, а в прошлую войну потому, что был на западном фронте, и ему кажется маловероятным, что это изобретение германского гения, — промокательная бумага, — могло проникнуть и туда, в азиатские степи, где по его мнению живут все эти русские варвары.

Брошюра была закончена в несколько дней. Написана она была блестяще. О сложной технологии производства цветных металлов, о возможностях десятков, незнакомых многим и советским гражданам даже по имени, фабрик и заводов, Зыков писал как крупный специалист. О распределении сырья, о способах его переработки писал, как геолог. О работе транспорта, о использовании каналов и железных дорог — как путеец. Специалисты по всем этим вопросам могли соглашаться или не соглашаться с его выводами, но что работа была написана с большим знанием дела — признавали все.

Как журналист он поразил меня еще больше. Ничего подобного я не видел в жизни.

Отделение пропаганды для той стороны выпускало нерегулярно выходящую газету, носившую название «Боевой путь». Она была закамуфлирована под одну из советских фронтовых газет. Я однажды присутствовал при том, как Зыков продиктовал стенографистке весь номер с начала до конца, от первой до последней строчки. Там была передовая, какой-то очерк, фельетон, сообщение с фронта и телеграммы из-за границы, отдел развлечений с какими-то головоломками для солдат, заканчивающийся чуть ли ни шахматной задачей. Все это он продиктовал, не поднимаясь из-за стола, как будто прочел по книге. Работа продолжалась около трех часов.

Он обладал редким свойством подчинять себе людей и это происходило не благодаря его знаниям, большим чем у других, или талантам, а благодаря тому, трудно определимому свойству, которым располагают люди, привыкшие приказывать и руководить. Интересно, что распространялась эта его сила не только на русских, но и на немцев.

Перед тем, как выпустить первый номер «Зари», он заявил немецкому полковнику, начальнику отдела пропаганды, что без ежедневных сводок советского Информбюро он газету выпускать не может и не будет. Сначала это было встречено, как пожелание, о котором серьезно говорить не стоит — сводки эти хранились, как крупная государственная тайна и читало их, наверное, во всей Германии несколько десятков человек. Зыков каким-то образом доказал, что ему они совершенно необходимы. И вот, каждое утро, в специальном, запечатанном сургучными печатями конверте, солдат приносит принятые ночью по радио советские телеграммы со всех фронтов. На пакете нужно расписаться, указать время получения, а при возвращении время, когда он ушел обратно. Мы закрываемся в комнате редакции, подходим к висевшей на стене карте и долго ищем десятки названий городков и сел, отбитых у немцев в течение дня. Само собой понятно, никакого отношения к выходящей «Заре» это не имело и иметь не могло. Для меня, в качестве побочного продукта, от настойчивости Зыкова была большая польза: руководство организации было в курсе дел на фронте задолго до того, как об этом знали немецкие министры. Для них эти сводки нужно было переводить, а я их читал в оригинале. Сведения, даваемые с фронта командованием немецкой армией, как правило, очень отставали, а, кроме того, были не такими подробными, как советские — немецкая армия тогда больше отступала, чем наступала.

*

Зыков и окружавшая его немногочисленная группа молодежи были правоверными и убежденными марксистами, такими, каких сейчас в СССР можно встретить гораздо реже, чем где-либо в другом месте. Родимые пятна их заключались в том, что покоренные когда-то логикой марксистского миропонимания, они никак не могли выйти из-под его власти. Они много читали, — это была, главным образом, университетская молодежь, — внимательнее других присматривались к окружающей их новой жизни, но не могли поднять раз навсегда склоненной головы перед основоположником «научного» социализма. Их критика советского строя была робкой, неуверенной, с оглядкой на неприкосновенные для них марксистские авторитеты. Кто-то из друзей определил их отношение к сталинизму, как бунт против него, но бунт на коленях. Будущее Освободительное Движение им представлялось как борьба за исправление искаженной Сталиным партийной линии и за возвращение на путь завещанный Лениным.

Готовясь к борьбе против большевизма, мы часто обсуждали детали будущего выступления. Борьба потребует своих эмблем, символов и знамен, чисто внешнего оформления идей и целей.

Наши бунтари считали, что все это нужно взять из времен гражданской войны, как было при Ленине. Флаг должен быть красным. Форма армии такой, как была в свое время у красной гвардии. Отношение к религии, в лучшем случае, никакого, — все они, как правило, были воинствующе неверующими.

— Армию оденем так, как она была одета при царе — мужику это, наверное, очень даже понравится, — фантазирует, бывало, кто-нибудь из немарксистки настроенной молодежи.

Это приводило марксистов в ужас. Когда во время войны Сталин ввел золотые погоны и разделил армию на офицерскую касту и нижних чинов, бунтари были в великом смущении.

Мне представляется, что люди этой группы — это было лучшее в большевизме. Вот, так он должен был бы выглядеть, если б его не превратили в сплошную уголовщину. Но даже и в таком виде его нельзя было признать приемлемым.

Это были последние цветы русского марксизма, по недосмотру нераздавленные Сталиным. Много ли было таких людей последнее время в самой России — не думаю. Судя по их рассказам, это были редкие единицы в кругах высшей интеллигенции, в той или иной мере общавшиеся когда-то с вождями большевизма первых лет. Я вспоминаю об этой

группе только потому, что она оказалась выразительницей антибольшевистских настроений на первых шагах создания Освободительного Движения. Нужно отдать справедливость, что эта небольшая группа, в руках которой находилась первая русская газета, ни в какой степени не использовала ее страницы для популяризации своих политических настроений. Да это было и невозможно. Весь русский мир был бы против этого. И в своем трагическом одиночестве, как там в России, так и здесь за рубежом, наши бунтари отдавали себе полный отчет. Настроение всей остальной массы, не связанной никакими романтическими узами с первыми годами советской власти, было бескомпромиссным и полным. Точнее всего это отношение выражал профессор.

— Вон, всех вон! И Сталина! И Ленина! И тех, кто был до них и тех, кто попробует появиться после них! Все, что от Маркса — вон! Жизнь нужно начинать с февраля 1917 года.

— Марксизм не отжил свой век. Если его спрофанировали где-нибудь в одном месте, то это не означает его негодности вообще, — возражает кто-нибудь из марксистов. — Почему же тогда в Европе, где нет ни Сталина, ни НКВД, есть миллионы людей, которые считают Маркса своим учителем, являясь такими же его последователями, как и мы?

Профессор кипятится:

— Европейские марксисты относятся к Марксу, как к близкому, но простите, не совсем приличному родственнику, ну, скажем, как к дяде пропойце: в гостиной в передний угол не посадишь, но и от дому отказать тоже неудобно. И знаете почему?

— Почему ж это? — спрашивает оппонент.

— Потому что социализм этот его, научный, как вы его называете, ведь, это же типично паразитарная штука. Он всюду претендует быть только наследником, по-новому распределить созданные не им ценности и блага, переходящие, якобы, к нему от его предшественника капитализма. Это, знаете, наука нехитрая. Ну, а сам-то он создавать что-нибудь может? Судя по нашему российскому печальному опыту, ничего не может. Работали мы, как проклятые, жертвовали всем, а в результате не только впроголодь и полураздетыми оставались, но и без перспектив хоть когда-нибудь быть сытыми и одетыми... Чтобы еще раз в России пытаться строить социализм, знаете, что нужно делать для этого? Всем нам, да и вам, социалистам тоже, нужно долго тянуть нашу хозяйственно-экономическую колымагу в сторону самого вульгарного капитализма. И потом, когда этот будущий наш капитализм оденет народ и накормит, сделает какие-нибудь запасы, только тогда первый раз о со-

циализме и упомянуть можно. Этих самых капиталистических акул нам придется, может быть, сначала в аквариуме разводить, поощрять их всячески, чтобы они своей предприимчивостью да хозяйственной хваткой оживили ту мертвечину, которая останется после вашего коллеги Сталина. Вот какие дела, товарищи!

Марксисты наши дальше уже слушать просто не могли. Чаще всего махали рукой на оратора и переводили разговор на другую тему, или еще проще, уходили из комнаты.

Но газету они делали хорошо. Выход первого номера «Зари» был действительно днем перелома в жизни военнопленных. Газета давала глубоко продуманную, обоснованную критику сталинизма не с точки зрения правоверно-марксистской, а просто здравого разума. На страницах ее первый раз можно было прочесть о русском народе, как о великом народе, достойном лучшей участи, чем быть объектом экспериментов разных проходимцев и отечественного и иностранного происхождения. Розенберг по имени, конечно, не назывался, но о ком шла речь гадать долго не приходилось. «Заря» говорила много о русской культуре, о русской истории и призывала читателей военнопленных выше поднять голову. Юбилейный номер, посвященный Пушкину, мог бы быть украшением на любом празднования дня русской культуры. Нужно сказать, что перечисленные выше достоинства газеты не вытекали сами собой и не завоевывали себе место автоматически: статьи проходили военную цензуру и за каждую строчку в них Зыкову приходилось вести ожесточенную борьбу.

*

Гибель первого редактора «Зари» так же, как и его появление, было покрыто тайной, впрочем, потом, кажется, довольно верно разгаданной.

С Жиленковым вступило в переговоры какое-то отделение Главного Управления СС. С самого начала войны и чем дальше, тем определеннее, Восточное министерство, СС и Армия каждый вел свою самостоятельную политику в русском вопросе. СС был смелее всех, это был хозяин. Все остальные, в конце концов, зависели от него. Жиленкову удалось выторговать больше, чем удавалось кому-нибудь другому до сих пор. Вся пропаганда на целом участке фронта передавалась в его руки. Он получает два поезда-типографии, несколько самолетов, которые только по его указанию будут сбрасывать листовки на той стороне. Текст листовок не подлежит немецкой цензуре. Но самым главным, что было достигнуто, это то, что все взятые в плен и все переходя-

щие на эту сторону солдаты и офицеры Красной Армии принимаются представителями Русского Освободительного Движения и потом или отпускаются на свободу или, если выразят желание, зачисляются в будущие формирования Русской Освободительной Армии.

Из этой затеи, так же как и из десятка предыдущих, ничего не вышло. На полдороге немцы пошли на попятный, оказывается кто-то превысил свои полномочия в переговорах и обещал то, на что не имел права.

Зыков согласился поехать с Жиленковым на фронт в качестве редактора большой газеты, которая должна была печататься для той стороны.

Накануне отъезда он вернулся домой из Дабендорфа со своим адъютантом, секретарем и переводчиком в одном лице, сыном известного московского профессора ихтиолога Н. Жили они тогда в двадцати километрах от Берлина в небольшом селе, состоящем всего из нескольких домиков.

Хозяйка, у которой они снимали две небольших комнаты, сообщила, что за час до их возвращения приходили какие-то два человека в штатском и хотели поговорить с Зыковым. По ее словам, они свободно владели немецким языком, хотя и чувствовался у обоих какой-то иностранный акцент.

Когда сели ужинать, кто-то пришел и позвал Зыкова к телефону. Телефон, во всем селе единственный, был через дорогу в булочной. Зыков встал и пошел туда. В дверях остановился, позвал с собой переводчика на тот случай, если нужно будет говорить по-немецки. В вызове по телефону не было ничего необычного, с Зыковым часто говорили из Дабендорфа, куда переселилась к тому времени редакция «Зари». Они вышли вместе и с тех пор их никто больше не видел. Жители рассказывали, что по дороге в булочную к ним подошли двое в штатском, о чем-то с ними поговорили и затем все вчетвером сели в стоящую рядом машину. Она двинулась по лесной дороге по направлению к Берлину.

Военная разведка Верховного Командования Армии довольно серьезно начала поиски. Все жители были опрошены, на месте реконструировалась обстановка исчезновения. Тщательно обследовалась лесная дорога. Но очень скоро все было прекращено.

Для объяснения происшедшего немцами лансировались два варианта. Один заключался в том, что Зыков бежал. Серьезно об этом говорить не приходилось. Если он хотел бежать, то имел гораздо больше возможности сделать это, находясь на фронте, куда на следующий день и должен был отправиться. Имея бесконтрольное право не показываться

никому по три-четыре дня, сказавшись хотя бы больным, он мог бы бежать в любой момент, не идя на риск, что через десять минут после его побега начнутся поиски.

Второй вариант — он был украден НКВД. Этот был еще наивнее. Если агентура НКВД следила за ним и знала такие подробности, что можно позвать к телефону и потом как-то заманить в машину, то она не могла не знать и того, что завтра он уезжает на фронт. Об этом говорилось открыто и подготовка к отъезду большой партии людей не могла быть незамеченной. На фронте легко было бы его и убить и украсть, если этого они хотели, во всяком случае, гораздо легче, чем везти живого человека через всю Германию.

Очень скоро общие догадки всего русского Берлина (Зыкова знали очень многие) сошлись на одном, — его украли немцы у немцев, вероятнее всего Гестапо у Верховного Командования Армии, в ведении которого он находился.

Для доказательства этого можно было найти и основание. Летом 1943 года Зыков со своей женой, русской артисткой из Белграда, ездил в Югославию. Там познакомился с очень многими сербами, между прочим, говорят, и с представителями Драже Михайловича. Как человек умный и дальновидный он, может быть, и говорил с ними что-нибудь о совместной борьбе против большевизма, после крушения Германии. Это и могло стать известно Гестапо.

Когда этот вариант был принят всеми, как единственно возможный, немцы сделали самое умное, что они могли сделать, — доверительно рассказывали очень многим, что арестован Зыков был действительно немецкой полицией, потому что она получила доказательства, что он является крупным сотрудником НКВД со специальными заданиями возглавить, стоя за кулисами, будущее Русское Освободительное Движение. Это объяснение и многими русскими потом рассматривалось тоже, как вероятное...

В одной из провинциальных немецких газет, летом 1946 года, кто-то из бывших заключенных в кацете около Нюрнберга вспоминал, как у них были расстреляны два русских офицера. Время указанное им и время ареста Зыкова совпадали. Какое-то внутреннее чувство подсказало мне, что это были они...

Глава V

На Родине

Летом 1943 года, наконец, представляется и мне возможность побывать на родине. Поездка сложная. На службе я получаю отпуск — еду в Варшаву разыскивать родственников, которые якобы вывезены туда из Киева на работу. Причина не очень уважительная, но при некоторой настойчивости и благорасположении начальства осуществить поездку оказалось возможным.

В Варшаве я оставлю свои документы у представителя нашей организации, получу от него другие и на другое имя и уже без ведома моего начальства, как служащий строительной фирмы, ведущей восстановительные работы в самой России, поеду дальше. В областях, перешедших из управления Армии к Восточному министерству, немцы устраиваются всерьез и надолго. Создаются всевозможные фирмы для эксплуатации доставшегося добра, открываются какие-то закупочные конторы, строительные предприятия и даже филиалы каких-то кинематографических обществ. Технически поездка не представляет трудности — к этому времени уже множество народа пересекло туда и обратно бывшую советско-польскую границу. Ездили русские, ездили немцы и вообще иностранцы, не имеющие никакого отношения к армии. Ездили рабочие и артисты, журналисты стран сателлитов и служащие Восточного министерства. Очень часто ездили большие группы русских людей из занятых немцами областей, их привозили в Германию, показывали для рекламы образцовые заводы и фабрики, крестьянские хозяйства, музеи и театры и везли обратно домой. Экскурсии эти продолжались обыкновенно от двух до трех недель.

Родственников у меня в Варшаве никаких, конечно, нет. Я задержусь там ровно столько, чтобы зайти на явочную квартиру, переменить документы и с первым же поездом двинуться дальше.

Настоящая цель поездки более интересна — восстановить прервавшуюся почему-то связь с некоторыми группами организации в самой России, информировать их о положении дел в «большой политике», а от них услышать о состоянии их работы, о их планах, намерениях и нуждах.

Незабываемые моменты последних сборов, торопливых встреч, напутствий и пожеланий друзей. Память перегружена адресами, именами и паролями... Наконец, поезд двигается на восток, на родину! Больше двадцати лет проведенных на чужбине остаются позади — я не знаю, вернусь ли обратно.

Поездка до Варшавы ничем не отличается от поездки по Германии вообще. Вагоны переполнены до отказа такими же штатскими людьми, по внешнему виду от которых я не отличаюсь ничем. Почти на каждой станции нас обгоняют военные составы, это, главным образом, солдаты и офицеры, возвращающиеся из отпуска на фронт. Утром рано — Варшава...

Минутная встреча с друзьями, некоторых из них я встречал уже задолго до войны на съездах организации в Белграде. С квартиры я выхожу другим человеком. Велико влияние бумажек с печатями и подписями какого-то, неведомого мне начальства. Выйдя на улицу, я чувствую, что непроизвольно как-то меняю походку, кажется даже выражение лица и где-то уже сам начинаю верить, что я мастер электротехник, едущий на работу в одну из строительных фирм. Шагая к вокзалу, скандирую про себя по слогам свою новую фамилию.

Брест-Литовск — конечная станция европейского пути. В немецком представлении здесь кончается Европа и начинается завоеванная Азия. С поездами, с пересадками, с маршрутом и остановками от Брест-Литовска на восток начнется сплошная импровизация.

Поезд с запада подходит к одной стороне вокзала, дальше на восток — отходит с другой. На одних дверях огромное полотнище с надписью по-немецки «Направление — родина», на других — «Направление — фронт». До фронта еще очень далеко, шестьсот километров, но мы уже вечером убеждаемся, что это по сводкам Главной Квартиры Гитлера, на самом деле он оказывается гораздо ближе...

На вокзале, полуразрушенном и до невероятия загаженном, море военных, — это солдаты, возвращающиеся в свои

части из отпуска. В этом море зеленых форм неуклюжими штатскими фигурами мотаемся и мы, несколько человек. Как-то поневоле сбиваемся в один угол. Рядом со мной сидит группа рабочих — голландцы едущие куда-то под Орел, с другой стороны молодая пара, артисты, едут по контракту в какой-то фронтовой театр. Рабочие охотно вступают в разговор, они едут в первый раз и представляют Россию и русский народ по брошюркам немецкой пропаганды. Впрочем, разговор вскоре иссякает. Оказывается, по специальности они мои коллеги — электротехники, а углублять эту тему мне не хочется.

Артисты едут, как люди бывалые. На восточном фронте они выступали уже не раз. Перед этой поездкой были в Норвегии, а туда поехали из Италии.

Наш поезд должен отойти в сумерки. Вид у него до крайности странный — перед паровозом две открытых площадки, тяжело груженные песком и щебнем, это на тот случай, если путь будет минирован партизанами: взорвутся эти площадки, а не паровоз. В середине поезда такая же площадка с пулеметными гнездами на всех углах и прожекторами.

Перед тем, как двинуться в путь, комендант поезда отдает последние распоряжения, очень похожие на приготовления к бою. В каждом вагоне назначен старший, которого и надлежит беспрекословно слушаться. Солдаты должны иметь оружие под рукой, как на передовой линии фронта.

После всех приготовлений и проверок, наконец, двигаемся. Поезд идет медленно, максимум десять-двенадцать километров в час. В вагонах мертвая напряженная тишина, как будто поезд идет по мосту, который каждую минуту может обвалиться. Ночь проходит почти без сна, с частыми остановками на каких-то станциях, погруженных в полную темноту.

Утром мы около Минска . . .

Мне хотелось бы встретиться с родиной так, как мечталось об этом долгие годы изгнания — опуститься на колени и поцеловать землю. Я не мог бы этого сделать, хотя бы потому, что не знаю, когда мы переезжаем границу. Их здесь три — старая, Российской Империи, граница между Польшей и Советским Союзом и, наконец, демаркационная линия, по которой два года тому назад Сталин и Гитлер поделили Польшу. Впрочем, ни одна из них ничем не отмечена. В этой географической неразберихе помогает мне разобраться артист:

— Когда увидите на телеграфных столбах не фарфоровые белые чашечки, а из зеленого бутылочного стекла, — это началась Россия.

Вскоре я убеждаюсь, что на чашечки смотреть не нужно, — это, конечно, Родина. Около редких деревень, на полянках разостланы белиться холсты, между ними какие-то живые фигурки, вероятно, Машутки и Дуняшки, оттоняющие хворостинами уток, гусей и кур. Впрочем, уток, гусей и кур не видно, или потому что далеко, или потому что здесь, хотя и очень быстро, но все-таки прошла германская победоносная армия, а она, как известно, бич для всякой живности и особенно для птицы. Не думаю, чтобы она очень полакомилась здесь. В этих деревнях, под живительными лучами сталинской конституции цвела колхозная жизнь, а под этими лучами не только птица и скот, но и трава перестает расти так, как она растет во всем остальном мире.

Поезд идет по лесу. Это, конечно, родина. Нигде нет таких дремучих лесов. На десятки и, вероятно, сотни километров и с той и с другой стороны стоит стеной зеленая громада. Когда поезд идет по возвышенности, видно, как за горизонт уходит без единой прогалины, чуть дымящийся под утренними лучами, лес, лес и лес.

На пятьдесят метров с обеих сторон полотна железной дороги деревья срублены, очищены от веток и оттянуты на опушку. Это тоже одно из средств борьбы с партизанами, чтоб нельзя было подкрасться незамеченными и минировать полотно. Каждые триста-четыреста метров небольшая крепость, окруженная рвом и несколькими накатами толстых бревен с пулеметными гнездами на углах. Гарнизон каждой из них состоит, по меньшей мере, из десяти-пятнадцати человек. Если подсчитать очень бегло и приблизительно число солдат, занятых на охране только этого пути, можно понять, почему в Германии забирают все новые и новые возрасты в армию. Бедные завоеватели! Да и завоевано-то, собственно, вот это полотно железной дороги, да города, расположенные около него.

Проезжаем Борисов, Оршу, под вечер приближаемся к Смоленску, первой станции моего пути. За целый день на всей оставленной позади дороге я не видел ни одной надписи по-русски. Маленькие станции, полустанки, с такими уютными названиями «Прудки», «Дубки» и проч., которые даже Сталин не соблазнился переименовать и назвать своим именем, сохранили свое название, но название это написано по немецки. На станциях видны рабочие, поправляющие пути или обслуживающие станционные постройки. На рукавах у них белые повязки с надписью по-немецки «Немецкая государственная железная дорога».

На одном из полустанков мне врезывается в память картина, которая, вероятно, всю жизнь не будет забыта.

Поезд еще не успел остановиться, как из села, расположенного в нескольких сотнях метров от дороги, мчатся стайками ребятишки. В ситцевых рубашонках, светлоголовые, все до одного, конечно, босые. Приближаясь к поезду, хором начинают кричать специально заученную для немецких солдат фразу:

— Пан, гиб брот! Пан, гиб брот!

К открытым дверям нашей теплушки подходит девочка, ей не больше пяти. За руку держит братишку, этому, вероятно, года три.

— Пан, гиб брот! Пан, гиб брот!..

Один из голландцев отламывает краюху хлеба, я выгружаю из рюкзака до последней крошки провиант, которым так хлебосольно меня снабдили друзья в Варшаве.

Я не могу отказать себе в радости заговорить с ней по-русски:

— Ты с братишкой поделись, видишь, какой он у тебя маленький. Сколько ж лет ему?

Девочка вскидывает синие, как васильки, глазенки, полные изумления и радости.

— Дяинька, вы наш?

У меня першит немного в горле и щиплет глаза. Мне кажется, что более ласковых слов я не слышал всю свою жизнь...

Детвора разбежалась по длине всего поезда.

— Пан, гиб брот! Пан, гиб брот!

Вдруг, из соседнего вагона выскочил солдат. На длинном ремне он держит здоровенную полицейскую собаку. Та рвется вперед, старается вырваться, становится на задние лапы. Детишки по длине всего поезда с криком бросаются в поле. По-видимому, этот номер им уже знаком. В поезде из всех окон веселый смех — шутка удалась на славу. Я не видел, чтобы кто-нибудь из немецких солдат бросил детворе хотя бы крошку хлеба.

*

В Смоленск поезд пришел поздно, после двенадцати ночи. Добраться до своих друзей у меня нет никакой возможности, это можно сделать только днем: у них часто меняются адреса, а кроме того у меня документы и путевка на фирму, расположенную даже не в Смоленске. На улицах же ночью часто проверяют документы патрули из русской охраны. Одним словом, приходится ночевать на вокзале. Хорошо еще, что не одному, — добрая половина гражданских пассажиров нашего поезда поступает так же.

Вокзал — сожженное, полуразвалившееся здание, без крыши и окон, — результат немецких и позднее советских

бомбардировок. В углах груды битого кирпича, обломки обожженных балок, все это покрыто на несколько сантиметров пылью. Пристроив свой рюкзак к вещам голландцев, которые должны здесь ждать поезда до завтрашнего вечера, я выхожу на улицу. Лунная ночь, на небе ни облачка. Видно так далеко и ясно, как в сумерки. В городе, отделенном от вокзала Днепром — мертвая тишина. В немногих домах видны мерцающие огоньки, по-видимому, керосиновые лампы. Кое-где яркий электрический свет — это немецкие учреждения и казармы. Над городом, белым призраком, плывет громада знаменитого Смоленского собора, стоящего на самом высоком холме... Родина!

Я смотрю на бледно-синее небо, слабо мерцающие звезды, на притихший город, стараюсь уловить редко доносящиеся оттуда звуки и несколько раз шопотом произношу одни и те же слова: «Я на родине... Это Россия... Я стою на русской земле». Мне вспоминается последнее письмо Наташи, ушедшей из Берлина с первой партией осенью 1941 года. Отдельные строки его у меня перед глазами:

«... Нам очень трудно здесь, но жизнь наполнилась новым радостным содержанием, — мы на родине. Все трудности переносятся здесь по-другому, в нас проснулись новые, неизвестные раньше силы, потому что мы на родине... Когда ты приедешь — увидишь здесь другое небо, другие леса, нигде нет таких облаков и звезд. Но главное, самое главное — это люди. Жить с ними, чувствовать себя своей среди них во всех горестях и печалях, и маленьких радостях, это то, чего нам нехватает на чужбине и что делает сейчас жизнь полноценной, осмысленной и оправданной ..».

Она никогда не бывала в России. Родилась в эмигрантской семье, кончила гимназию и потом училась в университете. «Откуда у нее эти чувства», — спрашиваю я себя уже не в первый раз и в тиши этой ночи, кажется, чувствую ответ.

Родина встретила ее неприветливо. Она делила судьбу наравне со всеми. Сидела по несколько месяцев в тюрьмах Смоленска и Орла, Минска и Орши. Но есть что-то в нашем влечении к родине такое, что не поддается ни логике, ни анализу нашего ума...

Брезжит рассвет. Где-то далеко кричат петухи. Начинает просыпаться и город. Скоро можно будет двинуться на поиски друзей.

Я вхожу в здание вокзала и, пристроившись около похрапывающих спутников, сидя на рюкзаке, стараюсь заснуть. В полусне чувствую большую, светлую радость, так,

как это бывало в детстве, когда, полупроснувшись, стараешься вспомнить,—что же это за особенный день сегодня?.. Что за праздник, от которого так тепло на душе?..

*

Сегодня воскресный день. Выйдя с вокзала, я вижу с той стороны Днепра, на площади большую толпу, сотни людей, передвигающихся по всем направлениям, — базарный день. Видны яркие цветные платья девушек, снующая между взрослыми детвора. В стороне стоят запряженные лошадьми телеги. Это крестьяне привезли на базар то, что у них осталось после обязательной и более или менее грабительской дани «освободителю» — германской армии.

Перейдя через виадук, я смешиваюсь с толпой, стараясь пробраться в самую ее середину и почти физически чувствую, что долгие годы скитания кончились сейчас, вот в этот момент, — я дома. Это родина.

От массы впечатлений последних дней, самых ярких и светлых в жизни, нервы напряжены до отказа. Я с особой остротой воспринимаю каждую мелочь, в память на долгие годы врезается каждая деталь, — мелькающие со всех сторон лица, необычайная для европейского глаза убогость одежды, глаза, которые не останавливаются на мне, а так же, как и по всем прохожим, скользят мимо, а главное — многозвучная симфония русского языка, который слышится со всех сторон сразу. Каждое слышимое слово, обрывок фразы, восклицание кажутся полными большого значения и я чувствую себя участником, по меньшей мере, десятка чьих-то разговоров и бесед. В толпе, говорящей на иностранном языке, сознание улавливает лишь слова, относящиеся непосредственно только к вам. Здесь каждое услышанное остается в памяти.

До слез режет глаза неописуемая убогость принесенных на рынок для продажи и обмена «товаров». Вот пожилая женщина со скорбным иконописным лицом. Сидит на деревянной табуреточке, значит не случайный посетитель рынка, а, вероятно, постоянный его участник. На платке, разложенном у ее ног, полдюжины старых костяных пуговиц, видно споротых с отжившего свой век пальто, покрытый зеленой плесенью медный подсвечник и коробка спичек немецкого происхождения — плата за отнятые яйца и молоко, оставленная немецким солдатом. Это весь ее товар.

Рядом другая. У этой два заржавевших замка с ключами к ним, на веревочках, — «хорошие, еще старорежимной работы» — рекомендует продавщица, обращаясь к остановившемуся перед ней крестьянину. Пара самодельных свечей,

кусок темного, как земля, мыла и тоже две коробки спичек. И так дальше, целый ряд, — ни одной новой вещи, а только такие, какие на всем земном шаре, кроме Советского Союза, можно найти на любом свалочном месте.

Пусть жестока немецкая оккупация, но где-нибудь во Франции, Бельгии, Югославии этот «товар» не вынесли бы на базар, продолжайся она, хоть двадцать лет. А здесь торгуют и на все это находятся покупатели. Вот, пожилой мужчина, по виду он мог бы быть учителем или старым чиновником, застенчиво поторговавшись, бережно опускает в карман купленную пару пуговиц, вон, и крестьянин решился, наконец, на покупку замка. Эта нищета и убогость остались от «счастливой и зажиточной жизни» при советском строе.

Самое большое оживление в ряду напротив. Стоя и сидя на корточках, расположились торговцы табаком, — самосадом махоркой. Перед каждым довольно объемистый, килограммов на двадцать мешок из грубой холстины, в руках стакан или кружка, мера которой продается табак. Покупатели, перед тем как купить стакан-два табаку, долго переходят от одного к другому. Приценяются, пробуют запах, влажность и, как правило, на предложение купца заворачивают козью ножку для пробы.

Между торговцами «с местом» и слоняющимися любопытными и покупателями снуют юркие мальчуганы и на все голоса скороговоркой предлагают свой товар, помещающийся обычно в одном кармане. Это тоже, главным образом, спички, иногда пачка немецких сигарет, два-три камешка для зажигалки или, не обязательно новые, шнурки для ботинок... Родина, до чего тебя довели!

Потолкавшись в толпе, поговорив с торговцами, любезности каждого из них хватило бы на хорошо оборудованный средней величины магазин в Европе, купив стакан табаку, который, как и другие покупатели, ссыпаю прямо в карман и набравшись ярчайших и незабываемых впечатлений, подхожу к пожилому человеку, по виду рабочему, стоящему одиноко в сторонке и спрашиваю, как мне пройти на улицу декабристов.

— Декабристов?.. так это же бывшая, при советах ее так звали, а сейчас она называется Никольская, так как и раньше, — с готовностью отзывается он. — Сейчас я вам объясню, как туда добраться быстрее всего и легче всего.

Начинается любезнейшее, долгое и крайне подробное объяснение, с чисто русской манерой исполнения этой уличной вежливости — «... направо будет широкая улица, погорелый дом на углу, там раньше редакция газеты была, дом сгорел во время еще первого немецкого налета, так вы в эту

улицу не входите, а заворачивайте за угол налево, а оттуда вам уже рукой подать... ».

Я слушаю музыку этих слов, полных какого-то душевного радушия и любовного внимания, и, кажется, готов разговаривать с ним часами. Расспрашивать, как выглядел сгоревший дом, и когда он был построен, и куда я попаду, если на том углу поверну не налево, а направо...

Кончает мой собеседник довольно неожиданно и тоже чисто по-русски:

— Да я вам сам покажу. Мне надо итти почти в ту же сторону. Небольшой крюк сделать не великое дело, а оно вернее, что не заблудитесь.

Я его благодарю, предлагаю последнюю, оставшуюся из Берлина сигарету, от которой он отмахивается обеими руками — «ах, что вы, что вы... Оставьте, это же целое состояние по теперешним временам... ». Но потом все-таки берет, закуривает и мы двигаемся в путь вместе.

Руководителем наших кадров, переброшенных за эти два года в Россию, является Георгий Сергеевич Околович, мой давнишний друг по Белграду. Он организатор и руководитель, так называемой, закрытой работы. В 1938 году, когда организация через несколько европейских границ, которые приходилось пересекать нелегально, проложила тропу к родным рубежам, он с первыми пошел в Россию. После его возвращения подготовленные им пошли десятки других. Человек он больших организаторских способностей, практического ума и, кажется, совершенно лишенный чувства страха. Я знаю, что сейчас он работает в городском самоуправлении... Его, в первую голову, мне и нужно найти.

*

Советская пропаганда годами внушала народу, что война, — а она всегда считалась неминуемой, — будет вестись на неприятельской земле. «Разобьем врага на его собственной территории», как сказал когда-то Ворошилов, лежало в основе воспитания армии. Вместе с зализхватским бахвальством в этой фразе был скрыт и серьезный глубокий расчет. Красная Армия воспитывалась всегда, как сила наступающая, агрессивная. Сталин тешил себя надеждой, что момент удара по капиталистическому окружению выберет он. Перед столкновением с Германией он вместе с Гитлером поделил Польшу, захватил Эстонию, Латвию и Литву, отнял у Румынии Бессарабию и Буковину, подвинул на запад границы Финляндии и, таким образом, окружил границы Советского Союза кольцом новоприобретенных земель. На площади

этого кольца, в худшем случае, и должно было произойти решающее столкновение.

Желание не допустить врага до областей Советского Союза диктовалось целым рядом соображений и едва ли не главным из них было — не показать миру убожества жизни уже при построенном, как официально было объявлено, социализме.

Из этих расчетов, как известно, не вышло ничего. День начала войны был выбран Гитлером. Защитное кольцо оказалось пройденным немецкими армиями в течение первых двух-трех недель, а местами еще и раньше. После этого фронт покатился по просторам, которые четверть века цвели под мудрым водительством коммунистического интернационала.

В панике убегая все дальше и дальше на восток, от катившихся почти беспрепятственно вперед гитлеровских танковых дивизий, большевики уничтожали все, что можно было уничтожить, перед своим бегством. Были созданы особые части НКВД и перед ними поставлена была единственная задача — уничтожать все, что оставалось по эту сторону фронта. Сжигались фабрики и заводы, — это можно было понять, чтобы не достались врагу, который мог бы их заставить работать на свое вооружение. Взрывались железнодорожные мосты, станции и паровозные депо, где позволяло время и самое железнодорожное полотно, — это понятно тоже, чтобы не дать возможности противнику воспользоваться транспортом. Минировались и сжигались города, уничтожались или отравлялись ядами запасы продовольствия, предназначенные для населения. В угаре войны, в атмосфере молниеносного и позорного поражения, может быть, можно было понять и это. Города могли стать опорными пунктами вражеской армии, а запасы продовольствия использованы для ее пропитания. Но это было не все. Перед катившимся на восток фронтом полыхали деревни, горели сельские школы и амбуланты, убогие крестьянские хатенки и стога прошлогодней соломы.

Крестьянские хатенки и гнилая солома не нужны были даже и немцам и сжигались они с единственной целью — оставить не уходившее на восток население без куска хлеба и без крова над головой уже на завтрашний день. Все, что освобождалось от контроля «любимого вождя и учителя», должно было умереть голодной смертью. Идеалом Сталина было, оставить голую пустыню и на ней таких же голых, голодных, обезумевших от ужаса людей. Если бы он мог, он потушил бы и солнце, чтобы доказать, что светить и греть оно может только при советской власти.

А фронт катился все дальше и дальше. Ничем нельзя было заставить народ оказывать сопротивление идущему вперед врагу. В первые дни войны советская пропаганда пыталась представить поход Гитлера, как поход буржуазии, несущей восстановление капитализма, возвращение помещиков и фабрикантов. Промелькнуло сообщение даже и о том, что где-то в немецком обозе едет и русский царь. Все страхи и ужасы, которое могло создать идеологически-выдержанное воображение, были вызваны к жизни. Но результатов и это не дало никаких. Это очень показательно. Советские массы никак нельзя заподозрить в излишних симпатиях к капиталистам, особенно в изображении этих капиталистов советской пропагандой. Но было очевидно, что народ предпочитает этих страшных буржуев «своему родному, рабоче-крестьянскому» правительству. Драться за него не хотел никто. Скоро, впрочем, советские верхи увидели, что в походе Гитлера никакой политической акции нет и что их страх оказался напрасным. Завоеватель не дорос даже до того, чтобы использовать этот момент в своих эгоистических интересах . . .

*

Автором восточной политики называют идеолога национал-социалистической партии, государственного министра по делам Востока, Альфреда Розенберга. В отношении к русскому народу у Розенберга оспаривают первенство, с одной стороны, зоологическая ненависть к нему и, с другой, полное и самовлюбленное ничегонезнание.

Ненависть родилась давно и по причинам не банальным. До 1919 года Альфред Розенберг был подданным России, где и родился и провел свою молодость. В самый разгар первой мировой войны он, в качестве вольноопределяющегося русской армии, участвовал в одной из операций в Галиции. Во время тяжелого боя, которые там чередовались один за другим, вольноопределяющийся Розенберг отступил в индивидуальном порядке несколько дальше, чем это предвидело командование армии. Задержанный комендантом станции где-то в довольно уже глубоком тылу, он был отправлен в комендантскую команду. Казаки, которым он был передан, не сочли нужным скрывать свое отношение к печальному факту и жестоко выдрали его нагайками, как драли, впрочем, и всякого дезертира, попавшего им в руки. Им, конечно, было невдомек, что под нагайками их лежал будущий идеолог национал-социализма и основоположник философии о непонятном мифе XX века.

Не знаю, насколько верна эта историческая справка, но

на восточную политику, помимо основного, «философски»-оправданного преступления, спроецировалась и озлобленная, маленькая мещанская душа инспиратора и проповедника тысячелетнего Райха.

Господин министр полагает, что для русского человека, прежде всего для мужика, первое в жизни удовольствие это пострадать. Господин министр даже где-то читал об этом, что русский народ страдание любит паче всего в жизни.

Второе, что ему совершенно необходимо, этому мужичку, это помолиться. По воскресным дням намазать бороду коровьим маслом и бить в церкви земные поклоны. Мужичок беспросветно глуп, у него нет никакого интереса ни к чему, кроме страданий и поклонов, ни к политике, ни к свободе, ни к черноземy, ни к нефти. Обо всем этом подумает за мужичка господин министр.

Это звучало бы как анекдот,—если бы в занятых областях это не проводилось в жизнь со всей жестокостью, на какую способна была нацистская Германия. Сейчас, оглядываясь назад на эти прошлые годы, кажется невероятным, что такие элементарно неумные, ограниченные люди могут стоять во главе целых государств, могут решать судьбы миллионов людей и направлять течение истории. Если это часто бывает так, то сколько трагедий еще ждет человечество...

На просторах России призраки прошлого руководили и одной и другой стороной. Если советское правительство жило в мире образов времен Карла Маркса и коммунистического Манифеста, то немецкое правительство видело русский народ таким, каким он был восемьдесят лет тому назад, когда Тургенев написал свои «Записки охотника».

С молниеносной быстротой захватив громадные пространства своего будущего «лебенсраума», руководство Германии, не ожидая окончания войны, приступило к осуществлению своей программы. Прежде всего, оно сочло необходимым обезопасить себя от появления возможных врагов, которые могли бы вступить в бой вместо поверженного коммунизма. Хорошо зная по собственному опыту силу национального самосознания народных масс, немцы, прежде всего, загарантировали себя от возможности появления русского национализма. Оказавшиеся по эту сторону миллионы людей нужно было сохранить в состоянии аморфной массы, не объединенной и не связанной ничем, даже сознанием общности своей судьбы. Точкой консолидации русских сил могла бы быть общая идея, чье-то имя или просто даже какой-то факт, событие общегосударственного значения. На это и наложено было, прежде всего, немецкое «табу». Газета, выходящая в Крыму, была запрещена в Смоленске, журнал, пе-

чатаемый в Пскове (переименованном в Плескау), в Харькове преследовался наравне с советскими листовками. Из тех же соображений в каждом русском городе главная улица была улицей Адольфа Гитлера, ведущая на аэродром — улицей Рихтхофена, дальше Геринга, Лея и так дальше. Строго запрещено было самое слово Россия и все от него производные.

Друзья в Смоленске показали мне песенник, изданный Восточным Министерством Розенберга. Мысль автора ясна, — крестьяне должны не только работать, но и петь, тем более, что с песней, говорят, они работают лучше. В небольшой сборник вошли как старые русские песни, так и переделки более популярных советских. Делалось это просто, не мудрствуя лукаво, — «Когда нас в бой пошлет великий Сталин» (красноармейцы в первые дни войны продолжали — «и первый маршал в плен нас поведет») после переделки выглядело — «Когда нас в бой пошлет великий Гитлер» и песня была готова. Старые песни с немецкой аккуратностью очищены от патриотических и национальных эмоций. Наша добрая старая «Волга, Волга», как известно по песне «русская река», очищена от всего, что могло бы вызвать чувство народной гордости и Волга превращалась то в «большую», то в «мощную», а то и просто в «глубокую», но только не русскую реку. «Сибирь, ведь, тоже русская земля» остроумно и находчиво переделано в «Сибирь, ведь, тоже славная земля».

Занятые области буквально затоплены потоками такой литературы. Издаются брошюры, газеты, журналы и среди них нет ни одного русского органа. Какие-то безграмотные зондерфюреры, на безграмотном русском языке из кожи лезут, чтобы доказать превосходство немецкого народа-господина над остальными народами мира и, уж прежде всего, конечно, над русским народом, который должен быть благодарен и признателен за то, что фюрер берется решить его судьбу.

Вместо русского народа, или хотя бы народов России, в этой прессе фигурируют только безымянные «народы востока», бесформенные и сыпучие, как азиатский песок, массы, темные этнографические группы.

Политика низведения русского народа на степень подножья для построения великой германской империи проводилась неукоснительно и повсеместно. Если в самой Германии, в первые же дни войны, была запрещена русская музыка и русская литература, строже всего Достоевский и Гумилев, то в занятых областях, например, в Орле, дошло до запрещения «Войны и мира» Толстого. Какой-то мелкоуездный держиморда нашел, что книга слишком патриотична и

несозвучна переживаемым дням. Чиновники уже упомянутого Восточного Министерства откровенно заявляли, что русский национализм для Германии сейчас более опасен и нежелателен, чем коммунизм, который считался уже разбитым непоправимо. С национализмом же, может быть, еще только придется бороться.

Там же в Смоленске я видел «Народный календарь», — тоже издание Розенберга. В отделе «Знаменательных дат» ни одной из тысячелетней истории России, — ни года крещения Руси, ни освобождения от татарского ига (чтобы не заронить, очевидно, у читателей нездоровых мыслей), ни слова ни о Петре Великом ни об Отечественной войне. Зато не пропущено ничего из истории немецкой, особенно с момента прихода к власти национал-социалистической партии. На полях календаря старательно отмечены дни рождения не только китов партии, но и бонз поменьше. Русские крестьяне должны были знать, когда родился и чем занимался в своей жизни, например, Хорст Вессель.

В обязательном для всех газет отделе «Носители европейской культуры» за три года так и не дождались своей очереди ни Менделеев, ни Лобачевский, ни Павлов, как и вообще ни один русский. Но какие-то, никому неведомые Фрицы Мюллеры раздувались на этих страницах до масштабов Архимеда и Галлилея. Вообще, у читателя постепенно должно было создаться впечатление, что не будь Германии, человечество еще до сих пор бегало бы на четвереньках. Читатель читал об этом, понятное дело, не верил, чесал затылок и, после тягостных раздумий, нередко подавался в лес.

Читатель, только что освободившийся от обязательной отвратительной советской жвачки, с великой жадностью накидывался на новое слово. Какая благодарная это была почва для здоровых хороших идей. А идеи были розенберговские. Перед немецкой пропагандой стояла задача, убедить русский народ в том, что в его прошлом не только при большевиках, но и при царях, и при боярах, и при удельных князьях только и было, что беспросветная темь да томительное ожидание часа, когда культурный и передовой германский народ возьмет бразды правления над ним в свои руки.

Один из руководителей пропаганды, какой-то остзейский барон, увековечил эту мысль даже в стихах. Нарисовав всю беспросветность нашей истории, он углубился в анализ переживаемых дней. Для них поэт нашел незаурядные и очень небанальные в русской поэзии рифмы:

... «Вот идут сейчас варяги
Слышны ихни громки шаги...».

и сразу же после этого припев (по замыслу автора стихотворение должно было стать популярной русской песенкой):

«Прыгай, русский мужичок,
От Москва до Таганрог...».

Прыгай, конечно, от радости, что варяги, наконец, пришли. Пример культуртрегерства был столь заразителен, что даже румыны уверяли, тоже в печати и по радио, что именно они в свое время принесли в Россию первый луч просвещения. Оказывается, один из преподавателей малолетнего царя Петра (нужно же случиться такому несчастью!), оказался румыном.

Все это выглядит, как карикатура, но это было жестокой действительностью. По Берлину разгуливали с большой важностью немцы, губернаторы Вологды, Саратова, Перми, так никогда и не взятых немецкой армией, на берлинских же улицах мелькали особые коричневые формы начальников почтовых отделений города Москвы, лихорадочно вербовались служащие в предприятия для эксплуатации Кавказа и Бакинской нефти.

Фюрер сидел в те дни в своей Ставке и глубокомысленно переправлял красным карандашом границы наделов-поместий для отличившихся в войне за будущее Германии (шутка ли, на тысячу лет!) офицеров и солдат частей СС. Кто получил «Ритер-крейц», тому надел поменьше, а кто к нему еще и дубовые листья, тому побольше и получше, где-нибудь на Дону или в Крыму. Впрочем, в Крыму нельзя, Крым фюрер подарил своему другу Лею в пользу немецкого рабочего фронта.

Решающим моментом в походе на восток был аграрный вопрос. Крестьянство не только способно было много простить, но и пошло бы за тем, кто дал ему землю. Национальное самосознание народа пришло бы позднее. Первым стремлением было иметь хлеб. Немцы отказали и в этом.

Немецкие оккупационные власти переименовали колхозы в общинные дворы, оставив все остальное по-старому. Это переименование было преподнесено, как величайшая земельная реформа, когда-либо проведенная на российской земле. По мнению Розенберга, этим можно было обмануть народ. Оставить же колхозы немцы решили потому, что нет и не может быть более совершенного средства для выкачивания хлеба из голодной деревни. Большевики занимались этим с первых дней коллективизации и умудрялись грабить деревню до того чисто, что крестьянин, продающий хлеб государству по полторы копейки за кило, принужден был ходить в город покупать это же кило от государства по полтора руб-

ля, то есть, платить ровно в сто раз дороже. Как было не соблазниться!

Сохранение колхозов немцами дало повод оставшейся в подполье в занятых областях советской агентуре поднять целую пропагандную кампанию, — какие же немцы освободители, если колхозы не распускают, ведь, это же самое страшное рабство, какое можно только придумать.

Немцы же руководствовались формулой, — если народ столько лет терпел большевиков, то почему он не будет терпеть их...

Большие и маленькие фюреры в занятых областях России с усердием автоматов копали могилу для своего фатерланда. В наши планы не входило отвлекать их от этого занятия, но мы, русские антибольшевики, должны были успеть, к моменту краха Германии, стать большой и организованной силой, чтобы начать борьбу за подлинное освобождение от коммунизма.

✱

Органическую жизнь не смог убить убегающий в панике на восток коммунизм, не смог ее раздавить и тяжелый кованый немецкий сапог. По мере того, как фронт удалялся на восток, в занятых областях стали пробиваться первые робкие ростки жизни. Стала завязываться ткань, хоть и ампутированной со всех оторон, общественности: организовываться самоуправления сел и городов, с единственной целью заботы об оставшихся без крошки хлеба и крова над головой согражданах и односельчанах. Самоуправлениями устраивались детские ясли, налаживалось медицинское обслуживание населения, создавались школы, принимались меры, чтобы спасти от гибели оказавшихся беспризорными тысяч и тысяч детей. Очень скоро стали выходить газеты, хотя и немецкие, говорящие, главным образом, о непобедимой германской армии и надчеловеческой природе немецкого народа, но печатающие, кроме этого, и сводки военных событий. В народе, освобожденном от удушливых, парализующих все живое забот большевистской партии и правительства и еще не разобравшемся в намерениях завоевателя, готовы были включиться в восстановительную работу такие жизненные силы, каких трудно было и ожидать. В первые дни было проявлено столько энергии, трудолюбия, доброй воли к построению новой жизни без большевиков, что через год-два эти области было бы трудно узнать. Все это могло бы быть, если бы не «освободители немцы», торопившиеся надеть вместо спавшего коммунистического ярма свое...

Кадры нашей организаци, — число переброшенных на родную землю можно было считать уже сотнями, — устремились, прежде всего, на восстановительную работу. Они помогали организовывать самоуправления в целом ряде городов, как в Смоленске, Вязьме и других, создавали группы добровольцев рабочих для очистки и приведения в жилой вид полуразрушенных домов, оказывали помощь самым обездоленным и нуждающимся семьям, личным примером заражали других и в этой работе все глубже и глубже врастали в родную почву.

Технически врасти в новую жизнь было очень трудно. В небольшом городке и, тем более в селе, появление нового человека вызывает подозрение и у местного населения и, еще того хуже, у немецких властей. Только жертвенной работой, самоотверженным, увлекающим других трудом на восстановлении бытовой стороны жизни можно было завоевать себе право быть признанным нужным, желанным, необходимым человеком у своих соотечественников. С немецкими властями было сложнее. Восстановление жизни интересовало их лишь постольку, поскольку это могло быть полезно им. Облегчало положение одно — пришлого элемента было очень много. Это были солдаты из разбитых частей Красной Армии, после долгих скитаний в лесах поодиночке появляющиеся в населенных пунктах, это были военнопленные, сумевшие бежать из временных прифронтовых лагерей и из колонн, под охраной немецких солдат следовавших на запад. Были и беженцы из прифронтовой полосы, осторожности ради стремившиеся осесть где-нибудь подальше от взоров «любимого правительства». Обилие пришлого элемента облегчало возможность вынырнуть из небытия и начать осуществление основных задач, решить которые эта молодежь пришла сюда: искать и готовить людей для организации большого народного освободительного антикоммунистического движения.

Реакция советской власти на первые проблески зарождающейся жизни была характерна и показательна: с этого времени острие коммунистической ненависти было направлено не на завоевателей немцев, а вот на этих русских людей, которые посмели не только дышать без указаний советского правительства, но еще и проявлять какую-то инициативу. На этих подвижников, ежеминутно рискующих попасть за чрезмерный организаторский пыл и под немецкий пресс, и вылилась вся желчь советской пропаганды: «предатели», «враги народа», «немецкие наемники» — эти эпитеты не сходили со страниц советских фронтовых газет и листовок.

Высокое начальство НКВД, убегая от приближающегося с запада фронта, оставляло на местах свою мелкую агентуру. Эти люди быстрее и, главное, смелее всех остальных шли на сотрудничество с немцами, — занимали места переводчиков в комендатурах, сельских старост, охотнее всего шли в полицию и особенно на службу в Гестапо. Предательством, провокацией, бесчеловечностью обращения с русским населением, особенно с проявляющими себя антибольшевистски настроенными элементами, агенты НКВД делали быструю и большую карьеру у немцев. Наши друзья утверждали, что следователем Гестапо можно встретить не только мелкого сотрудника, но и ответственного работника НКВД. Начавший осмысливать себя идейно русский антибольшевизм получал от этих людей жестокие удары в спину. Никогда и никем не будет подсчитано, сколько десятков тысяч человек сталинское НКВД прикончило руками гитлеровского Гестапо. Одного бездоказательного доноса, что вот такой-то является националистом и патриотом, было достаточно, чтобы такой-то навсегда исчез в тюрьме или концлагере. Можно представить, какие возможности это открывало перед агентурой НКВД. Она сводила счеты со своими врагами, оставшиеся несведенными еще от довоенного времени.

Члены нашей организации являлись в этом отношении самой уязвимой мишенью. У них было еще одно не защищенное место — они были из эмиграции. Одно это уже расценивалось немцами, как тягчайшее преступление. За первые месяцы, пока люди не ассимилировались настолько, что, перебираясь из села в село, из города в город, не смогли выдавать себя за советских старожилов, очень многие из них месяцами сидели в тюрьмах и лагерях. Несколько человек было замучено на допросах или расстреляно. Но их воля к борьбе, стремление к поставленным целям были беспредельны и не было случая, чтобы хоть кто-нибудь из них отступил перед стоящими трудностями. Дело с ассимиляцией шло так быстро, что позднее, когда немцы стали силой вывозить молодежь на работу в Германию, в качестве советских людей было привезено и несколько человек наших друзей. Еще раньше какая-то часть из молодежи, задержанная в занятых областях, как беглые красноармейцы, была направлена в лагери военнопленных, попадая, таким образом, в самую гущу нужных людей.

По прошествии первых месяцев мы получили известия с родины, что ряды организации пополняются отборными людьми из вчерашних советских граждан. С течением времени приход нового пополнения нарастал и ускорялся в та-

кой степени, что в середине 1942 года число вновь принятых в организацию членов уже в несколько раз превышало число старых членов, пришедших туда. Приехав в Россию, я убедился в этом сам.

✱

Дни пребывания на родине летят один за другим. Все это время, с раннего утра до поздней ночи, а иногда и опять до утра, я среди новых и новых людей и членов организации, ведущих большую ответственную политическую, полную риска работу, и людей близких к нам, и людей, не подозревающих об организации вообще. В дни пребывания в Смоленске, я познакомился с большинством интеллигенции города, бывал в семьях рабочих, в театрах и детских яслях, в ближайших селах и в редакции выходящей здесь газеты. Русское радушие и гостеприимство, невытравленные волчьими законами жизни в условиях строющегося коммунизма, доставляют большую радость и оказывают мне немалую услугу. Приглашают к себе домой люди, с которыми познакомишься даже случайно на улице. Меня никто не принимает за эмигранта. Как-то, в компании молодежи, засидевшейся до раннего утра, зашел разговор о жизни заграницей до войны. Я сделал какие-то замечания по этому поводу. Хозяин дома с большим недоверием посмотрел в мою сторону:

— Да Вы что, не бывали ли там случайно?

— Сам не бывал, а брат рассказывал много о заграница. Он жил там больше двадцати лет.

— Ну, вот это правильно, — одобрил хозяин мою искренность. — А то сейчас люди такие себе автобиографии сочиняют, не приведи Господи . . .

На этом навсегда и покончили разговоры о моем прошлом.

С особенным интересом и особенно часто я бываю в селах. Области среднего участка фронта еще не были переданы в административное управление Восточного министерства Розенберга и процесс ограбления их, прежде всего крестьянства, не был еще поднят на ту высоту, на какую поднял его на Украйне экономический диктатор и гауляйтер Кох. В областях, находящихся в ведении военных властей, население не голодало, впрочем крестьянство не голодало и на Украйне. В технике ограбления села немцы, по сравнению с «рабоче-крестьянской властью», были сущими дилетантами. Коровенка, уведенная хозяином из крестьянского двора на опушку ближайшего леса (дальше нель-

зя, потому что заберут партизаны), — оставалась в хозяйстве до возвращения большевиков. Зерно ссыпанное в сухом колодце или просто в яме вырытой во дворе не могли обнаружить никакие немецкие фуражиры и хозяйственники. Поэтому в годы оккупации хлеб перестал быть в селе редкой ценностью и в каждом селе, если не в каждом дворе, все годы оккупации дымились самогонные аппараты. Об экономическом положении села говорят и такие факты. В советских газетах одно время писалось о больших, в несколько сот подвод, обозах хлеба, переправленных через фронт из занятых немцами областей для голодающего Ленинграда. Само собой понятно, что эти обозы были результатом стараний особо засланных в немецкий тыл отрядов НКВД, а не добровольным пожертвованием крестьян. После возвращения в эти области Красной армии, вернувшиеся власти потребовали с села все зерно, не уплаченное им советскому государству за годы оккупации. И зерно это было дано...

Психологический гнет, который приносила с собой всюду немецкая оккупация не казался таким тяжелым в захваченных немцами областях России. Этот гнет мало чем отличался от нормального состояния при советской власти и если отличался, то не всегда в пользу последней. Чтобы яснее представить разницу между двумя оккупациями — фашистской и коммунистической — необходимо вскрыть идейную сущность и практику одного и другого, т. е. фашизма и коммунизма. Фашизм характеризуется анекдотом, рассказываемым в довоенной Европе:

Многочисленная семья Муссолини сидит за обеденным столом. Вдруг самый младший сын, Романо, обращается к отцу с вопросом:

— Папа, что такое фашизм?

Диктатор-отец посмотрел строго на сына и сказал:

— Ешь и молчи.

В трех коротких словах заключались одновременно и правила поведения за столом и ответ на вопрос.

Ешь и молчи — это и есть фашизм. Молчи и не думай, за тебя думает вождь. Разумеется при этом, что об еде беспокоиться тоже не нужно — вождь подумает и об этом. И, действительно, если присмотреться к жизни в нацистской Германии, поскольку она является воплощением фашизма, в ней никто из немцев не голодал. Трудно было только тем, кто не мог молчать, хотел самостоятельно думать и говорить. В данном случае, мы вспоминаем опять о лице фашизма, обращенном к немецкому народу.

Для определения другой разновидности фашизма —

красного, то есть коммунизма, двух слов было бы не достаточно, да и самые слова должны быть другими. Так при коммунизме нельзя молчать. Молчание там расценивается как вражеская вылазка. Логика простая — если человек молчит, значит, он о чем-то думает и очевидно такое, что это говорить нельзя. Значит это враг, а с врагами... ну, и так далее. Там нельзя молчать — нужно все время ликовать, торжествовать, благодарить «вождя и учителя», партию и правительство за безоблачное счастье, за непрерывную радость созданной ими жизни. Формула определения коммунизма, гораздо сложнее, чем фашизма — работай до изнеможения, голодай с восторгом, торжествуй и благодари. Благодарить, прославляя вождя за мудрость, доброту и заботу, должны все и за все. Учащаяся молодежь должна ликовать и благодарить, когда ее введением платы за учение, выкидывают из университета к фабричному станку, ликовать и благодарить должны женщины, когда правительство сокращает отпуск, полагающийся им по беременности, ликовать и благодарить должны рабочие, когда указом правительства их ставят в положение более горькое и бесправное, чем положение китайского кули, ликовать и благодарить должна вся страна, когда партия и правительство осчастливят ее новым займом, в результате которого двухнедельный, а иногда и месячный заработок трудящихся, государство перекладывает в свой карман..

Фашистское «ешь» не имело автоматического действия в занятых областях, ешь, если раздобудешь, если, как тогда говорили, организуешь, но благодарить, что тебя оккупировали не нужно. Насчет твоих чувств никто не строит никаких иллюзий, только не проявляй их так, чтобы это мешало установленному порядку. Это было большой свободой по сравнению с жизнью в условиях строющегося коммунизма. И за эту свободу люди в занятых областях, готовы были нести многие трудности и невзгоды.. В пропагандную розенберговскую дурь верить было не обязательно, да едва ли и сами немцы, особенно бывшие в России, ожидали от нее каких-либо результатов.

*

Сегодня воскресенье. Мы с Георгием Сергеевичем и с недавно вошедшим в организацию приехавшим на несколько дней в Смоленск, агрономом Митей, идем в церковь. Даже в этой застывшей жизни воскресенье — особый день. Кажется, по-особому греет солнышко, приветливее улыбки прохожих, радостнее на душе.

Длинной каменной лестницей поднимаемся к стоящему на горе храму. Мы пришли до начала службы. Старичок, смо-

ленский старожил, охотно показывает нам достопримечательности и рассказывает о прошлом знаменитого на всю Россию собора. Он показывает, где стоял Наполеон, какую икону несли с собой ополченцы в Отечественную войну 1812 года, в подробностях рассказывает, что и кому сказал Бонапарт при виде иконостаса и т. д.

Народ собирается слабо. Две-три старушки, несколько человек детей, крестьянин, постоявший в приходе и ушедший еще до начала службы. Пустующий великолепный храм производит тягостное впечатление. Постояв полчаса, выходим и мы.

— Скажи, Георгий Сергеевич, это что же, всегда так? — спрашиваю я.

Он, по-видимому, думает о том же самом.

— Нет, не всегда, бывает и больше народа, но это только или в большие праздники или тогда, когда происходит что-нибудь особенное. Неделю тому назад хоронили членов здешней театральной труппы, убитых партизанами. Тогда было несколько тысяч человек. А в обыкновенное воскресенье — как сегодня.

— Что же это, по-твоему, — результаты антирелигиозной пропаганды?

— Не только, — говорит он. — Не только, хотя сказывается, конечно, и она. Видишь в чем дело, церковь наша здесь, или вернее сказать духовенство, стоит перед большими и трудными задачами. Здесь, в России, нужны сейчас не служители, а проповедники, миссионеры, может быть, такие, как в первые века христианства, а их пока нет... Священники должны пойти в народ, своею жизнью, своим примером звать людей, увлекать их, а без этого оживление религиозной жизни представить трудно... Ну, вот наш батюшка. Он двадцать лет скрывался при большевиках, работал батраком где-то в совхозе. Ему бы на покой куда-нибудь, который он вполне заслужил и годами своими, и страданиями, а заменить его некому... Роль безбожной большевистской пропаганды не нужно преувеличивать. Здесь у нас, в городе, на окраине, у какого-то бывшего учителя собирается по вечерам молодежь. Читают, говорят, вслух Евангелие, поют духовные песни, кажется, собственного сочинения. И, говорят, приходит всё больше и больше народа...

Мы обходим вокруг храма. Со стороны алтаря гора кончается почти обрывом. По отвесному ее скату цепляются редкие кустики. Далеко внизу, среди зелени, рассыпаны над глубокими оврагами, пересекающими весь склон противоположной горы, отдельные деревянные домики — окраины города. Вдали серебряной змейкой вьется Днепр.

Мы опускаемся на теплую, нагретую солнцем траву и долго молча курим, вероятно, все втроем думая об одном и том же...

— Чем же живут люди? — спрашиваю я. — На что надеются, о чем мечтают?

После долгого раздумья отвечает Митя:

— Ни на что не надеются и ни о чем не мечтают. Они боятся. Страх — это основное чувство в жизни. Боятся, что войну выиграют немцы, тогда еще неизвестно что, но будет что-то ужасное. Боятся, что победят большевики, что тогда будет — хорошо известно всем.

— Ну, всем-то чего бояться? Ведь не все же «работали на немцев», хотя это определение, как резинку, можно растягивать без конца во все стороны. Ведь не все же являются «врагами народа»...

— Да разве это важно, работал с немцами или не работал? — горячо возражает Митя. — Там оценка совсем другая. Там расстреливают людей за проснувшуюся мысль о свободе. Те, кто работал даже не с немцами, а вообще делал что-нибудь, будут уничтожены или сосланы в концлагерь. А остальным, то есть тем, кому удастся доказать, что они не только не работали, а даже боролись против немцев, придется до конца своей жизни влачить жалкое существование граждан второго сорта. Их вина заключается в том, что они два года жили без контроля любимой партии и правительства. Они о чем-то думали, а о чем — НКВД не знает, читали антисоветские книги и газеты, слушали антисоветскую пропаганду, пусть даже и такую глупую, как немецкая, видели людей из другого мира. Многие побывали даже сами заграницей. Это ведь самое страшное преступление, которое может совершить советский человек. Это не прощается и не забывается. Это значит до конца жизни оставаться под вечным подозрением, никогда не получить приличной работы, быть козлом отпущения в производстве, потерять свободу передвижения и многое, многое другое... Если поднимется когда-нибудь волна нового террора, это значит быть раньше других арестованным. Помню, в день убийства Кирова, — я на Дальнем Востоке тогда работал, — у нас на предприятии было арестовано сразу же 14 человек. Кирова убили в Ленинграде, за шесть тысяч километров от нас, а они явились первыми ответчиками. И так ведь было по всей стране...

Он глубоко затянулся папиросой и махнул рукой:

— Да что там говорить! Я ведь сам это недавно пережил. Вы знаете, я же недавно с той стороны.

— Знаю, Митя. А что пережили — не знаю. Расскажите, если не тяжело вспоминать.

Мы заворачиваем по новой козьей ножке, старательно умятая крупно нарезанную махорку. Георгий Сергеевич, единственный человек с огнем, передает нам по очереди зажигалку. Закурив, Митя обращается снова ко мне.

— Рассказ-то недолгий... Попали мы в окружение под Харьковом. Отбились от своей части, около взвода нас было, значит, человек тридцать, и никак, понимаете, не можем пробиться к своим. Фронт-то тогда знаете как передвигался — сегодня здесь, а завтра уже тридцать километров восточнее, догони его! Бродим по лесу, как затравленные волки, и куда ткнемся — всюду немцы. Убитыми мы потеряли почти половину. Наконец, как-то совсем неожиданно, однажды на рассвете оказались перед своими постами. Радости было — передать трудно. Пока были в передовой части несколько часов, не знали куда нас посадить и чем нас угостить... Но на этом радость и кончилась. К полдню приехала машина из штаба дивизии, забрали нас и уже под конвоем повезли прямой дорогой в Особый отдел... Два месяца таскали по допросам — как вышли? да что видели? да не агитировал ли кто за то, чтоб к немцам итти сдаваться?.. Друг мой, сержант, самый отчаянный человек был в нашей группе, благодаря ему, может быть, и вышли-то мы, наконец, к своим, — так с этих допросов и не вернулся. Расстреляли, говорят, его потом.

— За что? — вырывается у меня.

— Ну, статья известная, — за шпионаж и антисоветскую пропаганду. Рассказал, понимаете, о том, как крестьяне радуются, что немцы пришли. Места эти были только что заняты, немцы себя еще никак не показали, ну, а мужичье, оно ведь всюду одинаковое, — вот, говорят, слава Богу, теперь колхозам крышка! Это верно было всё, что он рассказал. Я же сам с ним по этим деревням бродил.

— Ну, а как же с вами было?

— Выпустили через два месяца. Но чувствую, что из-под подозрения не вышел. Командир роты так мне однажды и сказал: «Порченый, говорит, ты и верить тебе поэтому нельзя». — Как, говорю, порченый? — «Да так, говорит, чёрт тебя знает, какой ты там заразы не набрался, пока у немцев в тылу бродил»... Когда опять попали в окружение, на этот раз уж под Ростовом, для меня выбора не было — или в лоб или по лбу, или в плен к немцам, или в Особый отдел в НКВД. Второй раз уж не простили бы. Так и пришлось мне сделать выбор — ни немцев, ни большевиков, — заканчивает он с улыбкой. — Ну, а потом встретил ваших и теперь увидел, что сделал единственно правильное, что можно было сделать...

— Понимаешь, каков характер нашей работы здесь? — вступает молчавший до сих пор Георгий Сергеевич. —

Совсем не так, как мы представляли раньше. Нам не нужно никого ни в чем ни убеждать, ни спорить. То, что мы говорим, это и надежда и мечта, и здравый смысл, и, что не менее важно, единственный приемлемый выход и для каждого в отдельности и для всех вместе оставшихся здесь. Да и не только здесь, а и для тех, кто борется с той стороны фронта. Вон поговори с военнопленными, с теми, кто связан с партизанами, все твердят одно и то же: хорошо бы, чтоб ни немцев, ни большевиков!

— Но, Георгий Сергеевич, ведь это только настроения, — говорю я. — Чтобы они переросли в убеждение, а потом в действие, нужна большая работа, а это может сделать только организация. Понимаешь, от мечты до активного выступления еще очень далеко. Как обстоит дело с этой работой? И каким числом ты, — ну, ясно, хотя бы приблизительно — можешь определить количество людей, готовых к делу? Сколько групп? Сколько человек — повторяю, только приблизительно — считаешь ты сейчас в организации здесь?

— На этот вопрос трудно ответить. Группы возникают не только без нашего контроля, но часто и без нашего ведома. Думаю, что иногда, даже и не подозревая о нашем существовании... Я не рассказывал тебе, как недавно меня хотели завербовать в такую группу? Нет? Да что ты! А я думал — рассказывал. Вот происшествие было... Ехал я в Вязьму по командировке от самоуправления — соли нужно было достать для города. Еду поездом, знаешь, как теперь — раньше, наверное, три-четыре часа, а теперь сутки и больше. Рядом со мной на скамейке два паренька. Разговорились, конечно. Темы теперь, сам знаешь, какие, для первого знакомства особенно, больше насчет погоды, да красивых видов, которые из нашей двери открываются, — едем, конечно, в теплушке. Дальше — больше. Нельзя же всё время об облаках разговаривать, хотя здесь у народа еще с советских времен сохранилась привычка беседовать ни о чем. Проговоришь с человеком, особенно в поезде, три-четыре часа, а через пять минут можешь голову разбить — не вспомнишь, о чем же говорил? И у собеседника такое же впечатление остается... Однако, чувствую я, пареньки мои не из таких. Щупать меня начинают со всех сторон. Ничего, говорят, вот кончится война, немцы победят, лучше заживем. — Сомневаюсь, — говорю. — Отчего же это так? — спрашивают. — Да так, говорю, чего им о нас-то думать, они уж сначала о себе побеспокоятся и уж, конечно, за наш счет. — Так, так... — вздохнул один. Похоже на это, — поддакивает другой. Помолчали немного. Один опять начинает: — Ну, это еще не так определенно, может быть, и большевики победят, вот перемены там большие,

авось, и действительно легче будет. Одним словом, насели ребята, — не отобьешься. Потом, когда договорились, долго смеялись. Мы, говорят, во что бы то ни стало решили доконать: видим, человек подходящий... Оказалось, что состоят они в большой группе в одном из городков под Орлом. Кто их выдумал, так и не могли объяснить. Какой-то, говорят, военнопленный бывший парнишку ихнего увлек, литературу какую-то оставил. Они-то его не видели, пришли позднее. Ну, собрались, говорят, почитали, решили, что дело стоющее, они и сами тоже так думали, только выразить все это не умели. О том, что центр где-то заграницей, они знают. Связаться, говорят, еще не удалось, ну да это не убежит. Главное, работу начать. В группе их около двадцати человек, всё молодежь больше, да еще какие-то подгруппы по соседству. Сколько их, таких, возникших самотеком, о которых мы и представления не имеем, не могу тебе сказать, только думаю, что не мало. Но знаешь, что увлекает больше всего? Программа наша. Вот так бы, говорят, пожить, — крестьянину бы в собственность землю, рабочим бы вольный труд, а всем вместе бы, говорят, свободу.

— Эх, дураки немцы! — вздыхает Митя. — Если б они признали, что кроме ихней Германии и другие тоже жить хотят, плакал бы Иося бедный сейчас где-нибудь в Китае... если б мы его не поймали, конечно.

— Не признают, Митя, безнадежное дело.

— Да, что безнадежное, мы видим каждый день. И до чего же, понимаете, народ тупой, просто поверить трудно! ...Ведь губят-то они не только нас, о нас-то им, понятно, и думать противно, а ведь себя и свой народ тоже. Пилят, понимаете, сук, на котором...

— Могли бы повеситься, — перебивает Георгий Сергеевич.

— Почему же повеситься? Могли же ведь они с нами, русскими, сговориться? — пусть не трогают нас, и мы их не тронем. С большевизмом мы сейчас справимся и без их помощи. Махни только рукой, народ сбежится и с той стороны и с этой. Главное только, чтоб та сторона знала, что немцы не опасны больше, что родину защищать от них не надо, кончилась бы война гражданская в неделю.

— На сговор с ними надежды, по-моему, нет никакой, — полуутверждая, полуспрашивая, обращается Георгий Сергеевич ко мне и потом совсем уверенно: — надо готовиться, собирать силы и ждать, когда с Германией будет покончено.

О необходимости подготовки и ожидания разговор за эти дни заходит уже не в первый раз и не в первый раз уже при-

ходится отвечать на одни и те же вопросы. На этот раз их задает Митя.

— Но как же, всё-таки, это всё будет? Когда? Готовимся, собираем силы, набираем людей, а когда и где начнем по-настоящему действовать, когда включимся с этими силами в борьбу?

Я за эти дни уже несколько раз слышал, как на эти вопросы отвечает Георгий Сергеевич.

— Друг мой, этого никто не знает, — говорит он, — да и знать не может, так же, как никто не может сказать, как будут развиваться события. А ведь от этого все зависит. Сейчас мы даже не знаем, против кого мы будем бороться. За русский народ, за свободу — это ясно. А кто будет преграждать нам дорогу — неизвестно. Дорогу будет преграждать победитель, т. е. немцы или Сталин. Против кого-то из них нужно будет вести борьбу. Если победят немцы, они из нашей родины будут пытаться сделать колонию. Мы будем бороться против них. Мы организуем партизанщину такую, какой они еще не видели. Мы поставим террор, будем организовывать восстания, одним словом, будем их выгонять обратно в их проклятый фатерланд. Если победит Сталин, мы будет бороться против него. Будем бороться за освобождение от рабства, может быть, еще более страшного, чем было бы немецкое. Но и для того и для другого случая мы должны быть сильными. Нужно иметь, создать, воспитать десятки тысяч, сотни тысяч борцов, объединенных одной идеей, одним устремлением, чтобы в нужный момент в Смоленске, в Крыму, в Новочёркасске и Пскове и где-то там в Европе, куда не дойдет Красная Армия, и в глубоком советском тылу — в этот день люди встали, взялись за оружие, подняли народ и повели его за собой. В нашем распоряжении будет очень немного времени, может быть, недели, может быть дни, а может быть, и того меньше... Будут ли у нас союзники в этой борьбе? Думаю, что будут. Думаю, что весь некоммунистический европейский мир будет сочувствовать и помогать нам потому, что наша борьба будет борьбой и за его свободу. Но рассчитывать нужно только на свои силы. Другие могут нам помочь или помешать, но нашу грязь никто за нас убирать не будет, не захочет, да и не сможет. Вся трудность нашей борьбы и заключается в том, что коммунизм может быть разрушен только нашими, русскими руками и побежден только нашими русскими жертвами.

Разговор затянулся. Кончилась давно и служба, около церкви нет ни одного человека. На улицах редкие прохожие торопливо спешат по своим делам.

*

О партизанском движении в занятых немцами областях России в минувшей войне существует большая литература. О жизни и борьбе партизан пишутся романы, стихи и театральные пьесы, ставятся фильмы, передается множество устных рассказов. Но так как первоисточником всех сведений о партизанском движении является советская пропаганда и литература, а в Советском Союзе и художественные произведения — только разновидность пропагандных листовок, то подлинное лицо этого движения представлено таким, каким хотелось бы его видеть советскому правительству, а не таким, каким оно было на самом деле. Партизан, нарисованной советскими красками картины, — борец за советский строй, за коммунизм, за идеалы партии Ленина-Сталина. Это ни в малой степени не соответствует действительности. В непосредственной близости эта картина рисуется совсем в другом виде. Более близкое знакомство с партизанским движением возможно было только на месте его действия, в занятых немцами областях. Там, в прямом и переносном смысле слов, опушка партизанского леса начиналась у околицы сел и городов, там в лес из города и в город из леса люди переходили, как соседи из двора во двор.

Партизанское движение, то есть, борьба населения против оккупационных властей и оккупационной армии в России, носило своеобразный характер. Оно включало в себя все элементы созданного потом во всех странах запада «движения сопротивления» и имело еще свои специфические черты. На западе борьба сводилась чаще всего к саботажу, вредительству, реже к индивидуальному террору, направленному против немцев. В России же, благодаря трудно контролируемым большим пространствам, лесам, почти непроходимым, как Брянские, сама природа давала возможность организации больших групп борцов, иногда самым серьезным образом влияющих на ход событий на фронте. Так например, взятие Киева Красной Армией в начале ноября 1943 года было произведено с помощью крупных партизанских соединений, атаковавших тыл немецкой обороны, облегчивших регулярным частям переправу на правый берег Днепра и расстроившим пути сообщения и связь обороняющих Киев групп немцев с их тылом. В этой операции под командованием Ковпака, сейчас реорганизующего албанскую армию, участвовало несколько десятков тысяч партизан. Их роль была столь же действенной и позднее, когда фронт докатился до западных окраин СССР — Белоруссии и западной Украины.

Более мелкие операции, как перерыв путей сообщений, взрывы мостов и железнодорожных станций, нападение на

отдельные немецкие небольшие отряды, начались уже осенью 1941 года.

Партизанское движение было в значительной степени результатом немецкой политики в занятых областях. Как немцы сами помогли Сталину организовать сопротивление на фронте, точно так же и возникновение партизанщины дело, главным образом, их рук.

Состав партизанских отрядов складывался из трех элементов. Это были солдаты Красной Армии из разбитых и взятых в плен регулярных частей, лишенные возможности из-за быстрого передвижения фронта присоединиться к своим, да и не особенно стремившиеся к этому присоединению, так как, при особенно остром желании, выйти, все-таки, было можно. Как настроение кадровой армии, фактически отказавшейся от борьбы в первые месяцы войны, настроение и этих небольших групп и одиночек, бродивших по лесам, было антисоветским. Они боялись выходить из леса только потому, что ужасы, творившиеся в лагерях военнопленных, где немцы голодом и тифом убивали перешедших к ним людей, были широко известны и с этой и с той стороны.

Второй элемент — это жители занятых областей, больше жители городов, чем сел, бегущие от немецкого террора и вводимых немцами порядков. Настроения этой группы были еще более антисоветскими. Уж, тот факт, что эти люди с риском иногда для жизни отказались следовать за убегающей властью, говорит сам за себя. В лес они уходили не потому, что возлюбили неожиданно советское правительство, а просто потому, что нужно было скрываться от немцев. Спасая жизнь от террора завоевателей, они покидали насиженнные места, часто не ставя еще себе целью борьбу с ними.

Третья группа — это переброшенные с той стороны небольшие отряды молодежи, прошедшие специальную школу партизанской борьбы. В ней было много учащихся высших учебных заведений, особенно Ленинграда. Студенчество в массе было настроено также антисоветски и молодежь влекла в партизанскую борьбу любовь к родине, романтика и риск партизанщины и желание быть подальше от взглядов правительства и НКВД, с началом войны усиливших опять террор. Позднее многие из этой молодежи были активными участниками Русского Освободительного Движения.

Многие тысячи бродивших по лесам людей советскому правительству скоро удалось прибрать к рукам. В этом по-

могли ему и специально оставленные в занятых областях для организации партизанской борьбы партийные работники и специально присланные эмиссары.

Партизанская борьба возможна только там, где она поддерживается населением. В противном случае она умирает или перерождается в бандитизм. Крестьяне не поддерживали бродячий элемент в лесу ни продовольствием, что было самым важным, ни оружием, которого они не имели сами. Людям в лесу нужно было есть. Оставалась единственная возможность — доставать продовольствие в деревне. Это можно было сделать только грабежом. Крестьяне оказывали сопротивление нередко и с оружием в руках, полученным позднее от немцев. Почти в каждом селе создавались отряды самообороны для защиты от партизанских налетов.

Советское правительство прекрасно использовало этот момент. Оно накормило партизан и вооружило их. Но прежде чем послать в партизанские леса хлеб и патроны, оно послало туда политических комиссаров и представителей Особых Отделов НКВД. Вся эта многотысячная масса, по столь разным причинам оказавшаяся в лесу, но вся настроенная недвусмысленно антисоветски, была разбита на небольшие отряды, бригады, которые и были взяты в такие ежовые рукавицы, каких не было и в регулярной Красной Армии на «большой земле».

В советском представлении партизанская жизнь полна соблазнов. Партизан ходит все время по краю пропасти, не в том смысле, что он все время подвержен опасности со стороны немцев, это само собой разумеется, а в том, что, находясь в лесу, он вне досягаемости законов человеческих, в том числе и советских. Он соприкасается с миром несоветским, слышит пропаганду, видит, как живет население, прежде всего крестьяне, и может делать из своих наблюдений самые неожиданные выводы. Он, фактически, имеет возможность в любой момент покинуть отряд и нырнуть в окружающую жизнь, уйдя из рук НКВД. Из-за всего этого взаимная слежка, недоверие, доносы друг на друга были развиты в партизанских отрядах в такой степени, что, даже по сравнению с нормальной советской жизнью, жизнь в лесу была иногда невыносимой. Представитель Особого Отдела НКВД — это царь и бог в отряде. Он соединяет в одном лице и следователя, и прокурора, и судью и исполнителя. Независимо от состава преступления, наказание, доступное ему, почти единственное — смерть. Не трудно представить, какой произвол, какое разнузданное самоуправство царили там, как там сводились личные счеты, в какие формы выливалась личная антипатия и неприязнь.

Партизанский лес и оккупированные немцами города часто обменивались своими обитателями. Из города в лес шел тот, кому угрожала расправа Гестапо, насильный увоз на работу в Германию или, вообще, невозможность жить дальше под немецким террором. Из леса в город шел тот, кто риск нелегального существования под немецкими властями предпочитал самоуправству НКВД в отряде. Поэтому и партизаны были разные, в зависимости от того, в какой степени они находились под контролем и в распоряжении засланных представителей советской власти. Были партизаны, которые обстреливали с опушки леса работавших в поле крестьян, поджигали деревни за их «сотрудничество с немцами», пользуясь темнотой, выходили из леса и стреляли по огням крестного хода вокруг церкви во время Пасхальной заутрени. Но были и такие, у которых можно было найти убежище от немецкого преследования, получить помощь перебраться из города в город, без необходимых документов, и которые не накладывали за это никакой дани. Разница политических настроений, точнее сказать, разница степени контроля эмиссаров НКВД, в отдельных отрядах и группах партизан, была столь велика, что нередко в лесах происходили между ними настоящие большие бои.

Складывалось парадоксальное положение. Партизанские отряды, состоящие из антисоветски настроенных людей, должны были выполнять роль палачей по отношению к другим русским людям, так же точно антисоветски настроенным и, в той или иной степени, проявляющим эти настроения. Понятие — антисоветская деятельность и сотрудничество с врагом толковалось очень широко. «Врагом народа» и «предателем» считался каждый, кто оставался вне досягаемости НКВД и не принимал никакого участия в борьбе за возвращение советской власти. Советская пропаганда называла население «братьями и сестрами во временно занятых немцами областях». В этом названии было больше поэзии, чем истинного отношения советского правительства к оставшейся у немцев части народа. На практике советская политика рассматривала этих братьев и сестер, как лютых врагов. Против них, главным образом, чаще чем против немцев и направлено было оружие партизан.

Немцы пытались бороться с партизанщиной, но со свойственным им непониманием русских проблем — всегда не тем оружием. Только одним из военачальников был проделан интересный опыт, давший самые положительные результаты.

В восточной части Брянских лесов, в самом центре раз-

мещения партизанских сил, немцы дали русскому населению возможность организовать широкое самоуправление и самооборону. Дали оружие, боеприпасы, оставили несколько своих офицеров для связи, в центре области, городке Локоть и, обложив население налогом, ушли, оставив область с полуторамиллионом жителей без поддержки, защиты, но и без своего контроля. Под руководством сначала сов. инженера Воскобойникова, а после его смерти инженера Каминского, Локотская область, или как ее потом в шутку называли, Локотская республика, зажила самостоятельной жизнью. Созданными русскими властями была произведена земельная реформа, организована сеть школ с программой, выработанной самими русскими, возрожден дореволюционный гражданский суд, налажен выпуск газет без всякого вмешательства со стороны немцев. Армия Локотя состояла из 12-ти тысяч прекрасно вооруженных и обученных людей. В области под руководством Локотского самоуправления цвела жизнь так, как она могла бы зацвести во всей остальной России. Борьба с партизанами, брошенными сначала их руководителями на оставленные немцами места, кончилась очень быстро и очень просто, — большая часть партизанских отрядов с оружием и боеприпасами перешла на сторону малых и слабых сил, сформированных из самого населения, сначала из отрядов крестьянской самообороны.

Весной 1942 года партизанское движение отмечало большой подъем во всех занятых немцами областях, только в Локотской области оно заглохло совершенно. Локотская республика была за все время войны самым тихим и спокойным местом во всех занятых немцами областях России. Так продолжалось до самого конца, до отхода немецкой армии на запад. Когда фронт докатился и до Локотя, большая часть населения вместе с армией двинулась на запад за немцами.

Весной 1942 года немцы легализировали положение области, признав за Каминским некоторые суверенные права. Суверенность была не шуточная, хотя и проявлялась в те жестокие дни очень своеобразно.

Один из группы наших друзей, работавших в Локоте, рассказывал о таком случае. Летом 1943 года два немца, зондерфюрер и унтер-офицер, были пойманы русской полицией во время грабежа одиноко стоящей мельницы. Оказавший сопротивление хозяин был ими убит. Каминский устроил над убийцами суд, который и приговорил обоих преступников к смертной казни. Немецкие офицеры связи сообщили об этом сразу же командованию фронта. Оттуда

полетели телеграммы о том, что русские власти превышают свои права, что суд над военнослужащими немецкой армии вне компетенции самоуправления Локотя. Каминский настаивал на своем, ссылаясь на то, что в Локоте суд независим и что по временно принятым военным законам области совершившие такое преступление, кто бы они ни были, подлежат именно такому наказанию. При помощи курьеров, телефонных разговоров и телеграмм спор продолжался два дня. Немцы, в конце концов, согласились, что виновники должны быть казнены, но ставили условием, что приговор им вынесет немецкий военно-полевой суд. Каминский отказал и в этом. По истечении указанного судом срока в городе на площади, на глазах у многотысячной толпы, состоящей из горожан и крестьян близлежащих сел, приговор был приведен в исполнение. Команда немецких солдат с офицером, которая должна была присутствовать при этом, опоздала и прибыла только на следующий день. Гитлер, вероятно, в самом тяжелом сне не мог увидеть ничего подобного. Никто из его сателлитов, ни даже Муссолини не мог бы решиться на подобный шаг.

За неоднократную демонстрацию своей суверенности, проявлявшуюся, впрочем, с русской точки зрения не всегда столь положительно, как в рассказанном случае, Каминский заплатил потом жизнью — он был убит немцами в дни Варшавского восстания.

Локотская республика все годы оккупации западной России немецкой армией была оазисом, где, без преувеличения можно сказать, била ключом жизнь, — возводились, хоть и немногочисленные, новые постройки, улучшались пути сообщения, росло и крепло индивидуальное крестьянское хозяйство, училась молодежь, граждане области жили под охраной законов и в уверенности в завтрашнем дне.

Во всем остальном русском мире, оккупированном гитлеровскими армиями, жизнь застыла с того момента, как по этим районам прокатился с запада на восток фронт. В городах и селах не было построено нигде ни одного дома, не поправлено ни одного моста, ненужного для обслуживания армии, ни из одной фабричной трубы не появился дым, если эта фабрика не обслуживала нужд все той же армии... В городах люди жили не только без уверенности в завтрашнем дне, но и в ближайших минутах. Два, а в некоторых местах и три года нормальная жизнь была скована полярным льдом, а над всей этой пустыней нищеты и бесправия, как злой призрак, висели развешанные по заборам и стенам сожженных, полуразвалившихся домов

метровые портреты человека в коричневой форме, с водянистыми глазами маниака. Внизу под портретами крупными буквами — «Гитлер освободитель».

*

Большую радость доставила мне встреча с друзьями, работающими в смоленском районе. Их трудно было узнать, так они все возмужали, окрепли, выросли. Многие из них, когда уходили два года тому назад сюда, были еще мальчиками, — теперь стали совсем взрослыми мужчинами. Осенью 41-го года их вела на родину суровая необходимость, скрашенная романтикой рискованных приключений. Теперь они были зрелыми и опытными политическими борцами.

Больше всех поразила меня Наташа. Она была всегда неусидчивой, неугомонной, очень подвижной и деятельной. Здесь я видел какой-то сгусток жизнерадостности, концентрат динамики и действий. Она была инициатором создания детского сада, в то же время работала в городской больнице, живя в семье многодетной вдовы, потерявшей мужа в первые годы войны, много времени уделяла и своим домашним. На афише, написанной от руки, вывешенной в городском самоуправлении, сообщающей о предстоящем через две недели спектакле любительской труппы (ставилась одна из пьес Островского), я не без изумления в числе участников прочел и ее новую фамилию. По словам Георгия Сергеевича, она только что вернулась из большой поездки в Орел — отвезла туда партию литературы, листовок и брошюр, на каждой из которых в правом верхнем углу жирным шрифтом стояло: «Ни немцев, ни большевиков! Мы зовем вас на борьбу за новую свободную Россию!» В случае, если бы листовки обнаружили немцы, это была бы верная смерть. Несмотря на близость Смоленска от Орла, путешествие было трудным: поезда ходили с перебоями, нередко большие расстояния приходилось итти пешком или проситься на редкие крестьянские подводы. Литература предназначалась для партизан и для солдат Красной Армии, которая со дня на день должна была занять Орел.

Я не могу смотреть на Наташу без изумления и восторга:

— Наташенька, откуда у тебя все это, как ты успеваешь и сил находишь столько? Детский сад, больница, в каком-то спектакле участвуешь...

Она смотрит большими глубокими глазами, из которых льется такая радость жизни, какой я никогда не видел у нее раньше:

— Не знаю, сама не понимаю. У меня такая жажда к делу, к жизни, к людям, что вот, видишь, всюду лезу и всюду как-то поспеваю. Наверное, потому что я теперь дома!

Она берет меня за руку, заглядывает в глаза и говорит:

— Оставайся здесь. Будем вместе работать, по вечерам гулять, смотреть на Днепр... Ты видел, какое здесь небо по вечерам?.. Оставайся.

Мне и самому часто приходит эта мысль — остаться, врасти вот в эту жизнь всеми корнями, засучить рукава, разгребать вот эти развалины, пустить в ход вот этот покосившийся трамвай, украсив первый пущенный вагон гирляндами зелени и цветов, писать в местной газете статьи под общим заголовком «Нужды нашего города»... Но вспоминаешь, что к развалинам никто не прикасается вот уже третий год, — всё, что способно работать, должно работать на немцев; трамвай так и не пойдет, потому что немцы не дадут тока; что в местной газете можно писать только о светлом германском гении, о мудрости Адольфа Гитлера, непобедимости его армий,.. — и оставаться уже не хочется. Да и там, на западе, будет большая и ответственная работа.

— Знаешь, что, Наташенька, поедем со мной обратно в Европу. Там тоже найдется дело.

— Что ты, что ты! — закидывая назад голову, смеется она от души. — Нет, нет, не хочу. Я приеду позднее. Хочу до последней, до самой последней возможности ходить вот по этой земле. До последней возможности! Но ты не бойся, к Сталину я не попаду...

К Сталину она не попала только благодаря чуду. Вскоре после нашей разлуки она была арестована агентами Гестапо на улице за то, что помогла военнопленному бежать из проходящей по улице колонны. Вместе с группой других членов организации она сидела в минской тюрьме. Перед тем как оставить город, немецкая охрана «чистила» тюрьму, т. е. расстреливала всех сидящих поголовно — и присужденных к какому-то сроку наказания и еще не вызванных на допрос. Друзьям удалось спастись, потому что их расстрелять не успели — немцы бежали, так как город уже обходили стороной передовые части Красной Армии. Небольшой группе удалось выломать дверь камеры и бежать вслед за немцами — в город уже входили советские патрули. Наташа была в этой группе. До того, как бежала охрана тюрьмы, они слышали шаги выводимых на расстрел людей. Среди них были тоже друзья и члены организации.

Слышно было, как они шли по коридору, спускались по лестнице, шли в последний путь по этой горькой земле, которую они так любили...

Глава VI

Опять в Берлине

По возвращении из России так трудно было погружаться в атмосферу ожидания, в которой проходила наша берлинская жизнь. За мое отсутствие не произошло ничего нового и не наметилось никаких сдвигов в нашем русском деле. Власов все еще жил в Далеме и все еще в полузаключении. Мне удавалось попадать к нему только изредка и то всякий раз под видом какого-нибудь дела, или к нему или к кому-нибудь из его окружения Это было не так трудно. Наши отношения известны были моему начальству и это облегчало мне возможность навещать узника. Поговорить по душам удавалось редко. Часто приезжали какие-то немцы, иногда присутствовали мне незнакомые русские.

Не было никакого движения в сторону дальнейшего разворота дела в целом, и кроме «Зари», работала полным ходом только школа пропагандистов и подготовки офицерского состава в Дабендорфе. Я изредка ездил туда, чаще с тех пор, как начальником школы был назначен генерал Федор Иванович Трухин. Поехал я туда через два дня по возвращении из России. Кстати, Старший просил передать Трухину, чтобы он приехал в ближайшее воскресенье в город на совещание Исполнительного Бюро, — куда генерал Трухин был кооптирован недавно четвертым членом.

Дабендорф километрах в тридцати южнее Берлина. Ехать нужно с пересадкой в Рангсдорфе. Времени занимает это много и я не мог ездить часто только потому, что каждая поездка отнимала, по крайней мере, полдня.

Километрах в трех от станции железной дороги, за селом, на опушке леса, окруженные колючей проволокой несколько бараков. Перед входом мачта, — на которой андре-

евский флаг — голубой косой крест на белом фоне, он принят был недавно, как флаг Русского Освободительного движения. У входа стоит часовой немец. Нужно записаться в книге посетителей. Охрана здесь постоянная и так как они знают, что я приезжаю к начальнику лагеря и часто видят меня с ним, формальности с пропуском занимают мало времени.

Я рассказываю Трухину о впечатлениях своей поездки, о встрече с друзьями. Тех из них, которые бывали на несколько дней в Берлине и тех, кто был с ним в лагере Вустрау, он знает лично.

Мы с ним выходим из его небольшой комнаты и по чистой, усыпанной песком дорожке идем вдоль бараков, — ему нужно за чем-то зайти в комендатуру. Комендант и весь административный аппарат лагеря — немцы.

Федор Иванович от высоченного своего роста, он почти так же высок как и Власов, немножко сутулится на ходу. Когда идешь с ним рядом, его голос всегда слышен справа сверху. И голос его и выправка такие, какие даются несколькими десятилетиями военной службы. Но и голос и выправка, и какая-то особенная корректная отчетливость и небезразличие к своему внешнему виду, одет ли он в штатское платье или в генеральский мундир — все это характеризует не службиста-строевика, а офицера крупных штабов. Он и был долгие годы близким сотрудником маршала Шапошникова, начальника Генерального Штаба Красной Армии, а потом лектором Академии Генерального Штаба, так что большинство теперешних советских маршалов были когда-то его учениками. К началу войны он был начальником Штаба армии, стоявшей в Прибалтике. В плен попал после разгрома этих армий еще летом 1941 года.

— Видели наш новый зал занятий? — спрашивает он меня.

Узнав, что я зала не видел и на занятиях не присутствовал, он берет меня за руку и подводит к дверям одного из бараков — «Идемте, послушаем, как наши преподаватели вправляют мозги курсантам-фронтовикам. Сейчас, как раз, доклад о государстве» . . .

Осторожно переступаю порог и тихо закрываю за собой дверь. В зале мертвая тишина, как бывает только в помещении, где очень много народа сидящего без движения и шороха на одном месте. На трибуне докладчик. Невысокого роста, смуглый, с характерным русским лицом, в штатском костюме. Я его знаю уже давно — это старший преподаватель Зайцев. Он один из первых вступил в ряды организации

еще в лагере Вустрау. Доклад, по-видимому, подходит к концу. Мы стоим около дверей и рассматриваем аудиторию.—человек триста солдат и офицеров внимательно ловят каждое слово, до нас доносится спокойный ровный голос: «...Свобода слова и печати это одна из основ правового государства. Она дает возможность общественного контроля над всем, что происходит в стране. Она является гарантией, что никакие темные деяния, будь ли то властей или частных лиц, не останутся без порицания или наказания. При действительной свободе слова и печати немыслимо существование тоталитарных режимов, при которых к власти пробираются всякие проходимцы с заднего крыльца, а во главе государства оказываются какой-нибудь недоучившийся семинарист или неудачник ефрейтор...»

Дальше я не могу разобрать ни одного слова — зал дружно покатывается со смеху. Докладчик стоит и ждет, пока восстановится тишина.

Выйдя на свежий воздух, я, потрясенный слышанным и виденным, спрашиваю Трухина:

— Скажите, Федор Иванович, это что же, наш дорогой Александр Николаевич оговорился о ефрейторе или я ослышался?

— Нет, нет почему же. У него в каждом докладе есть что-нибудь такое. Знаете, люди лучше воспринимают изложение, когда немного посмеются и отдохнут...

— Но, Федор Иванович, здесь, под Берлином, в тридцати километрах от Потсдамской площади, где ефрейтор и сейчас, наверное, сидит и перестраивает свои планы о завоевании мира...

— Ах, вы думаете об этом — это ничего. Немцы занятий теперь совсем не посещают, надоело им, да и не интересно. В начале лезли, а теперь отстали. Комендант у нас покладистый, в учебную часть не путается, просит только, чтобы не выпивали в бараках, да не уходили без отпускных записок в город.

— Мне все-таки это кажется больше, чем неосторожным — говорю я.

— Ну, конечно, бывают неприятности — продолжает он, ответив на приветствие проходившего мимо офицера. Не так давно крупный скандал с этим же Александром Николаевичем был. Помните, немцы очень шумели о том, что какой-то их отряд водрузил государственный флаг Германии на Эльбрусе. Ну он в докладе как-то и ввернул, что этот подвиг гораздо значительнее в области альпинизма, чем военной стратегии... А никто, понимаете, не заметил, что на докладе присутствовало несколько немецких офи-

церов-фронтовиков. Скандал был громкий. Нашего коменданта капитана Керковиус сняли отсюда в двадцать четыре часа... Хотели арестовать и преподавателей и даже всю школу закрыть, но как-то обошлось... Кто-то там наверху за нас заступается все-таки...

Все слышанное и виденное мне показалось бы невероятным, если б мне рассказал об этом кто-нибудь другой, а не видел я своими глазами.

Курсы рассчитаны на триста человек. Продолжение занятий — две недели. Состав учащихся — откомандированные из русских батальонов солдаты и офицеры. По возвращении в свои части они становятся пропагандистами и в них и в среде гражданского населения в месте стоянки их батальонов. Каждые две недели из Дабендорфа разъезжаются по воинским частям триста человек, а на их место приезжают триста новых. Каждый из уезжающих увозит с собой в мыслях и в сердце непоколебимую уверенность, что Адольф Гитлер такой же непримиримый враг русского народа, как и Иосиф Сталин и что нужно сейчас всем русским людям не лезть в драку, а ждать, когда один из этих врагов пожрет другого, чтобы потом русскими силами ударить по победителю. Оказалась и еще одна, неизвестная мне пикантная деталь, — каждый из уезжающих курсантов увозит в своем рюкзаке несколько номеров журнала «Унтерменш».

В Берлине среди своих друзей я часто слышал разговоры об этом журнале. Часто говорилось о том, что его сейчас очень трудно достать, потом, почему-то, становилось легче, кто-нибудь рассказывал, что купил целую партию, несколько десятков экземпляров. Другой жаловался, что только на окраине города успел захватить последние пять штук. Как-то даже и я сам принимал участие в охоте за этим произведением немецкой пропаганды, но не знал, что оно в таких количествах отправляется и в Дабендорф, и в другие лагери, и в занятые области России. Доктор Геббельс, если он интересовался цифрой распространения своего любимого детища, был, вероятно, очень доволен. Журнал раскупался неплохо.

Как-то Верховное Командование Армии отправило министерству Пропаганды протест против распространения этого журнала, — он больше всяких мероприятий открывал глаза русским людям на отношение к русскому народу Германии. Мы, помню, были в большом унынии, — на некоторое время журнал исчез из продажи, а он так облегчал работу по «вправлению мозгов», как говорил генерал Трухин. И когда, после довольно долгого перерыва, «Унтерменш»

появился в продаже снова, мы приветствовали его как старого, испытанного друга. Министерство Пропаганды, на нашу радость, на этот раз победило.

Дабендорф в немецких кругах имел очень плохую славу. Офицеры немцы, командиры русских батальонов, жаловались, что солдаты, побывавшие на курсах Дабендорфа делались неузнаваемыми после возвращения с учебы. Раньше исполнительные и послушные, они приезжали начиненные всякими крамольными идеями и свое пребывание в частях немецкой армии начинали расценивать, как трагическую и досадную ошибку.

Этих людей трудно было бы обвинить за их вступление в вспомогательные батальоны. Не всегда этот их шаг можно было объяснить отсутствием воли умереть голодной смертью в лагерях военнопленных. Очень многие пошли туда, увидев в этом единственную возможность борьбы с коммунизмом, который они ненавидели тяжелой, бескомпромиссной ненавистью. Получив соответствующую подготовку в Дабендорфе, они такой же ненавистью начинали ненавидеть и гитлеровскую Германию и в только еще намечающемся Русском Освободительном Движении видели свой выход. За первый период их пребывания с этой стороны фронта, за вступление в батальоны, их, может быть, и можно упрекнуть в сотрудничестве с немцами, но в гораздо меньшей степени, чем многие миллионы европейцев, пошедших на более тесное сотрудничество из менее безвыходного положения.

В Берлине Дабендорф не любили по тем же причинам. Вместо короткого и готового к услугам «яволь», там люди занимались разбором и критикой тоталитарного сталинского режима, иллюстрируя его пороки примерами и более близкими. Занимались созданием положительной программы будущего Движения, вместо того, чтобы целиком довериться воле фюрера, который должен был по окончании войны решить все вопросы, в том числе и вопрос будущего России на многие годы вперед.

Предпринимались попытки школу закрыть, — из этого, к счастью, ничего не вышло. В Верховном Командовании Армии были какие-то силы, оказывающие сопротивление, и лагерь оставался жить. Это, вероятно, те же силы, о которых часто говорил Власов — «Вот, хотели нашего Жиленкова расстрелять, а кто-то помешал». На эти неведомые нам силы мы и надеялись. Надеялись на них, что в какой-то, хорошо было бы не в самый последний, момент они помогут нам освободить руки для борьбы за наши русские цели.

Среди преподавательского состава Дабендорфа были не раз произведены аресты. Несколько человек было расстреляно, несколько человек до конца войны просидело в концлагерях, но занятия шли дальше, по той же неписаной программе, и так же дальше каждые две недели разъезжались триста человек прекрасных пропагандистов (из частей посылались, как правило, наиболее способные и авторитетные в своей среде люди). Дабендорф оставался и работал до самого конца. Вскоре после того, как начала выходить «Заря», редакция газеты была переведена тоже туда. Этот лагерь, собственно, и являлся колыбелью организованного Освободительного Движения.

*

В борьбе за право русского антибольшевизма приступить к решению своей задачи — освобождению русского народа от тирании Сталина — мы установили целую градацию явлений, то помогающих, то мешающих достижению наших целей. Успехи немцев на фронтах были помехой, они удлиняли сроки нашего ожидания. Поражения — наоборот, сокращали их.

В конце 1943 года неожиданно появился у нас еще один союзник, правда, и не подозревающий о том, какие услуги он оказывает русскому антибольшевизму. Союзник этот — бомбардировочная авиация Англии-Америки.

Превращение Берлина из города в развалину приняло характер систематический с 22 ноября 1943 года. Были налеты и до этого, иногда очень серьезные, но они носили характер случайный и производились довольно редко. С конца ноября до осени следующего года Берлин подвергался, с небольшими перерывами, страшнейшим бомбардировкам с воздуха уже постоянно.

Налеты английской авиации в предыдущие годы переживались очень легко. Наблюдая, как организована была оборона немецкой столицы, какие правила были выработаны для поведения населения, как все было предвидено и учтено, я не мог без улыбки вспомнить наше дилетантское лежание на полу в подвале, во время первого немецкого налета на Белград. Здесь все было организовано так, как могут организовать только немцы.

Радио каждый час, перед тем как сказать точное время, сообщает о положении в воздухе — «Внимание, внимание! Над всем пространством Германии не находится ни одного вражеского самолета». Это повторяется два раза и программа идет дальше. Если до истечения целого часа в воздухе

обнаружены какие-то перемены, то программа прерывается и голос специального диктора говорит — «Внимание, внимание! Слабое (или, наоборот, сильное) соединение вражеских самолетов влетает с северо-запада в Германию». Дающиеся потом каждые двадцать минут или полчаса сведения позволяют судить, куда оно летит и что сегодня подвергнется бомбардировке. Если путь его лежит на Берлин, оно всегда пролетает над областью Ганновер-Брауншвайг. Как только будут названы эти два города, надо готовиться. Когда самолеты уже перед самым Берлином, дается предварительный сигнал сиреной и через три-четыре минуты после него полный «алярм». Значит, машины уже влетели в зону столицы.

По первому предварительному сигналу все население города с пледами, подушками и небольшими чемоданчиками (главным образом, документы и драгоценности) сходит в подвалы домов. Там расставлены стулья и скамейки. Усаживается каждый на свое место и начинается ожидание.

В подвале горит электричество, люди приносят с собой книги, газеты, журналы, кто читает, кто тихо разговаривает с соседом.

Как правило, обязательно кто-нибудь приносит с собой небольшой радиоприемник, который тут же настраивается на волну станции воздушной обороны города, дающей все время сведения, где находятся самолеты, с какой стороны они влетают и куда вылетают из района Берлина.

На стенах подвала обязательно лопата, топор и кирка, — это на тот случай, если дом обвалится и выходы будут засыпаны. При помощи этих инструментов нужно выбираться на свежий воздух.

На другой стене — ящик домашней аптечки, со всем необходимым, что может потребоваться для первой помощи, — перевязать раны, ожоги, привести в сознание и прочее.

На одной из стен обведен величиною в дверь квадрат, фосфорисцирующий в темноте. Стена в этом месте легко разбирается и дает возможность проникнуть в подвал соседнего дома, в случае, если свой выход будет отрезан огнем или обвалом.

В начале, когда самолетов прилетало немного, бомб падало мало и разрушения были почти незаметны, семья, в которой я живу, не сходила вниз. Вставали из кроватей, а иногда оставались и лежать и прислушивались к стрельбе зенитных орудий, которых в Берлине в то время было очень много. Стрельба начиналась с той стороны, откуда влетали самолеты. Потом, через весь город, продвигалась в

нашу сторону. В этом гуле ухо различает редкие тяжелые взрывы-обвалы, это падают бомбы. Гул от стрельбы ужасный. Вот он, наконец, ближе, ближе. Очень сильный грохот производят орудия, стоящие на высоком бункере около Цоо. После них, минуты через две, как маленькая собачонка после громадного барбоса, тявкнет несколько раз пушченка, стоящая на углу нашей улицы в маленьком скверике, и гул выстрелов начинает удаляться. Для нас налет окончен, а через две-три минуты окончен он и для всего Берлина.

Слышны возбужденно-веселые голоса с улицы и на лестнице. Это жильцы дома поднимаются из подвала. Мы ныряем в постели и сон продолжается дальше.

Разрушений было мало. Помню, осенью 1941 года бомба попала в стоящий около Цоо отель Эден. В течение недели перед отелем стояла толпа зевак, старающихся рассмотреть произведенное разрушение. Оно было так незначительно, — бомба была небольшая, — что с улицы его трудно было и увидеть. Люди подходили, смотрели, вздыхали и не совсем удовлетворенные шли дальше по своим делам.

Изредка прилетали советские самолеты, но вели себя как-то странно. Они, кажется, и тут преследовали какую-то пропагандную цель. Прилетали обыкновенно одна-две машины, на большой высоте довольно мужественно кружили в перекрещивающихся лучах многих прожекторов и в венчиках от разрывов снарядов зенитных орудий. Кружили над городом минут пятнадцать-двадцать и улетали домой. Бомб с собой, вероятно, не имели, — расстояние было слишком для них большим.

Эта идиллия кончилась 22 ноября.

В этот день у меня были гости, двое друзей. Один только что приехавший из России, другой из Дабендорфа. Хозяев квартиры не было дома. Радио не было включено.

По самому тону полной тревоги мне почему-то показалось, что произойдет что-то особенное, вероятно шестое чувство все-таки есть. Потому ли, что время налета было не совсем обычным, — было всего восемь часов вечера, — или по чему другому, но чувство приближающейся большой опасности захватило сразу, при первых звуках сирен. Перед гостями не хотелось этого показывать, они, по-видимому, ничего не заметили, и мы, обменявшись взглядами, продолжали разговаривать.

Стрельба началась на юге. Через несколько минут следом за ней, перекрывая и заглушая ее, стал приближаться какой-то гигантский вал почти беспрерывно один за другим следующих оглушительных взрывов. Это многие сотни ле-

тящих машин расстилали один ковер из тяжелых бомб за другим. Мои собеседники и я, не проронив ни слова, бросились из комнаты. Когда мы сбегали по последним ступенькам лестницы, гром взрывов был просто невыносим — бомбы падали уже на улице и в соседних с нашим домах. Внизу нас всех троих швырнуло на стенку: громадная бомба, — воронка ее была в ширину всей улицы, — упала в нескольких метрах перед нашим домом. Вытирая разбитые и изрезанные стеклом в кровь руки, я толкнул маленькую выходную дверь и, пробежав через узенький дворик, мы стали спускаться в подвал.

Там — мертвая тишина. Еле мерцает электричество. Только что дано очередное сообщение, заставившее замолчать всех: с юга влетают все новые и новые волны бомбардировщиков, а за ними приближаются следующие.

Больше, чем взрывы и шатающийся над головой дом, давит на воображение гул многих тысяч моторов низко летающих машин, отлично слышимых даже и во время взрывов. Воображение рисует узкие кабинки самолетов, в которых с напряженными до отказа нервами люди, в невиданной для нас форме, носятся, как духи, над этим адом. Люди из другого, далекого и враждебного вот этому подвалу и всему городу мира. Но так хотелось, чтобы они были дружественными нам. Когда очередной ковер расстилается над нашими головами, два чувства рвут сознание — томящего, перехватывающего дыхание страха и другое, жестокого удовлетворения при виде покрывающихся мертвой бледностью лиц и стекленеющих от ужаса глаз соседей. Хочется встать, подойти к кому-нибудь из них, хотя бы вон, к тому, в форме СА молодому кретину, и спокойно сказать — «Вы еще не знали, что такое война, что значит сожженные до тла города и села, что значит трупный запах, от которого ваши жертвы, десятки миллионов людей, не могут избавиться годами. Вы думали, что война это только победы, сообщения о падении вражеских столиц, да хвастливая болтовня вашего бесноватого фюрера» . . .

Бомбежка продолжалась два часа. Бомбы попали в оба соседних с нашим дома. Когда они взрывались, было жутко, — старая, шестиэтажная громадина качалась и скрипела всеми своими кирпичами над головой, кажется, вот-вот готовая рассыпаться.

С этого вечера в берлинских подвалах перестали читать газеты и книги и если видно было человека, обыкновенно пожилого, склонившегося над книгой, то можно было, не заглядывая, сказать — это могла быть только Библия.

Последние машины улетели. Где-то далеко-далеко уцелевшая сирена прогудела сиплым голосом отбой. В гробовой тишине, ненарушаемой ни одним словом, мы поднимаемся по лестнице наверх. Через дворик, маленький, бетонированный, всегда такой чистый, а сейчас усыпанный почти по колено битым стеклом, через вестибюль нашего дома, через разбитую в щепки парадную дверь мы выходим на улицу. Впечатление такое, что перед самым лицом открыли жарко горящую печь. Слышим только треск горящего со всех сторон сухого дерева. Ярким гигантским костром полыхает весь квартал противоположной от нас стороны улицы. Горят почти все дома и на нашей. Многие загораются уже после того, как улетели бомбардировщики. Во все стороны, куда хватает глаз, океан бушующего огня. Сильный ветер — почему-то всегда после больших налетов начинается сильный ветер, — в облаках дыма и копоти носятся миллиарды искр, раздвигая границы пожаров новыми поджогами. В раскаленном, как печь, воздухе, высохшее за десятилетия дерево оконных рам и дверей вспыхивает как порох.

Закрыв голову снятым пиджаком, я бегу по бесконечной Кайзераллее между двумя стенами сплошного огня. Иногда бежать трудно, нет воздуха, нечем дышать или обжигает настолько, что вот-вот может вспыхнуть одежда. Тогда на секунду останавливаюсь, перевожу дух, стряхиваю с костюма тлеющие искры и бегу дальше. Мне нужно найти, может быть, откопать, спасти — может быть, они еще живы — близкую мне семью, живущую недалеко от вокзала. В мою сторону, и за мной, и впереди меня бегут десятки людей, в противоположную — тоже. Некоторые из них что-то кричат, другие размахивают руками, кажется, что может произойти что-то совсем незначительное и неважное и весь город превратится в сплошной сумасшедший дом.

Потом было много налетов. Берлин бомбили целую зиму. Были и более крупные по количеству прилетавших машин и более тяжелые по количеству жертв, но какой-то гигантский стержень, вокруг которого так уверенно и спокойно вращалась военная машина Германии, 22 ноября, от восьми до десяти вечера, в Берлине дал первую трещину.

Налеты переносятся по-разному, как морская болезнь. Крепкие, уравновешенные люди, мужчины, любую другую опасность встречающие лицом к лицу, теряют самообладание и испытывают такой страх, который расплавляет волю и туманит сознание. И, наоборот, нервные, слабые женщины переносят то же самое гораздо спокойнее.

Начиная с 22 ноября, Берлин бомбят по четыре-пять раз в неделю. Почему-то налеты известный период бывают всегда в одни и те же часы. Началось полосой в восемь часов вечера, потом передвинулось на одиннадцать, потом еще дальше, к часу ночи, затем вернулось опять ближе к вечеру. Без риска ошибиться можно было предсказать, если вчера налет был в десять, а сейчас уже около двенадцати, — значит сегодня не прилетят. Люди распределяли всю свою жизнь в зависимости от этих часов. Выходя перед часом возможного налета в город, человек заранее, почти подсознательно намечал, куда в случае налета можно будет спрятаться.

Недели две спустя, после первого сильного удара по Берлину, можно было наблюдать интересное явление. Около вокзала Цоо, за несколько часов до предполагаемого налета, десятки, а потом и сотни мужчин и женщин, молодых и пожилых, одиноких и компаниями, иногда, по-видимому, семьями, с портфелями или небольшими чемоданчиками в руках, прогуливаются вокруг вокзала и по прилегающим к нему улицам. Это те, чьи нервы не выдерживают сиденья в подвалах домов, где они живут. Они ждут, чтобы во время налета попасть в самое безопасное место — в большой или малый бункер Цоо. Вместимость этих бункеров ограничена. В один могут втиснуться двадцать тысяч человек, в другой гораздо меньше. Люди ходят неторопливой, скучающей походкой, изредка посматривая на часы, и ждут. Ждут подолгу, часами, целыми вечерами и если ничего нет, после полуночи расходятся по домам. Вид у них крайне смущенный и деланно-независимый, особенно у молодых мужчин. Им бы очень хотелось, чтобы окружающие думали, что они ждут какого-то определенного поезда или опаздывающую на свидание даму сердца.

В самом помещении вокзала трудно пройти — все забито сидящими и стоящими людьми. В большинстве это пожилые женщины, старушки. Этим мнение окружающих совершенно безразлично. Они ничего не скрывают и не стесняются. Сидят на принесенных с собой складных стульчиках, завернувшись в пледы и одеяла и тоже ждут. Ждут иногда до поздней ночи, иногда до следующего утра. Если будет налет, они узнают, каким-то образом, об этом первыми, тогда поднимаются с мест и идут к бункерам, в которые за четверть часа до воздушной тревоги начинают впускать.

В других частях города, около таких же бункеров как Цоо можно наблюдать такую же картину.

Не говоря о психологическом надломе, произведенном налетами, эта ежедневная пантомима, в которой участвует

каждый вечер несколько десятков тысяч человек, имеет и большое практическое значение. Все они где-то работают, служат, и в их сознании навсегда вдавлена мысль и чувство о своей неполноценности и трусости (хотя они в этом ни в какой степени не виноваты), и мысль о том, что сегодня вечером предстоит такая же многочасовая бессмысленная прогулка. Это непосредственным образом отражается и на их производительности труда и на всем, что они делают в течение дня.

Один из друзей обратил мое внимание на явление такого же порядка.

— Если будешь под вечер на каком-нибудь вокзале, посмотри на публику уезжающую в эти часы из города...

Действительно, все поезда идущие к окраинам города, до отказа набиты пассажирами тоже с портфелями и чемоданчиками, как и гуляющие по улицам около бункеров. Эти едут за город, в Потсдам, Ваннзее, просто до конечной остановки, где гуляют потом в лесу, по берегам бесконечных берлинских озер. Возвращаются они обыкновенно с последними поездами, — это, значит, часов около трех добираются до дому. Утром служба или работа, а вечером, вероятно, не заходя домой, опять на вокзал. И так продолжается месяцами.

В нашем иностранном мире, особенно в русском, бомбардировки города вызвали тоже своеобразные последствия. Появились тысячи людей, вчерашних рабочих, слоняющихся без дела по Берлину. Заводы и фабрики, на которых они работали, разворочены бомбами или сожжены до тла. Первое время их куда-то переводили на другие фабрики и заводы, потом переводить стало некуда. Сначала их старались держать под контролем, запирали в лагери, потом и это стало все труднее и труднее. Люди оказались свободными. По всему городу, больше всего в восточной его части, около Александр-плац, тысячи их небольшими группами и парочками разгуливают целыми днями. Им хочется есть, а получают они не всегда. К имуществу граждан Великогермании у них, не без основания, отношение особое. И это не из-за недостатка морали, а как логичное последствие отношения к ним привезших их сюда немцев. Кривая ограблений, убийств, воровства довольно быстро поползла вверх. Они грабят квартиры во время бомбардировок и не один десяток шуцманов находили их товарищи по утрам с перерезанным горлом на улице. Это все не способствует укреплению морального состояния берлинцев.

С 22 ноября все поползло как-то вниз. Усталые, невыспавшиеся люди, небритые по несколько дней мужчины, без

всякой претензии кому-нибудь понравиться одетые женщины. Работа, валящаяся из рук, сознание бессилия перед летающим, как у себя дома, врагом — все это порождает уверенность в неминуемости поражения и ускоряет его приближение. Из Берлина эти настроения растекаются по всей стране.

Мы видим во всем этом признак того, что скоро наступит день, когда переговоры с немцами могут стать возможными . .

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1

Великий исход

Преступление Гитлера, творимое на русской земле, спасло советскую власть от гибели. Народ встал не на защиту советского строя, как стараются сейчас доказать вожди большевизма, а на защиту своей самостоятельности и просто прав на жизнь. Русские солдаты шли в бой с криком «За Родину!», а сзади бежали политруки и надрываясь добавляли — «И за Сталина, за Сталина!». Народ так же, как и раньше, лютой ненавистью ненавидел большевизм. Но немецкое преступление было не менее отвратительным, не менее страшным. В тяжелых, кровавых боях армия отстояла самостоятельность страны, но вместе с ней отстояла и внутреннюю кабалу — большевизм. Он уцелел лишь благодаря преступности — звериной жадности и жестокости Гитлера. Вожди большевизма должны быть благодарны Германии за то, что она толкнула к ним на время борьбы русский народ. Среди всех преступлений главарей национал-социализма одно из самых тяжелых это то, что они спасли большевизм от гибели и помешали русскому народу сбросить его с плеч.

После поражения немцев под Сталинградом и особенно после неудачной попытки взять снова инициативу в свои руки и перейти в наступление в июле 1943 года под Орлом и Белгородом, восточный фронт, вначале медленно, потом с нарастающей скоростью, покатился на запад. Многие немцы еще верили, что этот отход обычное колебание фронта, что наступит какой-то момент и немецкие армии пойдут опять на восток, чтобы нанести, на этот раз уже действительно, самый последний и сокрушительный удар по Советскому Сою-

зу. Для русского мира было ясным, что движения обратно больше не будет, что окончательное поражение Германии — вопрос только времени и сейчас уж не такого долгого. Лучшим показателем этого было явление, которое трудно представить иностранному читателю: перед фронтом, перед отступающими, но сопротивляющимися еще немецкими армиями, на запад по всей линии от Балтийского до Черного моря двинулась волна беженцев, то есть — русских людей, уходящих от приближающейся Красной Армии.

За Красной Армией для сотен тысяч из них, волею судеб оказавшихся на этой стороне, шла простая и неизбежная смерть. Люди, прожившие три года в условиях немецкой оккупации, рассматривались советским правительством, как прокаженные, как потенциально будущие враги советской власти. За наступающей Красной Армией на улицах и площадях городов поднимались, как кошмарные видения, виселицы. «Врагом народа» считался каждый, у кого не хватило сил умереть голодной смертью и кто поэтому пошел «работать на немцев». Вдова, за корку хлеба для голодающих детей стиравшая белье немецким солдатам, учитель, не бросивший детвору и в невыразимо тяжелых условиях наладивший занятия в сельской школе, служащий самоуправления, самоотверженно достававший топливо для больниц или детских яслей, — все они назывались «предателями», «изменниками», «врагами народа», «фашистскими наймитами». А для врагов народа дорога только на виселицу. Мудрено ли, что люди, задыхаясь от ненависти к оккупантам, вместе с ними уходили от родных очагов на запад, в неизвестность, чаще всего в суровую немецкую каторгу.

Вначале, когда отступление носило организованный характер, немцы угоняли население с собой силой. На востоке и одной и другой стороной, и немцами и большевиками была усвоена несложная формула: народ, население — это часть инвентаря на занятой территории, и его, следовательно, так же, как оборудование заводов, сельскохозяйственные машины и скот, нельзя оставлять врагу. И если оборудование и машины можно ломать и привести в негодность, то подвижной инвентарь — скот и людей — лучше угонять с собой. Так, в начале войны, где успевали, делали большевики; так же точно после перелома ее в сторону советской победы поступали немцы. Поэтому в первый период немецкого отступления оставаться в оставляемых городах и селах было просто запрещено. В самом начале нередко представлялись возможности передвижения — железнодорожные составы, иногде даже грузовики; во всяком случае, всегда открывалась свободная дорога на запад.

Позднее, когда движение ускорилось и надежды на то, что фронт качнется обратно, или хотя бы надолго задержится на месте, оставалось все меньше и меньше, уходить на запад только разрешалось. Многомиллионная волна беженцев забивала дороги, мешала быстрому продвижению воинских частей, тормозила оперативность армейских резервов.

Когда фронт приближался к западным границам Советского Союза, движение беженских толп на запад было просто запрещено. По железным дорогам отходящая армия едва успевала увозить свои военные трофеи — в вагонах и на площадках идущих в Германию поездов можно было видеть отдельные машины и станки с разных заводов, железнодорожные шпалы и рельсы, какую-то разрозненную мебель, сундуки, мешки, узлы. Мешки и узлы — признак хозяйственной заботливости «золотых фазанов» о своем домашнем благосостоянии, не совсем отвлеченные воспоминания о походе на восток. Проселочные дороги и шоссе доотказа забиты воинскими частями с такими же тяжело груженными обозами, предназначенными для фатерланда.

Но и в самом начале и потом, когда двигаться на запад было все труднее и труднее, население оставляемых немцами городов и сел уходило почти поголовно.

Большинство беженцев успевало уходить от родных мест на десятки, самое большее сотни километров — их настигал фронт. Трагедия многих миллионов людей, переживших это, вероятно, никогда не будет описана. Да она и не может быть описана: не найдется на человеческом языке слов, чтобы передать ее такую, какой она была.

Еще до того, как эти толпы нагонялись передовыми частями Красной Армии, она систематически поливалась пулеметным огнем советских самолетов, по мере продвижения на запад всё увереннее чувствовавших себя хозяевами воздуха. Беззащитные, малоподвижные даже для самосохранения, сгрудившиеся на проселочных дорогах многотысячные толпы женщин, стариков, детей, с подводами, нагруженными домашним скарбом, иногда ручными тележками — были хорошей мишенью для сталинских летчиков, полных гордого презрения к убегающим «фашистам». Они были легкой добычей сталинских партизан, расстреливающих их по лесам в упор из пулеметов и легких орудий. Все стратегические операции танковых частей Красной Армии — охваты, окружения, отрезывания, заходы в глубокие немецкие тылы — проходили, прежде всего, по живому телу беженской массы. Большая часть ее была захвачена еще в пределах Советского Союза, меньшая часть вышла за его границы.

К осени 1944 года Красная Армия, за исключением некоторых областей на севере, достигла государственных границ. Были очищены от немцев и Украина и Белоруссия. Передовые советские части стояли у ворот центральной Европы. В эти дни глухими проселками Польши, Венгрии, Румынии с востока на запад тянулись бесконечным потоком караваны подвод, запряженных лошадьми, на юге нередко волами, сопровождаемые на многие километры растянувшимися лентами пешеходов. Караваны идут в темную даль, в неизвестность, идут не куда-нибудь, а «оттуда». Идут не с немцами, а уходят от большевиков. Сколько их? к чему они стремятся? Никто, в том числе и они сами, не смог бы ответить на эти вопросы. На-глаз считалось, что их, вышедших за пределы родины, было от десяти до двенадцати миллионов человек.

*

Группы нашей организации, кроме остающихся по заранее намеченному плану в России, выходили за пределы страны вместе с беженцами. За минувшие годы эти группы провели большую работу. Организация была единственной организованной политической русской силой, и почти всё, что было активного в антикоммунистическом русском мире, в той или иной степени входило в сферу ее влияния.

Ни одна политическая группировка старой эмиграции не выдержала великой ломки. Многие из них умерли, удушенные немцами. Многие, не найдя ответа на роковой вопрос этих лет «куда итти?», потеряли смысл своего существования, — часть из них, поддавшись ложно понятому чувству патриотизма и советской пропаганде, скатилась к признанию Сталина национальным героем и пополнила потом ряды созданных советской агентурой союзов «советских патриотов». Но ни одна из них не могла похвастаться, что она выросла за счет нового пополнения вышедших в годы войны из советского мира антибольшевиков. Мы с удовлетворением могли отметить, что еще задолго до войны перестав быть организацией чисто эмигрантской, за военные годы увеличили свой состав в несколько десятков раз путем приема новых членов. Новые члены, вступая в наши ряды, часто не знали истории организации и многие из них не подозревали, что основы ее были заложены за 15 лет перед этим. Как и в старые довоенные годы, новые члены привлекались не по принципу набора, а строгого и тщательного отбора. Человека долго и со всех сторон проверяли, прежде чем привлечь его к себе. Осторожность, большая чем в дово-

енное время, была необходима. Если раньше неудачный выбор оставлял чувство разочарования и горечи и иногда вызывал небольшие осложнения с полицейскими властями стран нашего рассеяния, то сейчас это угрожало провалом, если не всей организации, то какой-то ее части, а провал всегда оплачивался кровью.

Увеличившись численно, больше всего в занятых немцами областях России, связь с которыми была очень трудной, организация вполне естественно потеряла часть своей оперативности и эластичности управления. Отдельные группы, лишенные в силу своей оторванности не только руководства, но и простой связи, часто оказывались во власти чувств, а не политической тактики и, само собой разумеется, оставаясь на позиции непримиримого антибольшевизма, организовывали активные действия против немцев. Вместо того, чтобы накапливать силы для решительного дня, они тратили их в борьбе против оккупанта: группы организации в разных местах под разными именами, поддерживали связь с несталинскими партизанами, оказывая им помощь информацией и людьми, печатали и распространяли антинемецкую литературу, вели антинемецкую пропаганду в лагерях военнопленных, рабочих и в созданных немцами восточных батальонах. За всё это немецкой тайной полицией выписывался счет в Берлине. Очень скоро этот счет превысил то, что в конто организации стояло под знаком плюс, — а это была исключительно идеологическая борьба против коммунизма.

Гром грянул из ясного июньского неба. В течение нескольких дней было арестовано почти всё руководство организации со Старшим во главе, по всей Германии и в занятых еще немцами областях Польши. Сотни членов были брошены в тюрьмы и концлагери. Многие погибли там во время допросов и многие убиты были перед приходом союзников. Как потом удалось выяснить, приложила в этому делу свои силы и агентура НКВД, занявшая в гитлеровском Гестапо ряд постов в русском отделе.

Была еще одна причина разгрома организации, кажущаяся очень вероятной. По всему чувствовалось, что переговоры немцев с русскими антибольшевиками в недалеком будучем начнутся. Перед тем, как начать переговоры, и, как следствие их, дать русским возможность создания народного антикоммунистического движения, немцы хотели предохранить его от влияния враждебных им элементов. Как похищение Зыкова, происшедшее в это же время объяснялось желанием устранить влияние «только оппозиционной» Сталину группы, так и арест наших друзей объяснялся стрем-

лением устранить людей, могущих ориентировать будущее движение на Запад.

В Берлине аресты происходили в течение нескольких дней. Мой фиктивный выход из организации спас меня от первой их волны, но позднее друзьям из тюрьмы удалось сообщить, что на допросах следователями, наряду с именами других, еще остававшихся на свободе, часто упоминалось и мое имя. Ареста нужно было ждать со дня на день. Арест члена организации, посланного ею на работу в Верховное Командование Армии, открывал для следствия новые перспективы и представлял, конечно, соблазн немалый. Положение складывалось безвыходное. Можно было бежать — в взбаламученном и сжатом со всех сторон немецком мире, переполненном иностранцами, над которыми уже в значительной степени был утерян контроль, не представляло особого труда скрыться. Но бежать было нельзя. Это было бы тяжелой уликой против уже сидящих друзей. Но трудно было и оставаться, ждать ареста. Каждый день между пятью и шестью утра прислушиваться к стуку выходной двери, каждый день считать последним днем на свободе, когда исполнение наших надежд и чаяний о создании Третьей Силы могло скоро стать реальностью.

Выход нашелся неожиданно.

Как-то вечером я поехал в Далем. Последнее время, после ареста друзей, я бывал там чаще — просил Власова, если это в его силах, помочь облегчить их судьбу. Я знал, что как раз в эти дни с немецкой стороны исподволь были предприняты попытки завести переговоры об организации русских сил и об участии их в борьбе против большевизма. Власов обещал поддержку, но рассчитывал больше всего на то, что переговоры вскоре примут какие-то конкретные формы и что тогда можно будет не только просить, но и требовать, и не облегчения участи, а освобождения.

Сегодня у меня новые данные. Часть заключенных увезли в концентрационный лагерь Заксенхаузен, а часть куда-то в другие лагери. В тюрьмах на Александерплатц, Плетцензее и Ораниенбургштрассе, где они сидели до сегодняшнего утра, осталось всего лишь несколько человек.

Андрей Андреевич встретил меня, как всегда, приветливо и, улыбаясь глазами через толстые стекла очков, крепко пожимая руку, спрашивает:

— Как живешь и с какими новостями пожаловал?

— Живу, Андрей Андреевич, плохо, новости тоже скверные.

Рассказываю о только что полученных сведениях.

— Очень плохо, — говорит он. — Затеряться могут люди. А вытащить сейчас мы их не можем. Если еще до начала переговоров — которые ведь, только еще предстоят, настоящие-то — поставить условием их освобождение, то на этом переговоры могут и кончиться. А просьбы, обращенные к тем, кто бывает здесь у нас, не дали, да едва ли и дать могут какие-либо результаты. Но, верь мне, при первой же возможности, когда это действительно будет целесообразно, я поставлю этот вопрос со всей серьезностью, которую он заслуживает.

Я вижу, что это единственное, что он может сделать.

— Ну, а как ты? — спрашивает он, — садиться не собираешься?

— Тоже плохо, Андрей Андреевич, кажется, придется скоро.

— Что ж, признаки какие есть или почему ты думаешь?

Я рассказываю о переданных из тюрьмы предупреждениях.

— Вот это надо предупредить, — говорит он. — Предупредить легче, чем потом исправить.

Он скручивает толстую папиросу, вставляет ее в большой мундштук из разноцветных стекол, подаренный ему когда-то летчиками его армии, и, глубоко затягиваясь, долго смотрит в окно.

— Это надо предупредить, — еще раз повторяет он в раздумьи.

После целого ряда тут же отброшенных вариантов, предупредить, все-таки, оказалось возможным.

— Мы ведем сейчас переговоры с командованием немецкой армии о посылке небольшой группы офицеров на фронт для того, чтобы ознакомиться с настроениями свежих военнопленных. Когда пропаганду будем вести мы, а это вероятно будет скоро, нам придется перестраивать ее совсем на новый лад. Я думаю, что удастся послать человек трех - четырех. Завтра я попрошу в список командируемых включить и тебя. Это, может быть, не совсем спасение, но пока будешь мотаться на фронте, туда едва ли потянется рука из Берлина, а вернешься недели через две - три, посмотрим, что будет дальше . . .

— А как переговоры идут, Андрей Андреевич, ведь они, все-таки идут? С кем?

— Тайна, — делает он, полушутя - полусерьезно строго непроницаемое лицо. — Тайна государственной важности.

— Ну, если тайна, вы ее не выдавайте и не говорите, а я назову одно имя, а вы только кивните головой — да или нет.

Хорошо? Это имя я, конечно, не придумал, а тоже от кого-то слышал.

— Ну? — говорит он улыбаясь.

— Гиммлер.

Он утвердительно кивает головой.

— Жаль, — вырывается у меня. — Как же это так? Нельзя было более... ну, более приличного, что ли, выбрать? Хотя это от нас, конечно, не зависит.

— А кто более приличен, по-твоему? — отвечает он вопросом. — Кто? Риббентроп? Розенберг? или сам атаман? Разницы, по сути дела, никакой. Одним миром все мазаны. А этот партнер сильнее сейчас, чем кто-либо другой, то есть сильнее между ними всеми, следовательно, из него и выдавить можно больше. А это и есть единственная цель наших переговоров. Помнишь, как это было написано в гороскопе: «когда фельдмаршал Клюге будет посылать по матушке фельдмаршала Рундштедта, а...»

— Помню, помню, — смеюсь я, вспоминая его предсказания.

— Вот этот момент сейчас и наступил.

С тех пор как военное счастье изменило Германии на восточном фронте, национал - социалистическая партия все крепче и крепче брала в свои руки немецкую политику, и внешнюю, и внутреннюю, и ведение войны. Вскоре после 20 июля, разгромив после неудачного покушения на Гитлера военную оппозицию, она взяла в свои руки и армию и тогда уже без колебаний и помех уверенно повела Германию к катастрофе. Предпринимаемые ранее попытки со стороны военного командования изменить восточную политику, всегда наталкивались на сопротивление партии. Летом 44-го года она взяла инициативу по пересмотру отношения к России в свои руки. Вот почему переговоры, ведущиеся с русской стороны Власовым, с немецкой стороны велись Гиммлером, сразу же после «аттентата» назначенным командующим всеми тыловыми немецкими войсками. С немецкой стороны эти переговоры не были результатом общего согласия заключить союз с русским антибольшевизмом. Власов был прав. Только в результате междуведомственной грызни они и могли начаться одной из враждующих сторон. До самого конца против них протестовал Розенберг и делал все возможное, чтобы их сорвать. Говорят, что был против них даже и сам Гитлер, во всяком случае его отношение к этому делу не было выражено никак, с Власовым он ни разу не встречался и до конца своей жизни слова «Русское Освободительное Движение» или «русский антибольшевизм» ни разу не произнес.

Я напоминаю еще раз Андрею Андреевичу, чтобы он не забыл переговорить, с кем следует, относительно моего назначения, и прощаюсь с ним.

На следующий день мне сообщили на службе о неожиданной просьбе генерала Власова включить меня в список едущей на фронт группы. Капитан Корф, кажется, не очень поверил моему заявлению о выходе из организации и, кажется, догадывается о причинах этой просьбы. Прощаясь, он пожимает руку и говорит:

— Отдохните, подышите свежим воздухом... поспите спокойно...

*

Два дня подготовки к отъезду проходят быстро. Я на всякий случай ночую у друзей, не хожу больше на службу и день провожу или в Далеме или в Дабендорфе.

Наконец подошел и день отъезда. Командование армией дает самолет и офицера, который будет сопровождать нашу группу в этом пути.

В шесть часов утра мы уже на аэродроме. На полседьмого назначен отлет.

Я во власти самых разнообразных чувств. Во-первых какой-то уверенности, что вот здесь, сейчас, произойти уже ничего не может. Не может произойти ничего и завтра, где бы мы ни были, и вообще всё время, пока мы будем в дороге.

Второе — это мой первый полет в жизни.

Свежесть июльского утра, стоящие на взлетной площадке самолеты, торопливо снующие туда и сюда летчики, получающие инструкции и распоряжения в комендатуре порта, — всё это для меня новый мир. Но открывается еще один мир, поразивший мое воображение больше чем переживания перед первым полетом в жизни и чувство неожиданно обретенной безопасности.

Наш отлет назначен на полседьмого, а прошло уж семь, и восемь, вот уже и половина девятого и девять, а мы всё еще не двигаемся с места. Самолет Ю-52 стоит по всем признакам совсем готовый к полету, летчики и пассажиры все налицо, а мы стоим и стоим, ни с места.

Командир машины то и дело заходит в комендатуру, из окна слышно, как он говорит с кем-то по телефону, и выходит оттуда с раздосадованным лицом. Оказывается: ни один аэродром на юге — это значит в Австрии, Югославии и Румынии — не может принять самолет из-за опасности постоянных налетов англо - американской авиации. Кроме того, с раннего утра неприятельские истребители все время летают над территорией Германии, и ни один транспортный или

пассажирский аэроплан не может в это время без риска быть сбитым подняться в воздух.

Наконец, в одиннадцать часов аэродром Винернейштад соглашается принять нашу машину с условием, что она задержится не более получаса и затем полетит дальше.

Командуют посадку. Мы карабкаемся, подсаживая друг друга в раскрытую дверь и усаживаемся на какое-то подобие скамеек, стоящих вдоль стен.

Машина транспортная, грязная и ободранная до невероятия. Едущий с нами офицер говорит, что она принимала участие в переброске частей генерала Франко из Марокко в Испанию во время гражданской войны. Впереди, склонившись над приборами, уселись три человека — экипаж.

Все готово. Дверь закрывается, мы видим, как стоящий около самолета офицер кричит что-то нашему командиру, показывая на небо.

Из-за шума моторов нельзя разобрать ни одного слова. Тот смотрит на небо и кивает понимающе головой.

— Довоевались, чёрт бы вас взял, — ворчит, усаживаясь рядом со мной, капитан Прокопов. — Скоро в Берлине будут бояться на улицу выходить из-за вражеских самолетов, а ума, знаете, так и не прибавилось. До чего же они глупы!.. Ну, держись, полетели.

Самолет отрывается от земли и, набрав высоту не больше, чем 400 - 500 метров, берет курс на юг. Выше не поднимаемся до самой посадки, только при перелете через Судеты удаляемся от земли. Пилот напряженно всю дорогу смотрит вправо наверх. Сопровождающий нас офицер, поговорив с радио - механиком, сообщает, что с юга, из Италии, по направлению к Берлину летят большие соединения американских бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Кроме того, отдельные небольшие группы истребителей всё время то появляются, то исчезают над западной и центральной Германией. Оказывается, потому мы так низко и летим, чтобы в случае их приближения иметь возможность где-нибудь сесть.

Винернейштад накануне подвергся жестокой бомбардировке. Выйдя из машины, мы видим еще незасыпанные воронки, оставшиеся после тяжелых бомб вчерашнего налета. В стороне догорает несколько машин. Среди них новое немецкое изобретение «Гигант», если не ошибаюсь, шестимоторный транспортный самолет, — стоит, уткнувшись носом в землю. Недалеко от него итальянец «Савойя», тоже транспортный, с оторванным крылом, как подбитая птица, накренился да так и застыл. Дальше какие-то бесформенные об-

ломки других машин. От них тонкой струйкой поднимается еще дым.

Полчаса промчались, как одна минута, и вот опять, пугая коров и лошадей, над крестьянскими домиками и работающими в поле людьми, крадучись, прижимаясь к земле, мы летим дальше. Ночевать будем на каком-то маленьком аэродроме около Бечея — это сто километров от Белграда...

Аэродрома, оказывается, никакого нет, а есть просто поле, землянки со складом горючего и несколько солдат охраны. Поговорив с подошедшим офицером, наш пилот возвращается обратно. Оказывается, в Винернейштад ему было предложено для ночевки два места: здесь и где-то уже в Румынии, такой же небольшой аэродром. Здесь ему почему-то не нравится и он убеждает нашего проводника двинуться дальше. До нас долетает фраза:

— Полетим туда. Тут всего четыреста километров, но зато там хорошо поужинаем и выспимся. Есть вино, я был там неделю тому назад.

Такое обращение с расстояниями для меня тоже новость. Сделать четыреста километров лишних, чтобы лучше поужинать, — что ответили бы предки на такую фразу!

Решают все-таки почему-то остаться здесь.

Идем в село. Ночуем у крестьян по два-три человека в доме. Я до поздней ночи с наслаждением разговариваю по сербски с хозяином нашего приюта, сербом. Он рассказывает, что не так давно здесь были еще партизаны — «сначала были наши — Драже Михайловича, а потом пришли советские». Мое недоумение рассеивается скоро: «советские» — это партизаны Тито. «А сейчас и те и другие ушли куда-то на юг».

На другой день мы вылетаем рано утром. По словам пилота, самая опасная часть пути еще впереди. Нужно перевалить Карпаты. Наиболее низкое место — Железные ворота, там, где Дунай, стиснутый с двух сторон каменными громадами, пересекает этот горный хребет перед тем, как устремиться к Черному морю. Как раз это место тщательно контролируется английскими истребителями, как наиболее удобная связь Германии с немецким южным фронтом. Летим опять так низко, что кажется, будто сидишь в каком-то высоком автомобиле. Осторожность оказалась чрезмерной. Подлетая к первой гряде гор, пилот не успел набрать достаточной высоты, чтобы перевалить их. Перед самым хребтом он делает крутой поворот, описывает круг, набирает высоту — и вот мы уже над Железными Воротами. На наше счастье сегодня облачно. Мы поднимаемся выше облаков и, цепляясь за их верхушки, ныряем из одного в другое. Когда самолет

поднимается выше, кругом, до самого горизонта, безбрежная даль по-неземному белых облаков. Над нами бирюзово-голубое небо и яркое солнце. Земли не видно совсем. Только изредка на минуту мелькают покрытые зеленью горы, между ними серебряной ниткой Дунай, сжатый красными, как кирпич, скалами. Летим уже над Румынией.

Через плечо пилота мы видим карту с проведенной по линейке красным карандашом прямой, как стрела, линией. Это узенький коридор между областью Плоешти и Бухарестом, по которому только и может лететь наша машина. И Плоешти и Бухарест, особенно последнее время, часто бомбит американская и английская авиация. Немецким самолетам — без риска быть обстрелянными зенитными румынскими орудиями можно лететь только по этому узенькому коридору. На прошлой неделе, по словам летчика, здесь румыны сбили такой же Ю-52, уклонившийся немного в сторону. Впрочем, отношение румын к своему союзнику сейчас таково, что могут сбить и без всякого отклонения, а уж если отклонишься и дашь формальное право, то они не преминут сбить обязательно. Поэтому по прямой, как стрела, линии мы летим до самого Дуная и потом, под острым углом почти, возвращаемся назад. Место посадки — Галац, небольшой городок на Дунае, недалеко от его впадения в Черное море.

После трех лет, проведенных в полуголодной Германии, изобилие продуктов здесь кажется невероятным. Окна магазинов, витрины ресторанов завалены мясными изделиями, кондитерские — такими пирожными, какие я в последний раз видел только в Югославии перед войной, винные магазины переполнены спиртными напитками, в киосках несколько сортов папирос — всё это без всяких карточек. Мои спутники, особенно молодежь, все люди подсоветские, такую вакханалию еды видят впервые в жизни.

Покупать мы можем немного. Еще в Берлине мы получили по несколько сот лей — и это всё, что нам должно хватить на время пребывания в Румынии. Немецкие солдаты лей не получают совсем, — ходят от витрины к витрине, вздыхают, долго рассматривают выставленную снедь и потом возвращаются в свои казармы. Впрочем, их здесь очень немного — Галац еще довольно глубокий тыл. Румыния каким-то образом в смысле экономическом сохранила большую независимость от своего прожорливого великого союзника.

На следующий день утром на небольшом самолетике летим в Кишинев, а оттуда к Днестру на грузовике, — на том берегу остановилась Красная Армия.

Километрах в тридцати от Кишинева, между Григориополем и Дубосары Днестр делает крутую дугу. Немцы укре-

пили образовавшийся на восточном берегу полуостров и задержали его, как предмостное укрепление.

За день до нашего приезда красное командование повело наступление, чтобы выкинуть немцев на эту сторону. Простым обывательским глазом было видно, что операция исключительно безграмотна — весь полуостров вдавлен в западный берег, горловина его очень узкая, и вся площадь с трех сторон простреливается прямой наводкой с этого берега. Даже если б атаки и увенчались успехом, занимать этот полуостровок было бы то же, что лезть в мышеловку: с этого высокого берега отчетливо виден каждый кустик и каждый человек, как на ладони. Наступление не имело успеха. Немцы взяли несколько тысяч человек пленных и удержали все позиции в своих руках.

В небольшом селе, километрах в двух от берега, около школы — толпа пленных в несколько сот человек. Всё время поодиночке и группами, иногда без всякой охраны, подходят от Днестра новые.

Странное зрелище производит эта толпа. В ней редко можно увидеть человека в форме, хоть в какой-то степени напоминающей военную. Все остальные в сугубо штатском виде — пиджаки или цветные рубашки, брюки в полоску или белые парусиновые, желтые или черные полуботинки, изредка сапоги.

Из разговора выясняем, что это мужское население города Одессы, захваченное частями Красной армии после того, как ушли немцы.

Красные вошли в город ночью, а уже в четыре часа утра по городу были расклеены плакаты с приказом явиться в военную комендатуру всем мужчинам.

— Собралось нас несколько тысяч человек, — рассказывает один. — Никого ни о чем не спрашивали, вышел какой-то очень сердитый офицер и обратился с речью, что вот, мол, пока они, Красная армия, воевали, мы здесь жир нагуливали. Так теперь нам нужно искупить свою вину перед родиной и отправляться на фронт. Подошла часть особого отдела НКВД, окружила нас, рабов Божиих, и повела за город. А потом так, походным порядком, и шли, пока до Днестра не дошли . . .

— Останавливались редко, — перебивает его другой, — только для того, чтобы провести политические занятия, или потом строевые. А потом марш-марш и опять дальше. В дороге почти не кормили . . .

Действительно, почти у каждого в кармане или зерна кукурузы или просто пшено — «вот так и питались всю дорогу» . . .

— Дело это ясное, — вступает в разговор довольно пожилой, по виду рабочий. — Оставить нас на свободе нельзя — народ мы порченый, подумать только, ведь три года фашистским воздухом дышали. Расстрелять тоже как-то неудобно; с другой стороны, мы, опять-же жертвы фашизма. Вот командование и нашло выход — гонит нашего брата на передовую, в самые гиблые места. Получается дешево и красиво. И перебьют всех нас, и советское правительство тут не при чем, а может быть, и прок какой-нибудь выйдет, может, пока нас немцы перестреляют, мы и им какой-нибудь урон нанесем . . .

В урон верится с трудом: так невоинственно и беззлобно выглядит вся эта публика. Все они по три года прожили с этой стороны фронта и чувствуют себя здесь больше дома, чем с той.

О счастливой находке советского командования мы слышали уже давно. Мужское население «освобожденных» городов и сел сразу же забиралось в отдельные штрафные команды. Эти команды гонялись на минные поля, подстрекаемые лежащими сзади цепями заградительных отрядов, бросались в лобовые атаки на укрепленные немецкие пулеметные гнезда и во всякие другие места, из которых не было надежды выбраться живым. Об этом рассказывали военнопленные и на северном и на среднем участке фронта. Здесь мы их увидели своими глазами. Кто-то назвал их почему-то «чернокожими», так с невеселым юмором они о себе говорят: чернокожие мы и судьба наша черная!

— Да вон спросите капитана о том, как мы шли походом и воевали. Мы его еще с той стороны обрабатываем. Рассказывали, как мы в Одессе при румынах жили, — говорит рабочий.

В сторонке я вижу небольшую группу одетых в определенно военную форму людей. Подхожу ближе — офицеры. Все в погонах, по глазам видно, что к немцам попали в первый раз. Я вспоминаю, что «чернокожими» обыкновенно командуют офицеры, за те или иные преступления осужденные пробыть известный срок в штрафных батальонах. Подхожу к одному с капитанскими погонами, старательно закручивающему папиросу.

— Ну, как, капитан, воевалось?

Он вскидывает умные веселые глаза и, кивнув головой в сторону стоящих группой соратников, отвечает:

— Ну, как же могло воеваться с такой публикой?

— Да, публика у вас, действительно, не очень героическая . . .

— Одесситы, — смеется он.

Одесса — это особое понятие. Самый большой город и торговый порт России на Черном море, веками живший торговлей с заграницей, контрабандой и невероятнейшими профессиями. У Одессы свои песни, свой жаргон, свое особое отношение к людям и к жизни, отношение, скорее, утилитарное, чем отвлеченное, иногда с налетом легкой беззлобной преступности. Одессит зовет свою родину — Одесса-мама. Население города, кроме русских — греки, армяне, евреи, румыны, турки. В течение веков все это перемешалось и создало тип предприимчивого, жизнерадостного, немного жуликоватого, веселого и симпатичного пройдохи. Одесситы... Вот эту публику лишенные чувства юмора советские вожди четверть века перевоспитывали в борцов революции. Немилосердно пичкали политическими мудростями о гниющем капитализме, прибавочной стоимости, капиталистическом окружении, о великой миссии пролетариата, о гениальности вождя и прочей ерунде. Если посмотреть на них сейчас, то из всех этих мудростей к одесситу не прилипло ничего. Каким он был, таким и остался.

Одессе во время войны повезло, — она была оккупирована румынами. По первопутку пришельцы, зараженные примером своего союзника, держали себя страшно высокомерно и тоже говорили что-то о новой Европе, о великой Румынии и о том, что они принесли светоч культуры сюда на восток. Продержалось это недолго. Поговорили, поговорили, а потом занялись торговлей. Контрагентом в любых торговых операциях охотно выступала румынская победоносная армия. У румынского солдата можно было купить все, от французских духов до пулемета с боеприпасами, от письменного стола до хирургических инструментов. Точно так же ему можно было все и продать, торговал он с удовольствием, не скрывая предпочитал славе боевого оружия операции на черном рынке. Офицеры делали обороты крупнее. У них можно было купить и грузовую машину и визу в Румынию.

Жизнь била ключом, — рассказывали очевидцы. Одесса никогда не жила так сытно и весело, как во времена румынской оккупации. Эти годы можно было бы сравнить только с годами дореволюционного времени.

Дурь о культуртрегерстве прошла у румын очень скоро. Были открыты школы, а потом даже университет.

— Хорошее время было, — со вздохом вспоминают и военнопленные. — Все работали. Кто открыл мастерскую, кто парикмахерскую, кто варил мыло, кто делал лимонад. Веселая жизнь была... — говорят они все в один голос.

Мое внимание привлекает солдат, рядом со мной рассказывающий одному из спутников о сегодняшнем бое.

Мальчуган лет семнадцати, черные иссиня кудри, светло-голубые, как васильки, глаза и матовый оттенок кожи — попадись такой в институт нацистской антропологии, головы сломали бы знатоки, что за раса, какое племя и национальная принадлежность. Захлебываясь, с восторгом, рассказывает:

— Построили нас вчера вечером, а перед нами автоматчики, заградительный отряд. Офицер говорит: «Завтра утром в атаку пойдете, вам, говорит, представляется возможность доказать, советские вы люди, или, так, дрянь фашистская. Имейте, говорит, в виду, обратно вам дороги нет. Только, говорит, за родину, за Сталина, вперед» . . . — На рассвете пошли. Идем, понимаете, а немцы не стреляют. Что, думаем, за чудо? Может, ушли они ночью? Вдруг как хватят залпом, — нет, не ушли, тут сидят. Замешкались мы немножко. Приостановились. В это время сзади пулемет заработал. Упало у нас несколько человек.

Немцы с такой атакой имели дело, по-видимому, не впервые.

— Открыли они, понимаете, огонь из минометов, немцы-то, да все через наши головы, назад. Ну, мы и попадали на землю. А потом так, ползком, и перебрались сюда, — обратно-то не пойдешь, все равно расстреляют, — со вкусом заканчивает рассказчик.

Капитан во время этого рассказа пристально рассматривает меня и еще пристальнее моих спутников. Разговор с ним завязывается не сразу. Он со сдержанным любопытством и, повидимому, ничего не понимая, наконец решается и задает вопрос:

— А вы, простите, кто ж такие будете?

— Мы — русские. Я журналист, а вот те, что в форме, — офицеры РОА, Русской Освободительной Армии. Слышали о ней?

— Власовцы, значит! Вот, ты, какое дело! — удивляется он. — Так ведь мы же с вами вроде, как бы знакомые.

— Очень приятно, но только каким образом?

— Да я из-за листовки, в которой о Власове писалось, в штрафную роту попал. Заинтересовался, понимаете, подобрал и спрятал в карман, потом, думаю, прочту, да и забыл. Пришел в Штаб полка, закуриваю, она и выпади у меня из кармана. Тут меня и арестовали . . .

— Так что же, так и не прочитали?

— Эту нет. Раньше читал.

— Ну, и что?

— Трудное дело задумали, — как-то неопределенно отвечает он.

Ну, а как там сейчас, вообще-то подъем большой? Вперед идем, побеждаем? — спрашиваю я.

— Подъем, конечно, большой, конец войне виден.

— Ну, а что потом? Опять по-старому, как до войны было?

— Вот это не знаю, — с подкупающей искренностью отвечает он. — Об этом думают многие. По-старому не хотелось бы, а будет ли по-новому, — трудно сказать... Надеемся что будет, не может не быть. Устал народ. Мира хочет...

— Мы, капитан, трудное дело задумали от неверия, что будет по-новому. И не только не верим в перемены, а знаем, что не будет их. А по-старому больше нельзя. По-старому это значит, вот так, что вас, боевого офицера, за случайно поднятую листовку в штрафной батальон загнали, вот этих одесситов, как скот, на бойню стадом гонят, даже не позаботились о том, чтобы их чему-нибудь подучить. Вот этих офицеров — показываю я на своих спутников — в государственные преступники записали еще до того, как они из-за проволоки лагеря военнопленных вышли, а в плен попали оба раненьми...

— Да, за это уж по головке не погладят, — соглашается он. — В плен попасть — все равно, что умереть, возврата нету.

— Ну, вот, поживите здесь, присмотритесь, может быть и сами так решите, как и мы, как тысячи и миллионы других.

Капитана пока больше занимает его сегодняшний день:

— Ну, а что же с нами будет дальше, как здесь сейчас?

— Сейчас ничего, не страшно. Тяжело было в 41-ом году, — отвечает один из подошедших со мной офицеров. — Будете сидеть в лагере, кормят неважно, но с голоду не умрете. Как офицер можете работать, а если не хотите, то не обязаны. Сейчас уж терпеть можно...

Расстаемся почти друзьями.

— Так может быть, встретимся, капитан?

— Может быть, — говорит он задумчиво, — может быть...

*

Разговоры с этими военнопленными не дали ничего нового. Их настроения не были характерными для Красной Армии того времени. Она одержала уже первые победы и шла вперед на запад. Правда, и немецкая армия была уже далеко не такой как в 1941 году. Почти все они по два-три года были с этой стороны. Короткое пребывание с той — это несколько кошмарных дней похода к фронту, несколько минут под перекрестным огнем немцев, с одной стороны, и за-

градительных советских отрядов, с другой, и это всё. Из-за всего этого не стоило делать, в общем, две с половиной тысячи километров. Но мысль поговорить со свежими людьми с той стороны была верна. Практика показала, что два дня пребывания здесь делает их, как собеседников, неинтересными. Они уже к этому времени в курсе всех здешних дел и стараются только угадать тот ответ, который вы хотели бы слышать.

Возвращаемся в Кишинев под вечер. Город совсем пустой. Много разбитых бомбами и сожженных домов. Следы бомбардировок еще первого года войны. Весь он зарос сиренью. Огромные кусты ее закрывают выгоревшие развалины. Из запущенных садов тяжелые гроздьи свешиваются на улицы, по которым уже давно никто не ходит.

С большим трудом мы нашли несколько семейств беженцев из России, ушедших вместе с немцами от Красной Армии. Приютились они в чужих домах и квартирах и заняты тревожными мыслями, смогут ли двинуться дальше.

Следующие дни мы ездим на север. В небольших стычках, происходящих то с этой, то с той стороны Днестра, нередко бывают взяты одиночные пленные и иногда небольшие группы. В большинстве случаев это люди, оказавшиеся с этой стороны впервые.

Впечатление от разговоров с ними одно и то же. Конец войны близок, а что будет дальше — неизвестно. Все ждут перемен и боятся, что их может не быть.

Наше появление не вызывает ни у кого из них удивления. Все они слушали, что с этой стороны фронта есть много русских, которые хотят бороться против Сталина. Были желающие сразу же присоединиться к нам. Были настроенные более скептически, но не враждебно. Осторожность их диктуется только неуверенностью в том, что задуманное нами дело может иметь успех. Один, недавно взятый в армию пожилой москвич, сформулировал свое отношение так:

— Я понимаю, какие чувства руководят всеми вами, но только думаю, что не нужно этого. Будут перемены. Не могут не быть. Обойдется всё без кровопролития. Народ сейчас не тот, чтобы он вернулся обратно после победы и без всяких гарантий и условий выпустил оружие из рук. В Кремле же с этим считаются! — там ведь люди не глупые. То, что было, не вернется, не может вернуться...

Но и это мнение было скорее подтверждением нашей правоты, чем ее отрицанием. Разница между нами заключалась только в том, что они еще верили в возможность перемен после войны, а мы в них категорически не верили. Как показала жизнь, были правы мы.

Сделать имя Власова известным помогла советская печать. В первые дни, после его выступления в Виннице советские пропагандисты сделали сгоряча большую ошибку — в «Ленинградской Правде» и почти во всех фронтовых газетах были помещены статьи о нем еще в 1942 году. По традиции советской пропаганды он был представлен, как агент не то пяти, не то шести иностранных разведок сразу, как фашист и предатель родины и враг народа, более или менее, с детского возраста.

Шаг был неумным. По-видимому, это поняли скоро и сами руководители пропаганды. Власова воспевали в свое время, как блестящего командира дивизии, потом как защитника Киева и, наконец, осенью 41-го года, — как одного из военачальников, нанесшего крупное поражение немцам под Москвой. Был сделан даже целый фильм об обороне столицы, в котором защитники Москвы располагались в таком порядке: в Кремле — Сталин за большой картой Генерального Штаба глубокомысленно выводит что-то карандашом, потом — маршал Жуков в Главной Квартире Командования и за ним непосредственно — Власов в снежной вьюге на передовой линии фронта. Этот фильм видела вся Россия. И вдруг советская печать сообщает, что он, Власов, организует силы для борьбы против большевизма.

Эффект был не тот, на который рассчитывали пропагандисты, и сделанную ими ошибку исправить им не удалось уже никогда. Характеристика Власова, как агента иностранных разведок, советского читателя не убеждала ни в чем. К такой оценке врагов советской власти он привык давно, и выводы о случившемся у него строились совсем в другом плане, чем этого хотелось отделу пропаганды. Советский читатель уже привык давно к тому, что все враги советского правительства перед тем, как выступить против него, якобы нанимаются к кому-нибудь шпионами. Так было со всеми, начиная с Троцкого и кончая Тухачевским. Они все были «шпионами», впрочем аккуратно менявшими своих работодателей в зависимости от отношения в данный момент советского правительства к той или иной стране. Когда портились отношения с Германией — все шпионы в полном составе переходили к ней. Если осложнялись отношения с Японией — все шпионы незамедлительно перебирались в Токио. В момент спора с демократиями — разведчиков ничем нельзя было удержать от поступления на службу в Интеллидженс-Сервис или Второе Бюро. Роль государственного прокурора во время нашумевших процессов была очень трудной: задним числом, с учетом всей сложности взаимоотношений Советского Союза с иностранным миром, распределить всех

«врагов народа» по иностранным разведкам, причем сделать это так, чтобы не перепутать ни годов, ни отношений советского правительства к тому или иному государству или к группе государств. Государственный прокурор Вышинский справлялся с этой сложной задачей вполне удовлетворительно.

В наших разговорах с военнопленными как раз Власов, его патриотизм, честность его намерений, преданность его родине у них не вызывали никаких сомнений. И благодаря тому, что русский антибольшевизм за рубежом был возглавлен им, у этих людей он вызывал сочувствие и понимание. В массе его не осуждали и в случае первых успехов нашего выступления, можно было рассчитывать на поддержку и с той стороны фронта. Но если успехов не будет, то начать антикоммунистическую борьбу в самой России едва ли будет возможным.

Через несколько дней непрерывных поездок на разные участки фронта севернее Кишинева мы таким же маленьким самолетиком возвращаемся обратно. В Галаце целую неделю ждем застрявший где-то в Берлине наш Ю-52. Наконец, появляется и он. Ранним утром летим в Берлин, на этот раз уже в один день. Железные Ворота совсем закрыты. Два самолета, рискнувшие для сокращения пути пролететь через них, были сбиты истребителями; не помогла и сильная в этот день облачность. Мы летим, делая большую дугу на север, через Краков. В шесть часов вечера приземляемся на каком-то маленьком аэродроме около Потсдама.

Я в тот же вечер еду в Далем рассказать о впечатлениях и узнать, что произошло здесь нового.

Глава II

У цели

Переговоры, начатые немцами с Власовым, при первых же шагах требовали коренной ломки всех основ так называемой восточной политики. Целью похода на восток Гитлер ставил расчленение России. На языках многих народов, входящих в нее, говорилось и об «освобождении угнетенных ею национальностей». В эти угнетенные национальности входили, прежде всего, украинцы, белоруссы, каждый в отдельности из народов Кавказа, узбеки, азербайджанцы, армяне и другие. Среди каждой из этих народностей нашлась какая-то группочка людей, иногда это были просто единицы, которые откликнулись на призыв Розенберга к дележу России. В недрах Восточного министерства вынашивались не только планы раздела, но и намечались будущие пути для каждого народа в отдельности. Во всем этом было гораздо больше пропаганды, чем политики потому, что конечные планы Германии на востоке не имели в виду создания ни самостоятельной Украины, ни Белоруссии, ни, тем более, Азербайджана. Истинная цель была — расчленение страны на составные части и колонизация их каждой в отдельности. На этой почве, уже в начале войны, происходили трения между военным командованием и Восточным Министерством.

Когда немцы пришли для переговоров к Власову, им было поставлено первое категорическое условие — он может разговаривать от лица представителей всех народов России. Доказать необходимость этого не представляло большой трудности — если он, Власов, будет говорить от имени только русского народа, то, значит, он признает политику Восточного Министерства правильной и раздел

России желательным. Это было бы использовано советской пропагандой, как продолжение восточной политики Розенберга с немецкой стороны и предательством интересов России со стороны Власова. Это было ясным и с этим спорить было нельзя. Немецкой стороной это положение было принято как исходный пункт для дальнейших переговоров.

Не трудно представить, какой переполох это вызвало в Восточном Минитерстве, у «министров» будущих национальных правительств и злобу у самого Розенберга.

Дело осложнялось тем, что участники дележа России, в течение трех лет не только получали жалованье и мечтали о министерских креслах, но и развивали бурную деятельность, сопровождаемую большим темпераментом и энергией. В порядке выполнения планов дележа из военнопленных разных национальностей создавались батальоны, которые воспитывались в звериной ненависти не только и не так к большевизму, как ко всему русскому. Для них издавались газеты и журналы, читались лекции и доклады, искусственно раздувался уродливый, злобный шовинизм. Будущие правительства отдавали этому все свое время.

Результаты не всегда соответствовали затраченным усилиям и выглядели нередко довольно курьезно.

Как-то, когда редакция «Зари» помещалась еще на Виктория-штрассе, туда зашел солдат из такого национального батальона. Оказалось, что его уже из России направил сюда один из наших бывших сидельцев. Цель визита — достать что-нибудь почитать для солдат его части, узнать как и что вообще, а главное, заявил он, поговорить по-русски. Сам он оказался узбеком. С большим юмором рассказывал он о немецкой политике раздела России, как солнце в капле воды отразившейся в их батальоне.

— Запретили, знаете, говорить по-русски, а у нас в батальоне оказались и татары, и узбеки, и калмыки. Было несколько человек и русских, забайкальских казаков. Когда формировался батальон, какие-то зондерфюреры собирали людей по признаку скуластых лиц, раскосых глаз и цвету кожи. Единственный для всех понятный и свой язык — это русский. А на нем запретили нам разговаривать. Вот мы и молчим целый день... Зато вечером, когда уходит немецкое начальство, разговоры начинаются — не остановишь... Нужно наговориться за целый день, выяснить все недоразумения, которые произошли от всеобщего молчания, разобраться в нарядах на завтра, да и просто поболтать.

Гость оказался окончившим один из университетов в Москве, большим знатоком русской литературы и любителем поэзии. После трех часов непрерывной болтовни, — декламировали друг другу стихи, вспоминали любимых поэтов и писателей. Под вечер, нагрузившись двумя большими тюками литературы — он не мог унести бы все сам — мы проводили его на вокзал.

Все батальоны, сформированные из военнопленных разных национальностей, находились под командованием немецкого генерала Кестринга, который с большой гордостью носил за это экзотически-пышное, но в такой же степени бессмысленное звание «генерала восточных войск». В отношении к русскому народу, как и к другим народам России, генерал отличался от остальных руководителей немецкой политики только хорошим знанием русского языка. Он родился и вырос в России, при Гитлере был военным атташе в Москве. По окончании войны за ним обнаружилось еще одно небанальное для немецкого генерала качество — он оказался не таким уж непримиримым противником большевизма, за какого приходилось ему выдавать себя при Гитлере. Весь командный состав батальонов, до командиров взводов включительно, были немцы, или специально подготовленные для этого, или болеющие нацистским недугом уже раньше.

Признав за Власовым право на объединение всех народов России и их усилий против общего врага большевизма, ведущие с ним переговоры немцы приобрели в лице Розенберга, Кестринга и всех, кто разделял их точку зрения, а таких в политическом мире было большинство, ожесточенных противников, а сам Власов и начатое им дело непримиримых врагов. Особенно горячо протестовал против этого генерал Кестринг. Генерал, по простоте душевной, совсем серьезно считал себя возглавителем русской оппозиции, русского антибольшевизма. Приближенным к нему офицерам он горько жаловался: «Причем же тут Власов? ведь я же вождь Русского Освободительного Движения». Это было бы забавным, но вначале и это являлось препятствиями и помехами в начатом деле. Все это нужно было преодолеть, а времени оставалось не так много.

Закрепив за собой первую позицию, то есть, право на объединение всех российских антибольшевистских сил, Власов, продолжая переговоры с немцами дальше о формах сотрудничества и размерах той помощи, которую они смогут оказать, параллельно начал вести переговоры с представителями угнетенных большевизмом народов России. Для этого нужно было искать людей, достойных и доста-

точно авторитетных, имеющих право представлять свои народы и согласных войти в формирующийся Комитет Освобождения.

Когда я вернулся с фронта, эта работа была уже в полном разгаре. Целыми днями приходили какие-то люди, иногда целые делегации. Их нужно было информировать о начинающемся объединении сил, иногда убеждать в необходимости его, уговаривать. Не всегда это давало положительные результаты. Так, потратив полдня на разговоры с председателем «Белорусского правительства», вызванного из небытия Розенбергом, мы прочли на следующий день в «Фелькишер Беобахтер», что «государственным министром Розенбергом был вчера принят» наш вчерашний гость. Господин премьер, очевидно, сразу же из Далема помчался к своему покровителю не то с жалобой, не то с доносом, но это был единственный случай. Благоразумие и очевидность диктовали людям умным только один возможный выход — итти вместе.

Работа по объединению шла быстро. Очень скоро вошли в Комитет и украинцы, и армяне, и грузины и остальные. Вошли и белоруссы, правда, представленные не своим премьером, для которого обещанный ему Розенбергом пост президента будущей Белорусской республики закрыл, по-видимому, все горизонты. Самыми мудрыми и государственно зрелыми показали себя калмыки. За все время работы Комитета и в дальнейшем они давали пример, как подлинные россияне, нередко опережая в этом отношении и русских.

Параллельно с подбором состава Комитета велась большая подготовительная работа и в других областях. В Дабендорфе отшлифовывался последний текст будущего манифеста. В основу его программной части были положены установки и принципы программы нашей организации. Это произошло не потому, что писали его, в основном, наши друзья, а потому, что ничего другого писать не нужно было. Эти основы были приемлемы для всех и отвечали демократическим стремлениям освободившихся от сталинского террора масс. Программа была «испробована» и в занятых немцами областях, и в лагерях военнопленных, и в лагерях рабочих. Для нас, оставшихся на свободе членов организации, это было большой радостью. Нам не приходилось принимать двойного подданства, чтобы целиком отдать себя делу, начатому Власовым. Как организация, мы не могли принять участия в формировании Освободительного Движения, во-первых, потому что юридически она не существовала, во-вторых, потому что почти все возгла-

вление и сотни членов сидели в немецких концлагерях. Но в личном порядке все члены, избежавшие ареста, все группы, созданные за эти три года, широким потоком влились в Движение, некоторые из членов вошли в узкий круг высшего его руководства.

Следующей позицией, которую Власову удалось занять в переговорах, было то, что с момента окончательного оформления Комитета и опубликования Манифеста вся пропаганда и на ту и на эту сторону фронта должна быть передана в руки Комитета. Это было ударом опять по Розенбергу, потому что Восточное Министерство вело пропаганду в занятых областях, это было ударом по Верховному Командованию немецкой армии потому, что оно вело пропаганду на ту сторону, это было ударом и по Геббельсу потому, что всякая пропаганда вообще велась под его контролем.

Для того, чтобы создать органы, способные справиться с этой трудной задачей в намечающейся к формированию Освободительной Армии, среди гражданского населения, рабочих и беженцев, и что самое важное, на ту сторону, нужно было провести большую работу, найти нужных людей, создать организации, радиостанции, типографии, редакции газет и журналов, наладить каналы распространения и т. д.

Начальником отдела пропаганды будущего Комитета Власовым был назначен генерал Жиленков. Намечалось создание большой центральной газеты общественно-политического органа Комитета, газеты для армии, и нескольких газет помельче на окраинах в Австрии, Италии, Норвегии, Дании, в других местах большого скопления русских людей и в не занятых еще Красной Армией областях Польши. Намечалось создание газет на языках народов, представители которых вошли в Комитет. Тираж центрального органа и газеты для армии был определен по 250.000. Остальные гораздо меньше. Из-за недостатка бумаги очень сокращены были в то время и тиражи немецких газет.

Параллельно с этим формировались органы гражданского управления для защиты прав русских людей, находившихся в Германии, прежде всего, конечно, рабочих, положение которых было наиболее тяжелым. В недалекой перспективе намечались мероприятия по освобождению этих людей из ведения немецких органов и постепенный переход их в ведение Комитета. Для начала Власовым было вытребовано распоряжение об уравнении русских рабочих в правах с другими иностранными рабочими, которое вскоре и появилось в печати. Оно не произвело магичес-

кого действия в смысле перемены положения наших «остов»: сопротивление с немецкой стороны было большим и ожесточенным. Но со временем и медленно оно все-таки проводилось в жизнь почти всюду.

Формирующееся Движение было встречено в штыки не только с немецкой стороны, но с разной степенью враждебности и со стороны некоторой численно незначительной части русских людей. Так в открытую оппозицию к нему встало бывшее возглавление эмиграции в Германии. Для них Власов был неприемлемым, как выскочка, не имеющий права на то, чтобы возглавить русский антибольшевизм. Право на водительство оно еще в первые годы навсегда запатентовало за собой и уступать его никому не хотело. На патенте стояла печать и подпись все того же Розенберга. Генерал Бискупский, которому поручено было Гитлером управление и наблюдение за русской эмиграцией, сначала в Германии, а потом и во всей Европе, был давно связан с национал-социализмом и в свое время оказал ему даже большие услуги — после неудачного путча в Мюнхене в 1923 году у него на даче какое-то время скрывался Гитлер. Позднее генерал отдал все свои небольшие средства в кассу нацистской партии. После прихода Гитлера к власти — генерал в знак признательности и был назначен на этот пост.

Враждебно было встречено Движение руководителем казаков генералом Красновым, как потом оказалось враждебно только им персонально, вопреки стремлениям самих казаков, в критические дни единогласно выразившим желание влиться в Освободительное движение.

Незначительная количественно часть подсоветских людей видела во Власове члена коммунистической партии с 1930 года и одного из ближайших сотрудников Сталина во время войны, — для них он был недостаточно антисоветским, был оппозиционером по отношению к большевизму, а не врагом его, какими считали они себя. В этих кругах выходящее на арену Движение часто соединялось знаком равенства с модным в то время словом необольшевизм. Эта группа продолжала оставаться у развалин Восточного Министерства.

Но все это были величины микроорганические по сравнению с той многомиллионной массой, которая встала за Власовым стеной. Я упоминаю об этой русской оппозиции только для того, чтобы оттенить добровольность, подлинную народность и массовость Движения. Практически эти группы никакого сопротивления не оказали и оказать не могли. Но в их существовании руководители немецкой по-

литики, приверженцы Розенберга, видели подтверждение своей правоты и черпали силы, чтобы противостоять окончательной ломке идеалов, на которых воспитана была национал-социалистическая партия. В огне вспыхнувшего потом массового энтузиазма эти маленькие оппозиционные группы растопились окончательно и очень многие из них присоединились к Движению позднее.

*

Через несколько дней после возвращения с фронта меня попросил приехать к нему Жиленков. Формирующийся Отдел Пропаганды находится в большом доме там же в Далеме, недалеко от виллы занятой Власовым.

Я приезжаю сюда впервые. На лестнице, в коридорах и во всех комнатах — множество народа. Бегают туда и сюда офицеры, пропагандисты с фронта, стучат машинки, кто-то кричит по телефону. В стороне — группа иностранных журналистов, итальянцы и, если не ошибаюсь, болгары.

Я стучу в дверь и прохожу прямо в кабинет. За столом сидит Жиленков, перед ним на стуле два незнакомых мне молодых человека в штатском. Он знакомит нас. По окончанию обеих названных гостями фамилий я догадываюсь: сербы.

— Вот, мы сидим уже довольно долго, — не без смущения говорит Жиленков, — не меньше, чем четверть часа, и всё стараемся друг другу сказать что-то, и, повидимому, хорошее сказать, а ничего не выходит. Ни я их, ни они меня явно не понимают. Выручите, дорогой, вы, ведь, знаете сербский язык.

Гости оказались своеобразной делегацией от сербской антикоммунистической молодежи, которая в отрядах, сформированных Летичем, борется против коммунистических партизан Тито. Гости приехали с определенной задачей: один из них произносит, повидимому, заранее приготовленную и заученную речь.

— Нас наши друзья, учащаяся молодежь Югославии, послали сюда найти генерала Власова и сказать ему, что мы вливаемся в антикоммунистическое Движение, которое он возглавляет. Мы считаем, что все антикоммунистические силы сегодня должны объединиться в общей борьбе. Коммунизм един — объединенными должны быть и мы... Мы передали письмо генералу Власову, он его взял, а нас направил сюда...

Я перевожу его слова.

— Всё это очень приятно слышать, радостно всё это, — говорит Жиленков, — и вы им скажите, что-нибудь хорошее и приветливое, но... мы еще не можем вести переговоров, даже и таких сердечных, с иностранцами. Пожелайте им всего хорошего и выразите уверенность, что мы с ними еще встретимся для того, чтобы бороться за освобождение и сербского и русского народа от нашего общего врага.

Гости довольны, улыбаются, встают и, по-юношески старательно расшаркавшись, уходят. Жиленков провожает их до дверей комнаты, я иду до калитки. Мне хочется сказать им что-то очень хорошее, мне кажется, что прием был слишком холодным и официальным. Спускаясь по лестнице, я беру их обоих под руки и, наклонившись, говорю:

— Каждое сказанное и Власовым и Жиленковым слово должно звучать для вас гораздо теплее, чем они были сказаны. Формирование наших сил еще только начинается и связью с какими угодно иностранцами им не хотелось бы осложнять еще не окончившиеся переговоры...

Они весело улыбаются:

— Мы понимаем всё это и того, что мы слышали, вполне достаточно, больше чем достаточно. Когда мы приедем к своим и расскажем, что Власов на самом деле есть, что мы его видели и даже с ним разговаривали, наши друзья будут очень рады. Мы ведь не верили, что это на самом деле, думали, что это какой-нибудь немецкий трюк, пропаганда... Нас будут водить из дома в дом и показывать как людей, которые говорили с Власовым.

Месяца два спустя через знакомого журналиста серба они переслали мне в подарок большую пачку журналов, которые выпускала эта молодежь. Каждый батальон и чуть ли не каждая рота издавали свой собственный. Всё это писалось от руки и только изредка на пишущей машинке. Три четверти содержания всех журналов были посвящены Власову и Русскому Освободительному Движению, которое эта молодежь считала и своим кровным делом.

Вернувшись в кабинет, я рассказываю Жиленкову о нашем разговоре на лестнице. Он смеется, — вот, вам и международная политика...

— К этому нужно быть готовым, Георгий Николаевич, — говорю я. — Не подлежит никакому сомнению, что такие же, может, менее сердечные, разговоры придется вести и с болгарами, и с румынами, и с поляками. О том, что враг у всех один, что необходимо объединить силы для борьбы с ним, они догадаются очень скоро, и мне кажется, что отвоевать свободу в сношениях с ними одна из самых главных задач. Скажу даже больше: может быть, наступит день, когда вот

с такими пожеланиями о совместной борьбе и об объединении сил придут и какие-то скромные немцы... Но это будет, вероятно, уже после панихиды по скончавшимся безвременно вождям. Вы не думаете?

— Может быть, когда-нибудь, а сейчас сомневаюсь, — отвечает он. — На союзника нам, надо сказать, не повезло. С их стороны это было бы признанием их неспособности объединить антикоммунистическую Европу. А то, что они сами ее против себя восстановили, им не приходит в голову... Может быть, и придут когда-нибудь. Может быть, даже раньше, чем скончаются вожди... Ну, да это уж фантазии. Звал-то я вас не как переводчика, а совсем по другому делу...

Он складывает стопкой лежащие на столе бумаги, отодвигает их в сторону.

— Что вы скажете, — вернее, как вам представляется наш будущий центральный орган, наша газета? Какой она должна быть?

— Знаете, Георгий Николаевич, я вам могу сейчас назвать десять эпитетов, определяющих, какой она должна быть, — ведущей, умной, организующей и так без конца, но где-то, на втором или на третьем месте, если уж не на первом, я поставил бы один совершенно определенный эпитет...

— А именно?

— Она должна быть и европейской. Ее нужно сделать такой, чтобы ее читала антикоммунистическая Европа, чтобы в наших формирующихся силах Европа видела свое спасение и помогла бы нам... Больше того, она, наша газета, должна быть такой, чтобы ее с интересом кто-то читал с той стороны фронта, не с той, не на востоке, это само собой разумеется, а с другой — на западе. Чтобы там увидели в нас не союзников Гитлера, а врагов Сталина...

— Это то, что я говорил сегодня Андрею Андреевичу, — соглашается понимающе он. — Знаете что, можете набросать на бумажке то, что вы думаете по этому поводу еще. Но не забудьте также, что ее, нашу газету, будут читать наши рабочие и крестьяне, ее будут читать наши солдаты, ее мы будем как-то, уменьшенной или сфотографированной, — не знаю, это вопрос техники, — ее мы будем перебрасывать на ту сторону для Красной армии. Она должна быть и такой. Напишите, что вы думаете поподробнее, но не очень длинно. Я, к сожалению, должен уходить, оставьте у меня на столе.

Я иду в канцелярию, нахожу свободную машинку и пишу небольшую записку о газете. Все это уже не раз продумано и проверено в разговоре с другими. Роль нашего буду-

щего органа будет в равной степени как ответственной, так и трудной. Немцы, конечно, будут цепляться и ставить свои условия, но этот участок антинемецкого фронта надо будет особенно как-то крепко забронировать. То, что написано, останется документом и на завтра, и на послезавтра, и пока есть немцы, и когда не будет немцев...

Вечером Жиленков позвонил мне и попросил приехать завтра точно в десять к Власову.

*

— Здравствуй, редактор, — встречает меня на следующий день Андрей Андреевич, — располагайся, кури и слушай.

Он садится за стол и, глядя поверх очков, говорит:

— Так вот, поговорили мы с Георгием Николаевичем, поругались — ну, это я шучу, — улыбается он, — и потом все-таки столковались и решили предложить тебе этим делом заняться... Как ты голосуешь? присоединяешься к большинству или нет?

Предложение для меня не совсем ново. Как-то давно, еще в период разговоров наших в лаборатории, Андрей Андреевич, тогда еще полушутя - полусерьезно, говорил об этом. Тогда мне казалось это преждевременным. Кроме того, тогда еще был жив Зыков и, по моему глубокому убеждению, никто не мог бы справиться с этой задачей, как он. Хотя при развороте Движения он смог бы нести какой-нибудь груз и потяжелее. Может быть, вот тот, который лег сегодня на Жиленкова. Вчерашний разговор тоже имел, конечно, совершенно определенное значение, так что предложение для меня не было неожиданным.

— Ну, так как? — повторяет вопрос Андрей Андреевич.

— В принципе — да, — отвечаю я.

— В принципе это мало, а в деталях? и во всем остальном? Хочется условия какие-нибудь поставить, а? — спрашивает он.

— Нет, Андрей Андреевич, условий ставить не хочется. Какие уж тут условия, если все наше существование обусловлено целым рядом условий. Мне хочется только сказать, что я смогу, то есть, надеюсь, что смогу, взять это на себя и делать так хорошо, как могу, только тогда, если вы согласитесь с одним из моих... Вот, опять получается условие... С одним из моих предложений.

— Давай предложение, а мы посмотрим.

— Предложение заключается вот в чем. Мне кажется, что будущей газетой нужно провести небольшую, но, может

быть, очень болезненную и трудную операцию: отрезать раз и навсегда судьбу Русского Освободительного Движения от судьбы Германии. Освободить нашу борьбу от зависимости и успехов или неуспехов немецкого оружия. Это оружие, вероятно, скоро выбьют из рук и сломают. А нам нужно жить и бороться дальше. И может быть только тогда по-настоящему начать бороться, когда это оружие будет сломано... Вы простите, что я так подробно и долго выражаю мысль простую и ясную, но мне кажется она очень и очень важной.

Из разговоров, имевших место в прошлом, я знаю его осторожность во всем, что касается западных союзников. Он не любил, когда поднимались разговоры о них даже с глазу на глаз. Не думаю, чтобы это было признаком недоверия, а просто годами советской жизни выработанная привычка не говорить лишних слов о серьезных вещах, или говорить только тогда, когда в этом есть острая необходимость. Но сегодня мне, почему-то захотелось услышать от него ясное и короткое — да. И я его услышал.

Он встал из-за стола, прошелся по комнате и, остановившись передо мной, сказал:

— Я знаю твою и вашей организации точку зрения и тот факт, что мы предложили тебе очень ответственную работу, служит достаточно определенным ответом, что эта точка зрения является и моей, нашей. Довольно?.. Еще вопросы есть по обсуждаемому делу? — и сам же ответил, — нет. Идем чай пить, я еще сегодня не завтракал, с восьми часов гость за гостем.

— Есть еще вопрос, — поднимаю я руку.

— Что же еще, опять что-нибудь потустороннее?

— Нет, совсем здешнее, близкое. Еще деталь одна.

— Какая же?

— Сводится она к тому, деталь эта, что редактором я, все-таки, не могу быть.

— Вот тебе раз! А о чем же мы сейчас договорились?

— Андрей Андреевич, делать газету это одно, об этом мы и договорились, А представлять ее, подписывать, — это дело другое, о нем я сейчас и говорю. Мое имя мало кому известно в эмиграции и никому ничего не скажет из подсоветских. А люди любят авторитеты, имена с весом. Хорошо было бы какого-нибудь профессора, или ученого, что-нибудь такое внушительное.

— Ну, знаете, с профессором тоже может быть история. Профессора — они разные бывают, — вступает Жиленков. — Пригласите вы его, а он поймет это всерьез, да и начнет в самом деле редактировать. Что тогда, а?

— Ну, это дело ваше хозяйское, договаривайтесь сами, — машет рукой Власов. — Пригласи, вон, Жиленкова, может он согласится? — обращается он ко мне.

Я говорю, что это было бы, вероятно, лучшим выходом.

Жиленков смеется.

— Это как же, значит, будет: вы будете писать, а я отвечать, так, что ли?

— Примерно такая схема мне и представляется, Георгий Николаевич. Я — делать газету и писать, а вы за нее отвечать. Вам легче отбиваться будет. Генерал и начальник отдела, но главное, вас уже знают и в воинских частях, и у рабочих, и всюду. Знают, вероятно, и с той стороны, а это очень существенно.

— Ну, что ж, об этом можно подумать, — соглашается он.

На этом потом мы и договорились. Газету подписывал он, как главный редактор, и я, как его заместитель. Наш неписанный договор он выполнял честно, в редакции ни разу не был и ни к одной статье руку не приложил, да и времени у него не было для этого. Для меня же это было большим облегчением в работе. Десятки раз потом в разговоре с разными людьми, чаще всего с немцами, не видя возможности договориться, я заканчивал беседу словами — «обратитесь к главному редактору». Правда, позднее этот же неписанный договор послужил и причиной нашего расхождения.

— Ну, идемте, идемте, — торопит нас Власов, приглашая жестом в столовую. — С восьми часов гость за гостем, и все разговоры за разговорами.

— Если вы и со всеми остальными договариваетесь так же быстро, как со мной, Андрей Андреевич, так разговоры эти, наверное, не в тягость, а в одно удовольствие.

— Да нет, там дольше приходится разговаривать, — возражает он. — Особенно сегодня. Нацмены были. Пришли четверо, один в офицерской форме. Я сразу заметил, что ведут себя как-то странно...

Мы переходим в столовую и усаживаемся за стол.

— Так что же дальше? — спрашивает Жиленков.

— Начинаем разговор, — продолжает рассказ Власов. Вдруг один из них, ни к селу ни к городу, вскакивает, становится в карикатурно театральную позу, представляете как: одну руку за спину, другую за борт мундира, и замогильным голосом говорит: «Генерал Власов, нам с вами не по пути. Вы за Россию, а мы за свободную...» вот сейчас уж не помню, не то за Узбекистан, не то за Таджикскую республику. Встал и я, — ну, что ж, говорю, если не по пути, так расстанемся. Вот, говорю, Бог, а вот — порог. Всего, говорю, хорошего, кланяйтесь Розенбергу.

Он редкий рассказчик. Изображенная в лицах сцена полна комизма и какого-то особенного, свойственного ему только юмора.

Жиленков покатывается со смеху:

— Неужели так и сказал — кланяйтесь Розенбергу?

— Так и сказал, конечно, — смеется и сам рассказчик. — Да ведь по рожам видно — люди подосланы, что же стесняться с ними...

К вопросу о газете возвращаемся еще раз при прощании.

— Ну, так с Богом и за работу, — говорит Андрей Андреевич, провожая меня из комнаты. Подбирай редакцию и готовься к выпуску. Я думаю, скоро начнем. Немцев особенно не ругай, я знаю, что ты их не любишь, ну, да кто же их любит. Поэтому им и приходится самим себя любить. А вообще они нам пока еще нужны, так что ты их не обижай, а то я заступаться буду. С Богом!

*

Подобрать состав редакции было делом не очень сложным. Журналистов было много, главным образом, прибывших из Советского Союза, так что выбирать было из чего. К сожалению, были имена, которые, по крайней мере на первое время, нельзя было привлечь к работе: слишком германофильским духом своих статей они создали себе плохую славу, и в первой готовящейся к выходу русской газете им места быть не могло.

У меня не было опыта руководства большой, построенной на широкой базе газетой. Два года редактирования центрального органа нашей организации в этом отношении не учили ничему. Там была своя семья, — ни принципиальных, ни, тем более, идейных расхождений не было и быть не могло. Здесь — дело другое. Платформа Освободительного Движения очень широка и здесь люди единодушные в отношении Манифеста и программы могут расходиться в вопросах менее существенных, а это будет затруднять и без того нелегкую работу. Впрочем этот вопрос решился как-то самим собой. Набросав примерный список постоянного состава редакции и распределив в общих чертах отделы, я подсчитал и только тогда заметил, что из восьми человек намеченного состава только два не являются членами организации. Три человека были старыми эмигрантами, а пять остальных вчерашними советскими гражданами.

Поговорив с каждым из кандидатов и заручившись их согласием, я представил список на утверждение Жиленкову.

Он просмотрел внимательно, над некоторыми задумался, как бы что-то вспоминая, потом спрашивает меня.

— Это что же, все партийцы ваши?

— Ну, чтобы все, так нет, — отвечаю я. — Есть и нечлены.

— Сколько же их?

— Да, немного. Два.

— Это дело ваше. Надеюсь, что со стороны нареканий не будет, я имею в виду союзников. А так вам работать гораздо легче. Да и хорошо, что уж если ваши, то хоть люди со всех сторон проверенные, сюрпризов никаких опасаться не надо...

Получив утверждение, я собираю редакцию у себя. Обсуждаем первые номера, распределяем первые статьи.

Через неделю меня позвали на совещание редакторов будущих изданий и радиопередач. Были представлены будущие газеты на украинском языке, белорусском, на языках народов Кавказа. Правда, некоторые из них так и не смогли выйти. Розенберг одержал на этом участке фронта первую победу.

Чтобы подготовить издание центрального органа, пришлось преодолевать большие трудности. Нужно было в течение нескольких дней создать издательство, провести его через соответствующие учреждения, обзавестись запасом бумаги, найти подходящие помещения, наладить каналы распространения и т. д. Мой помощник по технической части сбивается с ног. Каждый вечер он приходит и рассказывает о малых успехах и о все новых возникающих препятствиях. Каждое утро он пишет какие-то всё новые бумаги, заполняет анкеты и уходит опять на целый день, чтобы вечером с отчаянием рассказать, что дело не сдвинулось с места. Протащить всё это через канцелярские дебри просто не представляется возможным. Все издательства и центры, распределяющие бумагу, находятся в ведении или под контролем какого-то таинственного Амана, вся сила которого заключается в том, что он был фельдфебелем той роты, в которой Гитлер воевал прошлую войну. Этого Амана найти было невозможно, он жил постоянно где-то под Мюнхеном, в Берлине появлялся очень редко, а без него нельзя и вздохнуть. Что касается помещения, то дело еще безнадежнее. Почти после каждого налета превращается в развалины несколько сот домов, и всё, где сохранилась крыша, перепелнено до отказа.

— Вот капитализм проклятый! — ругается мой помощник по техчасти. — Знаете, как бы это было в Москве? Пошли бы мы с вами, Александр Степанович, по улице, выбрали

бы на глазок какой-нибудь дом подходящий, дали бы его адрес соответствующим органам и через два часа — пожалуйте, въезжайте, дом свободный...

— А что же было бы с жильцами? — спрашиваю я.

— Как что? А эти два часа на что же? В эти два часа они бы куда-то исчезли. Вот это работа была бы, а?

— Нет уж, ну его к чёрту. Давайте в будущей России устроим так, чтобы в течение двух часов нас из квартиры не выкидывали.

— Да я это шутя... больно уж злость на здешние порядки берет.

Но положение складывается просто безвыходным.

Как это часто бывает в жизни, выход всё-таки нашелся и притом в самую последнюю минуту. Звонок по телефону и торжествующий голос Жиленкова:

— Приезжайте немедленно. Мы спасены.

Встречает меня довольный, потирает руки:

— Вот наше спасение, — указывает на сидящего около стола господина. — Познакомьтесь, это господин... господин...

— Амфлет, — скромно говорит тот, учтиво наклоняя голову.

— А вот это — наш редактор. Прошу любить и жаловать. Вместе работать придется...

У «спасенья» вид не очень просветленный. Маленький человечек, кругленький, с прилизанным тщательно пробором во всю голову и с сладчайшей улыбкой, которая не сходит с лица в течение всего разговора. По-русски говорит очень прилично.

— Так вот, — говорит Жиленков, — господин... господин... простите, никак не могу...

— Амфлет, — приподнимается тот, сладко улыбаясь, как-то особенно почтительно наклоняя голову.

— Так вот, господин Амфлет является представителем издательства, в котором выходило «Новое Слово». С того дня, как будет выходить наша газета, «Новое Слово» прекратит свое существование, и издательство в лице господина Амфлета предлагает нам свои услуги. Ну разве это не блестяще? Мы получаем и помещение, и технический аппарат, и типографию и всё... Что скажете на это? — обращается Жиленков ко мне.

Мне это кажется тоже блестящим.

Газета «Новое Слово» выходила в Берлине еще до войны. Читать ее в русских кругах считалось не совсем приличным, так как была она, в основном, органом национал - социалистической партии в русском пересказе. Антисемитизм и не-

замысловатое учение фюрера было ее философией и символом веры. До войны никак не способная перейти на самоокупаемость, она поддерживалась учреждением Розенберга. После того, как немцами была занята вся Европа, она оставалась долгое время единственной газетой на русском языке на все оккупированные страны. Тираж ее возрос в десятки раз потому, что читать кроме нее было нечего. С началом войны с СССР она полуофициально стала просачиваться и в занятые области России. Число сотрудников увеличилось за счет вчерашних советских людей. Можно представить, какая жажда была на печатное русское слово, на новое слово из Европы, если даже «Новое Слово» из Берлина зачитывалось до дыр и продавалось из-под полы по тридцать-сорокпятьдесят рублей экземпляр. Я не встретил ни одного читающего человека из Советского Союза, который, хотя бы первое время, не находил ее умной, талантливой, содержательной и интересной. По сравнение с советской стряпней, плоской и бездарной, всеми этими «Правдами» и «Известиями», на страницах которых почиет тяжелое, свинцовое бездумье, она, вероятно, и на самом деле казалась откровением. Технически она делалась прекрасно — такого набора, с таким вкусом подобранных шрифтов не было ни у одной русской газеты в Европе, ни во Франции, где выходили самые большие и распространенные органы, — такие, как «Последние Новости» и «Возрождение», ни на Балканах, где печаталась наша «За Россию» и целый ряд других.

Господин Амфлет, действительно, явился к нам как посланник небес.

— Мы можем представить в ваше распоряжение адреса наших подписчиков, весь аппарат распространения, запасы бумаги на довольно продолжительный срок, — сладко улыбаясь, воркует он.

— Чудеса, чудеса! — восторгается Георгий Николаевич и сияющими глазами смотрит то на гостя, то на меня.

— Вам предоставлено будет хорошее помещение для редакции, все комнаты связаны телефоном, кабинет редактора (поклон в мою сторону), пишущие машинки и, если угодно, машинистки и стенографистки . . .

— Сказка! — вырывается у меня.

Контракт решаем подписывать завтра, — от имени Комитета — Жиленков, от издательства — господин Амфлет.

— Позвольте, а как называется ваше издательство? — вспоминаю я.

— Наше издательство называется по названию выходящей в нем газеты — «Новое Слово», газета «Новое Слово» и издательство тоже «Новое Слово».

— А вот это нам уже не подходит. Мы не наследники, не преемники этого органа и под его маркой выходить не можем.

— Это мы устроим в один день, — предупредительно спохватывается гость. — Вы можете переименовать его, как вам будет угодно.

Он торопливо вытаскивает маленький блокнот из кармана, в руках уже самопишущее перо — на лице сосредоточено внимание и готовность писать всё, что нам угодно будет высказать.

— Восторг! — не может притти в себя от радости Жиленков.

Перо быстро забегало по чистому листу блокнота.

— Нет, нет, — останавливаю его со смехом я. — Восторг — это не название издательства, а переживание Георгия Николаевича. Я думаю, что издательство мы так и назовем тоже по названию газеты. Как вы думаете, Георгий Николаевич?

Георгий Николаевич согласен со всем.

О названии центрального органа разговоров и споров было не мало. Однажды на небольшом совещании у Власова из пяти предложенных названий было выбрано одно, на котором без возражений согласились все. Газета будет называться «Воля народа».

Потом, может быть, мы будем издавать брошюры, а позднее и книги, — обращаюсь я к Амфлету, — и все они будут выходить в нашем издательстве «Воля народа». По-моему, это будет хорошо.

— Мы предложим вам для брошюр специальный набор шрифтов, особую бумагу, а когда будут книги, то, если угодно, и их переплет, — не унимается представитель издательства.

— Слушайте, вы не человек, а ангел, и издательство ваше не издательство, а золотой клад, — не могу удержаться я.

Он застенчиво улыбается, немного бочком наклоняя голову.

Прощаемся страшно довольные друг другом. Он вытягивается, щелк каблучками в одну сторону, щелк в другую, как-то особенно подобострастно бросает в поклоне голову и так, не поднимая ее, выходит из комнаты.

Я вижу через окно, как он даже у калитки не меняет приятного выражения лица, открывает ее и выходит на улицу.

— Ну, что вы скажете, а? — не может успокоиться Жиленков. — И главное, так это неожиданно. Приходит, понимаете, адъютант и докладывает, что со мной хотел бы поговорить господин. . .вот, опять забыл фамилию. Как вы думаете, он не обиделся?

— Думаю, что нет, — утешаю его я. — Приятный господин. Только вид у него немного жуликоватый. Не находите?

— Ну, воровать-то он, конечно, будет немилосердно, — убежденно соглашается Георгий Николаевич. — Но вы уж будьте добры, если заметите, не подавайте виду. Сколько бы он ни украл, это все-таки будет дешевле и проще, чем начинать все наново. . .

*

Манифест, наконец, готов. Комитет сформирован, число его членов будет пополняться путем кооптации. Но сейчас уже есть достаточный состав для того, чтобы подписать документ. Все Управления — Гражданское, Организационное, Социальной защиты, Пропаганды, все вспомогательные их органы — укомплектованы нужными им людьми, и в любой момент вся машина может быть пущена в действие. Штаб Армии, во главе которого стоит генерал Трухин, готов к формированию первых дивизий.

Переговоры с немцами закончены тоже.

С формированием воинских частей удалось договориться, что сначала будут набираться путем набора добровольцев пять дивизий. Они должны быть одеты, вооружены и подготовлены к первому февраля. К концу марта состав армии должен быть доведен до двадцати пяти дивизий. Когда армия будет готова, Власов примет над нею командование, до этого во главе формирования будет стоять Трухин. Армия выступит потом как самостоятельная и независимая от немцев вооруженная сила. В глубине души мы надеемся, что к тому времени разгром Германии обозначится с такой отчетливостью, что претендовать на нашу независимость она и не сможет. Если немцы согласились, наконец, на формирование крупных воинских антикоммунистических русских соединений, всё еще не теряя надежды использовать русские силы для защиты своего фатерланда, то русские в этом соглашении увидели только возможность начать раньше, чем предполагали, сбор сил для того, чтобы выступить после поражения Германии.

12-го ноября Комитет собирается на первое пленарное заседание для последнего обсуждения и подписания Манифеста. Опубликован он будет в Праге, куда весь Комитет выедет специальным поездом на следующий день.

Собрание назначено на десять часов утра в Далеме, в помещении, занятом штабом Трухина. Небольшой зал задолго до назначенного срока наполняется участниками заседания. Со многими я знаком уже давно — встречался или у Андрея Андреевича во время переговоров об их участии в Комитете, или у общих берлинских знакомых. Военных знаю или по Дабендорфу, или по встречам у Трухина, у которого бывал последнее время очень часто. От немцев не присутствует ни одного человека. Может быть и есть здесь у них свои осведомители, но сегодня об этом как-то не хочется думать.

Зал наполняется. Я с особым интересом присматриваюсь к рабочим. Мне нравится их солидная независимость, укрепленная сознанием, что сегодня, в их присутствии и при их участии, будет написано начало новой страницы истории нашей родины. Мы все в это верим. Тот, кто не верит, не пришел бы сюда. Этого дня мы ждали больше трех лет, и вот он пришел. Ждали не только мы, но и те миллионы русских людей, которых судьба вырвала из мертвящих объятий советской действительности.

Мы стоим у стенки с полковником Боярским и тихо делимся впечатлениями, наблюдая, как все новыми и новыми людьми наполняется зал.

— Как вы думаете, Владимир Ильич, — говорю я, — если бы фельдмаршал Клюге увидел сейчас это собрание, он бы, вероятно, окончательно потерял надежду вас расстрелять?

— Да, старику в рассуждении расстрелов не повезло совсем. Нас с Жиленковым ему не удалось, а сам, кажется, избежать не смог. Слышали? расстреляли, как будто бы, и его после 20-го июля, — говорит он, провожая глазами проходящих мимо нацменов.

В зал входит Власов. Присутствующие усаживаются по местам, постепенно смолкают голоса, стук передвигаемых стульев и — наступает тишина.

Андрей Андреевич произносит небольшую речь. Говорит, немного волнуясь, произносит скупые, немногочисленные полновесные слова. Говорит о том, что сегодня мы обсудим и примем документ, который ляжет в основу нашей борьбы, определит и назовет наши идеалы, одухотворит нашу борьбу за освобождение нашего народа. Говорит о том, что нам будет трудно, но это не остановит нас потому, что путь к великому и светлому редко бывает украшен розами, но всегда терниями.

Зал слушает с большим вниманием.

Затем начинается обсуждение Манифеста.

Многим он уже знаком по предварительной читке, многие в процессе составления его принимали то или иное участие.

Манифест обсуждается по пунктам. Члены Комитета вносят незначительные поправки и по смыслу и по стилю. Обсуждают долго, по-деловому, внимательно и осторожно подбирая нужные слова.

Несмотря на осознанную всеми важность и даже торжественность происходящего, не обходится, конечно, и без юмора.

По прочтении нескольких первых фраз вдруг поднимается рука одного из рабочих. Власов прекращает чтение и вопросительно смотрит на желающего что-то сказать.

— Пожалуйста, — приглашает он.

Тот поднимается и молодым звонким голосом на весь зал:

— Андрей Андреевич, вот там, вначале, написано слово плутократы. Мне кажется это слово какое-то... непонятное слово, неподходящее, я бы сказал даже не русское слово.

Власов улыбается. Зал покатывается со смеху. Двусмысленность замечания ясна каждому. И слово это не русское и в этом русском документе оно оказалось не по русской воле, а включено сюда по настоянию немцев.

Во время борьбы с немцами за текст Манифеста в двух пунктах не удалось заставить их отступить — вот в этих самых плутократах и в ссылке на то, что Комитет с благодарностью принимает помощь Германии.

Но зато как многого удалось достичь! Манифест абсолютно чист от всякого антисемитизма. По своим демократическим основам, по своему духу он враждебен самому воздуху, которым дышит Германия.

О Германии в «Манифесте» было упомянуто два раза: «Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины». И дальше следует объяснение и почти извинение за то, что помощь мы принуждены принять от немцев: «Эта помощь является сейчас единственной реальной возможностью организовать вооруженную борьбу против сталинской клики».

Эти фразы вполне уравновешивались другими.

«Комитет Освобождения Народов России уверен, что объединенные усилия народов России найдут поддержку всех свободолюбивых народов мира». Даже самым германофильски настроенным мозгам было ясно, что под «свободолюбивыми народами мира» подразумевается всё что угодно, только не нацистская Германия.

И дальше: «Сохранение мира и установление дружественных отношений со всеми странами и всемерное развитие международного сотрудничества». Это тоже мало похоже на призыв к продолжению борьбы с западным миром...

Второй и последний раз о Германии упоминалось в отделе «Цели Комитета» под пунктом «б»: «Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией». Не нужно забывать, что всё это происходило в конце 1944 года, когда Германия стояла уже накануне краха. Мир с такой Германией, если бы даже он и состоялся, казался Освободительному Движению не слишком большой ценой за освобождение России от большевизма, а ведь только после этого освобождения и можно было говорить о мире. Что же касается наказания Германии за совершенные ею перед человечеством преступления, то мир на востоке ни к чему не обязывал союзников на западе. Трудно было и представить, что, проиграв войну в одном месте, Германия могла бы выиграть ее в другом, а мир, заключенный в 1945 году и с освобожденной от большевизма Россией был, конечно, проигрышем войны.

С тех пор прошло семь лет. Эти семь послевоенных лет не убедили участников Движения в том, что тогда ими была допущена большая ошибка. На вопрос, что лучше — контрибуция, взятая с Германии, или освобождение от большевизма, мог бы ответить только русский народ. Мы в его ответе не сомневаемся. Думаем, что не ошибаемся в ответе и всего остального мира, если бы его спросить: согласился бы он, чтобы коммунизм был ликвидирован в России — значит автоматически и во всем мире — ценой выхода нашей Родины из войны (предположим, что это могло бы быть осуществимо) весной 1945 года...

После того, как кончилось обсуждение, приступили к подписанию документа. Я положил на стол рядом с Манифестом лист специальной бумаги, на котором каждым повторяется подпись для факсимиле. Этот лист я возьму с собой, чтобы заказать клише для газеты. Первым в левом верхнем углу подписывает Власов. За ним один за другим подписывают остальные. Манифест подписали 37 человек новых эмигрантов и 12 старых.

*

Первый номер «Воли Народа» готов к печати. Статьи написаны, набраны, откорректированы и сверстаны в страницы. Я внимательно еще раз прочел каждую из них и затем в правом углу поставил свою подпись. По сверстанным страницам сейчас делают стереотипы, которые пойдут потом в

ротационные машины. Амфлет не обманул, все оказалось в полном порядке и так, как он обещал.

Намеченную линию по разделу судеб нашего Движения и судеб Германии я начинаю с первого же номера. Мне хочется сделать так, чтобы читатель сразу почувствовал, что мы — это одно, а Германия — совсем другое. В большой передовой статье в торжественный день опубликования Манифеста я ни разу не вспоминаю ни о Германии, ни, тем более, о ее вожде. Не упоминаю я о них в своих передовицах и ни в одном из последующих номеров. То же самое делают авторы всех остальных статей, написанных в редакции. Если это будет замечено нашим читателем с первого номера, то цель наша достигнута...

✱

13-го ноября в пять часов вечера с Анхальтского вокзала специальный поезд с членами Комитета, гостями, русскими и немцами, иностранными журналистами, большим количеством сотрудников разных комитетских учреждений отходит в Прагу, по настоянию Власова, выбранную как место опубликования Манифеста.

Я задерживаюсь в редакции с последними приготовлениями к выпуску первого номера газеты и едва успеваю за несколько минут до отхода поезда вскочить в задний вагон. Пассажиры рассаживаются по мере того, как приходят, кто и где успеет. Знакомые ищут друг друга, меняются местами, ходят по коридорам, заглядывая в купэ. Я с трудом нахожу свободное место и тороплюсь еще до наступления темноты — электричества нет в поездах уже давно — сделать несколько заметок, чтобы позвонить потом из Праги в редакцию о том, что вспомнил по дороге на вокзал.

В сгущающейся темноте с трудом различаю лица соседей. Вижу, что ни одного знакомого среди них нет. Но компания оказалась такой интересной, что решил не уходить и остался до самой Праги.

Рядом со мной сидит летчик-майор в форме РОА, в недавнем прошлом герой Советского Союза, сбитый с самолетом в Восточной Пруссии летом 44-го года. Рассказывает, что год тому назад был в Англии, где принимал партию машин, предназначенных для Советского Союза.

Выбросившись из горящего самолета с парашютом, он попал в расположение немецких частей. Упал очень неудачно, сломал ногу. После этого лежал несколько месяцев с гипсом в немецком госпитале. Там его и нашли офицеры РОА.

Во всем происходящем майор, по-видимому, разобрался еще не очень и порой озадачивает слушателей такими суж-

дениями и выводами, что в купэ временами настает неловкое молчание.

Майор полон воскоминаний о подвигах, своих и чужих, его друзей-летчиков Красной Армии, бомбардировщиков и истребителей. Он тепло рассказывает о каждом из них, называя по именам людей, фамилии которых известны и нам. Все они, по его словам, очень славные ребята. На этой стороне он встретился с офицерами РОА, с некоторыми из них успел уже крепко подружиться. Они, по его мнению, тоже очень славные ребята. Дальше, по словам майора, выходит как-то так, что вот, кончится война, и тогда те славные ребята и эти, среди них и сам майор, будут дружно пить водку и вспоминать, как они дрались с разных сторон. Что между этими славными ребятами и теми стоит советское правительство, — этой деталью майор пренебрегает. Что-то есть в его фантазии и от наших стремлений, и мы за то, чтоб вместе с теми, кто борется на той стороне, вспоминать, как мы все боролись за Россию, идя к ней различными путями. Но роль советского правительства нам, увы, представляется более значительной.

Майор словоохотлив, и когда его рассуждения заводят в такие дебри, из которых он сам уже не может выбраться, сидящий напротив полковник наставительным баском выводит его на более ясную дорогу. Впрочем, майор скоро замолк. Он так же, как и всё купэ, заслушался разговором, завязавшимся между полковником и его соседом, солдатом РОА, пропагандистом. Полковник руководит отделом пропаганды где-то на южном фронте. Солдат работает на северном. Разговор идет, главным образом, об общей для них работе. По мере того, как он развивается, я узнаю в солдате знаменитость северного фронта, о котором я слышал много раз от других. Фамилия его Боженко. В прошлом, кажется, учитель, просидевший десять лет в советском концлагере. Попав на эту сторону, он сразу же пошел в пропаганду и скоро прославился, как талантливый импровизатор, человек большой интуиции и психолог. О нем рассказывали чудеса, и я с большим интересом прислушиваюсь к каждому его слову. Когда кто-нибудь из сидящих зажигает спичку, закуривая папиросу, я всматриваюсь в его лицо. Это, конечно, Боженко. Такой, как мне его описывали знавшие его лично: невысокого роста, сухое лицо, живые умные глаза и седая, как лунь, голова. Это он. Но прежде чем рассказать о нем более подробно, необходимо сказать несколько слов о немецкой пропаганде вообще и очень коротко о самих немцах, создавших ее такой, какой она была.

С тех пор, как на арену общественно-политической жиз-

ни вышли широкие народные массы, пропаганда, т. е. техника разъяснения и популяризации определенных политических идей, стала важнейшей составной частью политической борьбы. Пропаганда — это приводной ремень от первоисточника идей и руководства к массам, это искание и воспитание единомышленников и сторонников и в нейтральной, и во вражеской среде. Оружие борьбы в современных масштабах это новое и необычайно сильное. Непременное условие ее действенности — абсолютное знание психологии той среды, к которой она обращена, абсолютное знание условий жизни, обстановки сложившейся в данный момент и всё время меняющихся обстоятельств. Нужно знание чаяний еще не оформившихся в сознании широких масс. Тончайшие психологические нюансы людей, к которым обращается пропагандист, должны учитываться как полновесные реальные факторы. Само собой понятно, что решающим является не техника внушения, а тот комплекс идей, которые пропагандируются, но и от техники зависит очень много. Доктор Геббельс, как пропагандист был совершенен, когда он обращался к немецкому народу, и детски беспомощен, когда обращался к другим. Пропаганда — оружие силы беспредельной, этим оружием можно действительно делать чудеса, но и вред, который может быть принесен ею при неумелом пользовании, тоже беспределен.

Пропаганда — это искусство, потому что она требует творческой интуиции и вдохновения, но это и наука, потому что она имеет свои незыблемые законы и элементарные правила. Техника пропаганды — это искусство составления листовки, это умение сделать монтаж политического плаката, это способность создания хлесткого увлекающего лозунга, это знание, как провести короткую агитационную, обращенную к чувствам пятиминутку и сделать обстоятельный, обращенный к холодному разуму, доклад. Технику пропаганды нужно изучать пропагандисту так же, как артиллеристу — математику и баллистику, а военному инженеру — все способы постройки мостов.

Гитлер вел свои армии на восток за землей и рабами, но, зная непримиримую и непрекращающуюся борьбу русского народа против советского правительства, он старался придать войне характер войны политической. Поэтому на вооружение армии пропаганда была взята необходимой составной частью, так же, как авиация, артиллерия или инженерные войска. Но какая пропаганда!

Во время моего первого визита в отдел пропаганды Вермахта я увидел в одной из проходных комнат во всю стену на транспаранте крупными буквами написанные слова:

«Бей жида, политрука — рожа просит кирпича!»... После узнал, что этот «лозунг», оказывается, печатается самыми крупными буквами на каждой листовке, предназначенной для Красной Армии. По мысли немецких пропагандистов, этот несусветный и безграмотный бред должен был звучать как девиз, под которым культурная Европа идет в свой крестовый поход против коммунизма. Этот бред в качестве «руководящего лозунга» годами, чуть ли не до самого конца войны, перебрасывался на «ту» сторону.

О роли пропаганды в минувшей войне можно писать такие же длинные трактаты, как и о роли любого другого оружия, как о пехоте, флоте или танковых частях. Средство это сильное и опасное, но в неумных руках оно может принести гораздо больше вреда, чем плохо летающие самолеты или неточно сделанные пушки. Роль, сыгранную в минувшей войне немецкой пропагандой, переоценить невозможно, она была огромной и по результатам для немцев катастрофической: она принесла немцам больше вреда, чем могла бы немецкая артиллерия, если бы она в течение всей войны стреляла исключительно по немецким частям. Причины этого оригинально сложившегося положения кроются глубоко в психологии немцев, в их миропонимании, в их отношении к окружающему миру и к людям этого мира, к иностранцам.

Вековая бедность, большая плотность населения, истощенная земля научили немца труду, искусству организации и бережливости, без которых ему грозила бы просто голодная смерть. Научившись всему этому и научившись жить не беднее, чем живут другие, немец проникся к себе большим и заслуженным уважением, но на этом, вполне естественном и законном чувстве, не остановился, а с удовольствием пошел дальше, — самоуважение с течением времени переросло в самодовольство, а потом и в самовосхищение. Восхищение собой родило соответствующее отношение к окружающему миру, так удачно сформулированное в свое время Фридрихом Ницше. Расовая теория Гитлера и вообще учение национал-социализма дали этому миропониманию последний штрих. Непоколебимо поверив в свою исключительность, немец исполнился глубоким презрением ко всему окружающему миру и довольно крепко усвоил правило смотреть на него сверху вниз. Это лишило его навсегда дара интуиции, возможности понять психологию других. Он не допускает мысли, что у окружающих его людей могут быть какие-то другие, может быть, более высокие, мысли, чувства и побуждения, чем свойственные ему. Поэтому, если немецкая пропаганда в начале войны заваливала расположение французских частей открытками с изображением голых

женщин, иногда исполненных с немецкой аккуратностью очень неплохо и даже художественно, то, повернувшись лицом на восток, немец решил, что для привлечения на свою сторону русского человека, обокраденного и действительно голодного, ему достаточно показать кусок хлеба, — не символический кусок хлеба, а самый настоящий, вот такой, какой отрезается ножом и взвешивается на весах.

Кусок хлеба, как приманка протянутый на восток, — не случайность, он имеет тоже свою историю и оправдание.

Те же причины, которые научили немца добродетели, труду и бережливости, пригнули его к земле, поставив на грани самого вульгарного материализма, создали ему соответствующее миропонимание и иерархию ценностей. Веками живя под угрозой проголоди, он усвоил, что еда — это ценность первой категории. Поэтому нигде в мире так много и так охотно не говорят о пище, как в Германии. В России, на Дальнем Востоке, всюду, где приходилось мне бывать в Европе, я нигде не слышал таких оживленных и частых разговоров о еде. В русском обществе такие разговоры считались когда-то просто неприличными. В Германии это самая излюбленная тема. В вагоне поезда, в канцелярии, в гостиной, если вы видите возбужденный, привлекший общее внимание разговор, можете быть уверены — разговор идет о еде. Если офицер фронтовик с увлечением рассказывает о чем-то внимательно слушающим собеседникам, можно не сомневаться в том, что он рассказывает, как он ел во Франции, Бельгии, Польше. Когда занята была Украина, доктор Геббельс с психологией нищего, добравшегося до чужой кладовки, с большим удовлетворением потирал руки в своей газете «Дас Райх»: «Наконец-то, немецкий крестьянин, рабочий и интеллигент, садясь за утренний завтрак, будут иметь на своем столе хороший хлеб, масло и колбасу».

Нужно посмотреть, как священнодействует немец в поезде, на фабрике или заводе в обеденный перерыв, или за письменным столом в канцелярии. С каким сосредоточенным лицом он разворачивает аккуратно сложенный пакетик с тоненькими бутербродами и как с сознанием большой важности происходящего начинает их жевать, держа ломтики хлеба, чуть-чуть помазанные маргарином или смальцем, в поднятой до уровня лица руке. Как потом он, аккуратно собрав крошки, долго и старательно разглаживает листик бумаги, в которую была завернута пища, и, сложив ее ровным квадратиком, кладет в портфель или карман... Еда — это ценность первой категории. Поэтому на каждой листовке, сброшенной на восточном фронте, до самого конца войны

с немецкой аккуратностью обыкновенно более жирным шрифтом, чем все остальное, стояла фраза — «Переходите на нашу сторону. Мы вас накормим». В пояснение этой мысли нередко приложена и картинка — котелок с дымящимся супом и рядом ложка.

На одном из участков среднего фронта в 1943 году проведена была целая акция, которая так и называлась — «акция ложка». Над немецкими окопами, как приманка для офицеров и солдат Красной Армии, тогда приготовившейся перейти в решительное наступление, выставлялась гигантская в несколько метров высоты ложка, покрытая под металл краской. С точки зрения немецкого командования, она должна была играть роль непредолимого соблазна для голодного противника. Об этой акции, находке какого-то из знатоков русской души и специалиста пропаганды, писались отчетные доклады в центр, велись телефонные разговоры из фронтовых штабов с Берлином и говорилось на совещаниях высоких начальников.

С той стороны люди мучились большими и тяжелыми вопросами. Переживали психологическую депрессию, прежде, чем решиться перейти на эту сторону. Это было переходом к врагу. Переходом, оправдываемым тем, что при помощи этого врага, может быть, удастся одолеть врага еще более жестокого — советскую власть. Но это было всё-таки переходом — изменой.

Это закрывало дорогу на родину до тех пор, пока сохранится там существующий сейчас порядок. Это ставило семью уходящего под угрозу жестоких репрессий. Это было крутым и трагическим переломом в жизни и переживалось, как правило, очень болезненно, тем более, что немецкая пропаганда до самого конца войны не могла найти для переходящих никакого названия, кроме оскорбительного во всех случаях жизни слова — перебежчик. Это слово оскорбляет мужское достоинство. Оно — как плевок в душу, куда бы и по каким бы причинам человек не переходил. Но антибольшевизм этих людей был столь беспредельным, столь непримиримым, что они преодолевали и оскорбления и глупость, которыми встречала их та сторона, куда они шли. И ведь шли не только в первые месяцы войны, но и потом, до самого конца, до дня падения Берлина. И вот с немецкой стороны для преодоления всех этих препятствий был выдвинут аргумент, который, с немецкой точки зрения, был неопровержим и который должен был опрокинуть все сомнения — они выставляли над своими окопами ложку.

Совсем особое отношение у немца к курению, к папиросе. Табак — это тоже ценность, ценность, брошенная в воздух.

Она сгорает, превращается в дым и больше ничего. Человек, имеющий возможность пускать ценности на воздух, достиг максимума благополучия и благоденствия. Поэтому на всех фотографиях военнопленных, снятых для соблазна их товарищей, еще не решившихся перейти, показано, как живут уже перешедшие на эту сторону — все до одного они сняты с папиросой в руках. Сигареты неуклюже вставлены между пальцами и выдавались, говорят, только на время, пока снималась фотография, потом отбирались обратно. Внизу крупным шрифтом — «Есть что покурить», точно так же, как кружку пива поясняет мысль — «Есть что выпить».

Иногда, как плата за переход на эту сторону, обещались деньги. Говорят, что во время войны Советского Союза с Финляндией (там число переходящих к финнам тоже считалось не единицами и не десятками, а больше) финны сделали однажды большую ошибку. На ту сторону была переброшена листовка, примерно, такого содержания: переходите к нам с оружием, мы вам заплатим за каждую винтовку столько-то, за револьвер столько-то, за пулемет столько-то, так — до танков и самолетов включительно. Переходы с той стороны на финскую прекратились. Люди были оскорблены.

Немцы не могли пропустить ничего, чтобы не оттолкнуть готовых перейти к ним людей До самого конца войны такие же листовки распространялись то тут, то там. Самый вульгарный материализм въелся в их сознание настолько, что они этого уже не чувствовали и не замечали.

Это характерно было и для вождей.

До самого конца войны Штаб Гитлера в сводках Верховного Командования отмечал — «Сегодня сбито пять неприятельских самолетов и уничтожено восемь танков». И в таком духе ежедневно.

Кругом рушилось всё. Агонизировала страна, разваливалась армия. Неприятель настойчиво стучал в двери Берлина, а офицеры штаба сидели и подсчитывали выведенные из строя танки и испорченные грузовики неприятеля. Для поднятия духа и своего и окружающих, вероятно, и прибавляли немного к потерям противника, — может быть, по одному два танка и одному самолету. Психология бедности, философия нищеты даже и в те дни держали их крепко в своем плену.

После окончания войны немецкие генералы, сидя в лагерях, писали мемуары в основном на одну и ту же тему: «Почему Германия проиграла войну?». Их превосходительства не одинаково отвечают на этот вопрос — одни склонны думать, что война проиграна потому, что в свое время какой-то генерал не послал в Нормандию такую-то танковую бри-

гаду и такую-то дивизию, другие, наоборот, утверждают, что война проиграна потому, что не был своевременно взорван мост через Рейн. Относительно времени, когда стрелка от победы повернула к поражению, они расходятся тоже. Некоторые убеждены, что это произошло весной 45-го года, другие утверждают, что они более дальновидны и знали это уже зимой 44-го. Ни те, ни другие, вероятно, никогда так и не поймут, что война была уже проиграна в тот осенний день года 41-го, когда русский мужик, вытирая разбитое в кровь лицо, сказал немецкому унтер-офицеру — «Бей, потому что я вас ждал».

Вместе с соблазнами котелком, папиросой и деньгами, зондерфюреры — руководители отделений пропаганды на фронте уделяли внимание в листовках и политическим вопросам. Политика, с их точки зрения, заключалась в восхвалении гения фюрера, причем это делалось в таких выражениях, что у советского читателя, кое-что понимающего в гениальности вождей вообще и привыкшего к такой патоке, какою пишется о Сталине в советской пропаганде, восхваление фюрера не могло не вызвать тошноты. Всё это писалось таким невозможным русским языком, что искажало даже несложный смысл, превращая листовку в определенно антинемецкий документ. Я видел одну, в которой автор с большим пафосом восклицал: «Знаете ли вы, кто такой Адольф Гитлер? Нет, вы не знаете, кто такой Адольф Гитлер. Адольф Гитлер — это единственный человек не только в Европе, но и во всем мире, который хочет построить всюду национал - социализм». Красноармеец читал и, вероятно, думал: «тяжело ему бедняге приходится, если даже никто из немцев не помогает ему в этом». Весь текст листовок, как правило, уснащался какими-то причмокиваниями, неудобоваримыми немецкими шуточками и остротами, безграмотно переведенными на русский язык, безграмотно настолько, что приходилось долго соображать, мысленно переводить все это на немецкий, чтобы догадаться о тех крохах смысла, которые вкладывали туда авторы. В нашу лабораторию часто давались эти листовки, изданные на фронте, нашим экспертам для отзыва и критики. Листовки эти поступали тысячами — каждый отдел пропаганды на фронте выпускал свои собственные. Характеристика их сводилась уже не к выяснению вопроса, удачная листовка или неудачная, а о том, — больше или меньше она вреда принесет немцам, будучи переброшена солдатам и офицерам Красной армии. За большинство из них советское командование могло бы заплатить с удовольствием крупные суммы.

Иногда смысл был яснее. Обрисовав в издевательски ос-

корбительных словах бедность и нищету, в которые ввергло советское правительство русский народ, авторы успокаивали — «когда кончится война, то ваш народ под руководством гениального вождя Адольфа Гитлера будет жить лучше». Иногда руководство передавалось в руки «умного и хозяйственного немецкого народа». Для красноармейца, как бы отрицательно к советской власти он ни относился, было вполне достаточно и руководства гениального вождя Иосифа Сталина и руководства партии большевиков. Он крепче сжимал винтовку в руках и старался отстреливаться от новых непрошенных руководителей по возможности без промаха.

Такие листовки писались тысячами, печатались десятками миллионов и перебрасывались на ту сторону. В руках самого немудрящего советского политрука каждая из них была одновременно и убедительным антинемецким документом и юмористическим листком, скрашивающим солдатам серые фронтовые будни. Всё это не входило в планы и расчеты немецкого командования и не соответствовало немецким интересам, но это старательно делалось на всех участках фронта в продолжении всей войны. Складывалось от всего этого впечатление, что если бы немецкую пропаганду вели хорошо оплачиваемые агенты Сталина, то, проявив максимум изобретательности, они не могли бы придумать ничего лучшего. Какие-то немцы, вероятно, это понимали. В бытность в Смоленске я слышал анекдот, шедший, как мне говорили, из немецких кругов:

Большое соединение советских бомбардировщиков готово к отлету, чтобы бомбить город в занятых немцами областях. Перед отлетом Сталин собрал летчиков и произнес им речь: «Прежде всего бомбите расположение немецких войск — казармы, лагери, бараки. Потом склады боеприпасов, железнодорожные пути, мосты и вокзалы. При этом, конечно, пострадает и мирное население. Жаль, но ничего не поделаешь — война. Но если кто-нибудь из вас бросит хоть одну бомбу, хоть по ошибке, на отдел немецкой пропаганды — пусть лучше не возвращается — расстреляю!»

Анекдот, как нельзя лучше, характеризует работу немецких пропагандистов.

Пропаганда велась не только листовками, перебрасываемыми самолетами и специальными пропагандными бомбами в расположение советских частей. Этой же цели служило радио. Но самым действенным видом пропаганды считалась устная пропаганда, пропаганда голосом.

Линии передовых позиций иногда сходились очень близко и стояли без движения подолгу. Где-нибудь около самых

передовых постов устанавливался громкоговоритель, и обыкновенно ночью пропагандист, сидящий в окопе, читал воззвания, объяснял смысл войны, с немецкой точки зрения. Иногда его выступления чередовались с граммофонными пластинками русских песен и музыки. Как правило, такое выступление заканчивалось словами «Переходите к нам!»... В начале войны на такой призыв в течение одной ночи нередко откликались десятки и сотни людей, переходили и поодиночке, и группами, и целыми подразделениями. Та сторона мешала этой передаче стрельбой, нередко даже из орудий, стараясь заглушить передачу и разбить установку. Но это редко достигало цели, и немецкое командование, без затраты одного патрона, получало десятки тысяч перебежчиков в течение одного месяца. Но и эти переходы были не благодаря немецкой пропаганде, а скорее вопреки ей.

Иногда позиции сходились так близко, что громкоговорителя устанавливать было не нужно: можно было кричать на ту сторону в рупор, так, что там было слышно.

Пока этот вид пропаганды был всецело в немецких руках, он ничем не отличался от пропаганды, ведущейся листовками, — говорили всякую ерунду, неуклюже переведенную с немецкого языка на русский и говорили люди, русским языком владеющие далеко не безукоризненно.

С тех пор, как в пропагандные роты стали привлекаться военнопленные и вообще русские люди из занятых областей, содержание передач переменилось круто. И особенно оно изменилось с тех пор, как стали обозначаться контуры будущего Освободительного Движения. Это было в начале 43-го года. Вместо обещания накормить и дать папиросу, русские пропагандисты стали давать на ту сторону основательную критику большевистской системы, разоблачать замыслы Сталина, вновь загоревшегося к тому времени мечтаниями о мировой революции, и знакомить солдат и офицеров Красной Армии с идеями Русского Освободительного Движения. Призывы переходить на сторону немцев были к тому времени анахронизмом, и политическим и стратегическим. Политическим — потому, что русским антибольшевикам не было никакого интереса переманивать сюда людей, чтобы немцы заставляли их сидеть за проволокой лагерей, или как на каторге работать в промышленности. Для Движения гораздо выгоднее было иметь как можно больше единомышленников с той стороны. В день последней схватки это могло сыграть решающую роль. Анахронизмом стратегическим это было потому, что восточный фронт к тому времени с нарастающей быстротой катился на запад. Рассказывают о случае, имевшем место где-то на южном участ-

ке фронта. Пропагандист-немец, прокричав по записке то, что ему полагалось, закончил свое выступление освященным традицией призывом «Переходите на нашу сторону!»

С той стороны было совсем резонно отвечено:

— Да как же к вам перейти-то, если вас и догнать нельзя!

Пропагандистом устной пропаганды был и мой сосед по купэ, Боженко. Между прочим, о нем рассказывают, что он умел повести выступление так, что вызывал на реплики и другую сторону, и что нередко им велись долгие и содержательные переговоры.

Беседа с полковником как раз и касалась этой темы.

— Язык общий всегда можно найти, — рассказывает Боженко, — и у нас редко бывало так, чтобы с той стороны не задал кто-нибудь вопроса и чтобы, в конце концов, не завязался оживленный разговор. Ну, конечно, если поблизости нет политических руководителей. Если они есть, начинается сразу же стрельба... Недавно выхожу я на передовую. Нас разделяет только узенькая речка. Их передовые посты окопались на самом берегу. Я тоже сижу в небольшом окопе, — знаете, на тот случай, если после первых же слов резанут пулеметную очередь. Так было и в этот раз. Не успел я опуститься в окоп — до него нужно ползти по открытому месту, — как с той стороны начали стрелять. Постреляли и перестали, вероятно, им показалось, что немцы что-то предпринимают на берегу. Кончили стрелять, я и кричу:

— Поберегите патроны, ребята! А то расстреляете все в немцев, для Сталина ничего не останется!

С той стороны приглушенный бас:

— Не беспокойся, останется...

— Ну, думаю, для начала не плохо. Завожу беседу. Немцы недалеко сзади, но я знаю, что по-русски из них не понимает никто ни слова. Текста я никогда не пишу, потому, что и сам не знаю, о чем и как буду говорить, — раньше это требовалось обязательно.

— Война, — говорю, — ребята, скоро кончится, у немца дух на исходе.

Смеются с той стороны.

— Мы, — говорят, — ему скоро последний выпустим.

— Правильно, — говорю, — так и надо. Ну, а потом, — говорю, — братцы, что по колхозам пойдете, трудодни отрабатывать?

Молчат.

— Со всем этим, — говорю, — друзья, кончать надо, и с колхозами и со Сталиным. А кончить трудно нам. Не верим друг другу. Сговориться никак не можем. Вот мы стоим с вами, через речку беседуем, вы голову только высовываете-

те, и мне страшно. А что мы, враги что ли? Нет, не враги. Я так же, как и вы, на Сталина и на партию двадцать лет работал, да не хочу больше. И вы тоже не хотите. А боимся друг друга.

С той стороны голос доносится.

— А ты не бойся, говори смело. Брат в брата стрелять не будет.

Я опять им, что вот, мол, сейчас разговоров много, о том, что перемены будут большие после войны, послабление будет дано. А я, говорю, братцы не верю в это. И все мы здесь не верим. Да и вы не верите. Сейчас, говорю, обещают, а потом, когда оружие сдадите, ничего не дадут. Надували уж не раз, пора бы привыкнуть

Опять басит кто-то оттуда:

— Ну, мы так легко не отдадим. Мы тоже соображаем, научились . . .

Беседуем так довольно долго. Пить захотелось мне невмоготу, все-таки не говорить, а кричать приходится.

— Ну, что ж, братцы, — говорю, — до свиданья, пойду выпить чего нибудь, горло пересохло, да и вам отдохнуть пора.

С той стороны голос:

— Чего ж уходить-то, вот тебе речка рядом, напейся, да и еще потолкуем.

Дилемма стоит передо мной трудная. Речка — вот она, действительно, рядом, да чтобы дойти до нее, нужно совсем вылезти и стать во весь рост. А ночь лунная, на сто метров кругом видно, как днем. А до них, ведь, рукой подать. Страшно стало. А чёрт их знает, двинет какой-нибудь из автомата — прощай пропагандист Боженко, не будешь больше разговоров ночных вести!.. Опять же, может быть, за это время какое-нибудь начальство к ним подползло, тогда они не стрелять не могут . . . С другой стороны, я только что говорил о братстве нашем, об общей нашей судьбе, о необходимости доверия друг к другу. Не выйду — некрасиво получится. Подумают, что разговор только на словах был. Быстро надо это сообразить, — задержка производит тоже нехорошее впечатление . . . Решился я. Перекрестился и вылезаю: будь что будет. Пристально смотрю в ту сторону, их не видно, в окопе сидят. Тихонько спускаюсь к реке. Пить уж мне совсем расхотелось. Нагибаюсь, булькаю руками в воде и иду обратно. Тут самый страшный момент и наступил. Повернулся к ним спиной и чувствую — большая она у меня такая, и если выстрелят, не могут в нее не попасть . . . Не выстрелили. Добрался я до своего укрытия, залез обратно, — как две горы с плеч свалилось, «Спасибо, говорю, ребята».

«На здоровье!» — кричат оттуда... Потом смена им пришла. Они что-то пошушукались, слышу — другие голоса отвечают. Так я в ту ночь до утра домой и не уходил, всё разговаривали.

. . . . . .

У полковника тоже масса впечатлений от встреч и разговоров с людьми оттуда. Во всех этих рассказах подтверждение верности нашего пути. Растет уверенность, что с той стороной нам общего языка искать не надо.

*

Приезжаем в Прагу около трех часов ночи. В большой комнате вокзала полковник Меандров распределяет по списку по отелям приехавших гостей. Те, чьи фамилии он называет, выходят и усаживаются по автобусам.

К Меандрову развязной походкой подходит капитан немец и, тронув за рукав, спрашивает, в какой отель может поехать он.

Меандров меряет его взглядом с головы до ног и громко, так что слышат десятки стоящих здесь людей, говорит:

— Капитан, не забывайте, что вы здесь гость, и ведите себя, как подобает гостю. В противном случае мне будет трудно по отношению к вам быть радушным хозяином.

— Но я... — пытается возразить что-то тот.

— Не перебивайте, когда с вами говорит старший по чину и примите соответствующую позу. Вот так... Когда я найду нужным, я вызову вашу фамилию. Ступайте

За последнее время я присутствую уже не в первый раз при подобных сценах. Это не результат перемены в сознании русских в связи с образованием Комитета и непрерывными поражениями немцев на всех фронтах. Это результат того, что большинство немцев никак еще не может свыкнуться с мыслью, что 1941 год ушел в невозвратное прошлое...

На следующий день до обеда у нас свободное время. Мой старый знакомый, пражский старожил, ведет нас, небольшую компанию приезжих, показать город. У него больше вопросов, чем объяснений достопримечательностей Праги, и разговор носит характер интервью, где спрашивает он, а отвечаем мы все по очереди.

— Скажите, а почему, собственно, Манифест подписывается в Праге?

— Я думаю потому, что это славянский город. Нельзя же под таким документом ставить, скажем, Берлин, и обречь его на такое малопривлекательное название, как «берлинский манифест».

— Ну, это правильно, — соглашается он. — Дай Бог, чтобы Прага в нем отразилась только географически. Дай Бог, чтобы душа ее не отразилась, маленькая, сухая, лишенная чувств.

— Вы, кажется, очень не любите аборигенов?

— Очень, — соглашается он. — Их и нельзя любить. Это не народ, а сплошная математика. Все душевные переживания их можно без труда заменить четырьмя правилами арифметики — сложить, вычесть, хорошо, если можно умножить, плохо, если разделить. И это всё, больше ничего нет.

Мы входим на Вацлавскую площадь. После разбитого Берлина, серости и убогости, царящих в Германии, Прага кажется каким-то сказочным островом. На улице сотни молодых людей, прекрасно одетых, сытых, праздных. Женщины в мехах, с красиво подведенными глазами. Колоссальные зеркальные витрины магазинов — не разбито ни одного стекла.

— Посмотрите, — говорит наш спутник, показывая на проходящих молодых людей. — Ведь это армия, призывные возраста. Во всем мире ни в одном городе вы не увидите мужчин этих лет, разгуливающих по улицам. И это всё результаты арифметического расчета. Когда Гитлер поставил ультиматум, их Генеральный штаб быстро подсчитал, во что обойдется сопротивление и что они потеряют, если сдадутся без боя. Вышло, что без боя дешевле. Всё равно, большая война была на носу, а, значит, и их освободит кто-нибудь. А ведь это была лучшая по вооружению армия в Европе... Вот и гуляют все бывшие вооруженные силы по улицам, за девушками ухаживают, ну, конечно, и немцев ругают. Они ведь, чехи, считают себя самой большой жертвой Гитлера. Они, бедные, без устали работают на всех своих заводах, вооружают немецкую армию пять лет лучше, чем это могли бы сделать сами немцы. Правда, в душе при этом остаются, как они говорят, добрыми чешскими патриотами. Я был на улице, когда входили в Прагу немецкие части. Вы знаете, хоть бы один инцидент, хоть бы одно недоразумение. Хоть бы женщина какая что-нибудь крикнула. Немцы вошли сюда как в старую, удобную обжитую свою казарму.

— Мне кажется, вы всё-таки слишком жестоки к чехам, — возражает кто-то из спутников. — Они тоже как-то боролись. Помните, убили здесь какого-то Гендриха, или как его звали? . .

— Так ведь убили-то не они, — парашютисты убили, с английского самолета сброшенные. А эти потом прятались, чтобы их в это дело не замешали, да ругали тех, кто это сде-

лал. Были потом пострадавшие, конечно, и среди них, а вы знаете, почему?

— Нет, не знаю.

— Парашютисты после убийства скрылись в церкви, вон там, за углом. Довольно долго скрывались. Нужно было кормить их, собирались пожертвования, да господа жертвователи, знаете, что потребовали? Чтобы списки велись, а им квитанции за пожертвование на руки выдавались, кто из них пожертвовал, и что, и сколько — с расчетом на потом, когда война кончится. Ну, их по этим спискам и потянули.

— Ну, слушайте, — уже с нетерпением возражает кто-то, — а Лидица, ведь целое село уничтожили, со всем мужским населением.

— Вечная память жертвам Лидицы, — отвечает он, — как вечная память всем жертвам этого зверя. Но ведь Югославия, Польша, вся западная часть России — это, ведь, сплошная Лидица. Там ведь не села, а города расстреливались поголовно... Не люблю их и не верю им. Математики!

— Ну, да дело с ними иметь мы не собираемся и детей крестить тоже, — кончаем мы разговор.

Позднее дело с чехами, к сожалению, пришлось иметь. И если Прага была местом, где Движение могло назвать себя своим полным именем, то эта же Прага стала потом и последним этапом его тяжелого пути.

Манифест был провозглашен на Градчанах, в испанском зале дворца. Вся процедура, там проведенная, и вся поездка — только для видимости, только для того, чтобы под текстом документа можно было сделать короткую пометку — «Прага, 14 ноября 1944 года».

Вечером, после совместного ужина с гостями — на вокзал и обратно в Берлин.

Прямо с поезда я еду в редакцию. Захожу в машинное отделение и через несколько минут с первым экземпляром первого номера «Воли Народа» отправляюсь в Далем.

По дороге в редакцию и оттуда домой я всегда прохожу мимо тюрьмы Александер-плац. Вот тут, за стеной, может быть в нескольких метрах от меня, томятся наши заключенные. Многих из них последнее время опять перевели из концлагерей в Берлин. Шестой месяц идут непрерывные допросы... Со многими из них меня связывают годы детства, учебы и работы в организации. Со многими из них у меня дружба, та, что заменяла всю жизнь семью. Проходя мимо тюрьмы сегодня, я не сомневаюсь в том, что теперь мы им сможем помочь. Мы попытаемся передать им первый номер «Воли Народа». По фамилиям авторов статей они пой-

мут, что мы, их друзья, живы, по программе Манифеста увидят, что дело, за которое они страдают, восторжествовало...

По дороге я часто вспоминаю, что вот уже десять, пятнадцать тысяч Манифеста отпечатано. За это велась тяжелая, трудная борьба больше трех лет, потребовавшая от нас жертв, невозвратных и незабываемых. Я вспоминаю слова Михаила Алексеевича Меандрова — «Если нам удастся отпечатать Манифест, распространить его и перебросить на ту сторону, то наше ожидание наполовину уже будет оправдано».

*

К моменту опубликования Манифеста с этой стороны фронта в пределах к тому времени уже очень урезанной с востока и запада Европы насчитывалось от 18-ти до 20-ти миллионов русских. Это составляло свыше 10 % населения нашей страны, но политически удельный вес этой массы был неизмеримо большим. С этой стороны почти не было детей и людей старше 50-ти лет. И военнопленные, и привезенные на работу были или совсем молодыми людьми, или в начале так называемых средних лет. Беженцы были, как правило, более старших возрастов, но ни многодетные семьи, ни старые люди не могли двинуться в такую неизвестность, да и не могли уйти в такую даль. Если они и уходили от родных очагов, то еще до границ Советского Союза их настигал быстро двигающийся на запад фронт.

Главную массу количественно составляли «осты». Их насчитывалось до 12-ти миллионов, в то время нередко цитировалась даже такая подробность, что 8 милионов их занято в сельском хозяйстве и 4 в промышленности.

До пяти миллионов считалось беженцев, несмотря на большую быстроту передвижения сумевших каким-то образом добраться до границ Германии и перейти через них.

Следующей по численности была группа военнопленных, разделенная на рабочие команды, мало чем отличающиеся от остов.

Около 800 тысяч было служащих в германской армии.

По политическим настроениям эти массы делились на три неравные группы.

Одна часть, очень немногочисленная, состоящая, главным образом, из вывезенных на работу и военнопленных, была настроена просоветски. Настроения эти питались не признанием совершенств советского строя над всеми другими, а были результатом отталкивания от Германии, как жесточайшего врага России, и надежды, что перенесенные здесь страдания помогут оправдаться по возвращении на родину

перед советским судом. По-настоящему коммунистических настроений нельзя было бы обнаружить и среди этой группы. Эти настроения были вообще немыслимы вне пределов досягаемости НКВД.

Другая, такая же малочисленная, группа считала, что, несмотря на все преступления немцев, несмотря на тот обман, с которым они подошли к нашему народу, нужно все-таки идти с ними до конца. «От них потом легче будет освободиться, чем от Сталина», — говорили они.

Подавляющее же большинство находило неприемлемыми ни тех, ни других, ни немцев, ни большевиков. Лишь в крушении одного и другого рабства они видели возможность не только свободно жить, но и просто выйти живыми из этой двухсторонней бойни. «Ни немцев — ни большевиков» уже перестало быть мечтой и пожеланием, а стало насущной необходимостью и единственно приемлемым и возможным выходом.

Трудно найти слова, чтобы рассказать о том подъеме, о том взрыве энтузиазма, которыми встретили русские люди создание Комитета и опубликование Манифеста. Рабочие и военнопленные, солдаты вспомогательных частей и беженцы — всё это бросалось на призыв к борьбе против большевизма. Самотеком по всем углам небольшой уже тогда Новой Европы создавались группы и общества содействия, собирались средства, пожертвования, крестьяне приносили свои незамысловатые драгоценности, серебряные нательные кресты и обручальные кольца, рабочие — свои скромные сбережения, собранные за годы тяжелого труда. Во все инстанции Комитета приходило ежедневно до трех тысяч писем и телеграмм, с изъявлением готовности принять посильное участие в борьбе. Комитет считал, что в той или иной степени за участие в Движении высказалось в первые же дни больше 10-ти миллионов человек.

Наплыв в начавшиеся формироваться первые воинские части Русской Освободительной Армии превзошел все ожидания. Резервуар сил был почти неисчерпаемым. Только за один день 20 ноября (Манифест был передан по радио 19-го) из ближайших к Берлину лагерей было подано 62 тысячи индивидуальных и коллективных прошений о приеме в армию. Это составляло минимум пять дивизий состава мирного времени. К концу ноября число желающих поступить в части Освободительного Движения поднялось до трехсот тысяч, а к концу декабря число добровольцев поднялось до миллиона. С находящимися в составе немецкой армии русскими батальонами, с казачьими частями — (около 150 тысяч), сербскими частями Летича, изъявившими согласие

влиться в Движение, и с армией генерала Недича (переговоры были почти закончены в положительном смысле) без опасности преувеличения можно считать, что создание двухмиллионной антикоммунистической армии в кратчайший срок было обеспечено. Предпринимались попытки связаться и со штабом Драже Михайловича.

Недостающее оружие, боеприпасы и всё остальное руководители Движения предполагали достать путем разоружения немецких частей в момент краха. Впоследствии это частично и было проведено в жизнь.

Европа, антикоммунистическая Европа, к началу 1945 года была во власти двух чувств — ненависти к Германии за ее обман и предательство и страха перед побеждающим коммунизмом. Организовать европейские антикоммунистические силы, увлечь их на оказание всемерной помощи в антикоммунистической борьбе Германия уже больше не могла, это могло сделать только массовое, мощное Русское Освободительное Движение. Европейская печать того времени, как в зеркале, отразила настроение и надежды широких масс, встретивших выход на борьбу русского антикоммунизма почти с таким же энтузиазмом, как и русские люди. Имя Власова, председателя Комитета, было тогда самым популярным в подгитлеровской части Европы, прежде всего, конечно, на ее юго-востоке.

Но не только двухмиллионная армия (не солдат, а политических борцов, что увеличивало ее потенциал в несколько раз), не только возможная помощь Европы давали уверенность в успехе и конечной победе. Когда Красная Армия была уже в пределах Германии, Венгрии, Словакии, стояла у границ Австрии, шла по Балканам, когда части, подошедшие к Одеру в ясную погоду могли видеть зарево горящего Берлина, увеличивалось число переходов на эту сторону. Переходя, люди не хотели разговаривать с немцами, искали власовцев, части Освободительной Армии, тогда еще формирующейся, чтобы включиться в их ряды для борьбы против Сталина. На севере, в Восточной Пруссии неоднократно переходили танки, на юге, в Хорватии, к казачьим частям перелетали не всегда одиночные самолеты. Манифест произвел с той стороны фронта большое впечатление. Он был переброшен в нескольких десятках миллионов экземпляров. Были слухи, что отдельные экземпляры его находили уже на Урале. Были слухи, что встречались экземпляры, переизданные уже с той стороны.

Части Освободительного Движения, само собой разумеется, создавались не для того, чтобы драться с Красной Армией. Предполагалось создать достаточно крепкий кулак,

чтобы после сильной пропагандной подготовки проткнуть линию фронта и, увлекая за собой и части Красной Армии, итти к границам России.

Были опасения, что советское командование стянет к месту прорыва Особые Части НКВД. Это тревожило не очень — практика показала, что даже части НКВД не являются в смысле политическом неуязвимым монолитом. Были опасения, что советское командование попробует заслониться немецкими коммунистическими частями армии Зейдлица — это беспокоило еще меньше: немцев ненавидели всех, в какой бы форме они ни были и с какой бы стороны ни стояли, при встрече с ними только бы удесятерялся боевой дух солдат.

Вместе с опасениями были и надежды, волнующие и зовущие. Были надежды, что кто-нибудь из советских маршалов, личных друзей Власова, после первых успехов Освободительной Армии решится принять участие и возглавить Освободительную борьбу. Надежд было много и нередко под ними лежало вполне реальное основание.

Манифест был, вероятно, самым демократическим политическим документом, опубликованным когда-либо на русском языке, имевшим такое количество и столь воодушевленных последователей. Даже вдумчивые враги не находили в нем слабых мест для критики и, в силу необходимости, ограничивались только руганью. Так, по крайней мере, поступала позднее эмигрантско - советская печать во Франции, не решаясь привести ни одной выдержки из его текста.

Не враги и не друзья, нейтральная швейцарская печать, выражая удивление, что в подгитлеровской Европе мог появиться такой документ, констатировала, что в Манифесте и в прессе Движения «принципы демократии сформулированы с такой классической ясностью, которая не всегда имела место в условиях демократических движений прошлого».

Поражало швейцарскую печать и то, что ни в Манифесте, ни в печати Движения не было ни слова об антисемитизме. Чтобы в атмосфере нацистского мракобесия, а она сохранялась до последнего издыхания гитлеровской Германии, решиться не говорить об евреях, не достаточно было не быть антисемитом. Все союзники Гитлера именно в этом вопросе прежде всего теряли свою самостоятельность. В подгитлеровской Европе антисемитизм был правом на гражданство. Комитет Освобождения Народов России категорически отклонял неоднократно попытки немцев повлиять на него в этом вопросе. Ни в Манифесте, ни в печати Движения об этом никогда не было сказано ни одного слова.

Глава III

«Воля народа»

С опубликованием Манифеста все русские антибольшевики поверили, что Германия, наконец, признала свои ошибки, отказалась от своих преступных замыслов по отношению к России и решилась оказать помощь русскому антибольшевизму. Это было бы только логичным, потому что вопрос к тому времени ставился не о новых завоеваниях, не об удержании старых, уже в значительной степени потерянных, а о спасении немецкого народа от приблизившегося к нему коммунизма.

Меня эта уверенность не покидала только один день, в день выхода первого номера газеты. Я упоминаю об этом потому, что в то полное трагизма время дни казались большими сроками. За очень короткий промежуток, может быть за несколько месяцев, если не недель, нужно было наверстать пропущенные годы. На следующий день после того, как опубликован был Манифест, ко мне опять вернулись сомнения, потом очень скоро перешедшие в уверенность, что все остается не только по-старому, но и гораздо хуже — силы немецкого сопротивления перестали обороняться, а перешли в наступление. Показателем этих перемен, как всегда, оказались мелочи. Я это заметил, готовя к выпуску второй номер газеты.

На следующий день после возвращения из Праги мне позвонили в редакцию из какого-то учреждения, что отныне весь материал, печатающийся в «Воле Народа», я должен присылать на цензуру по такому-то и такому-то адресу, и что помещен может быть только тот, на котором будет стоять параф цензора.

На мой недоуменный вопрос, заданный по телефону Жиленкову, он ответил утвердительно, так как ему это бы-

ло сказано тоже. Он успокоил, что об этом еще будет разговаривать, а на один - два номера придется согласиться и материал давать.

Чтобы иметь возможность выбора при составлении следующих номеров, я собрал все основные статьи, которые были приготовлены чуть ли не на две недели вперед, и с нарочным послал их по адресу. Вернувшись, он сказал, что данный адрес — какое-то из бесконечных разветвлений Министерства Восточных Дел Розенберга. Что он не ошибся, я увидел уже к вечеру следующего дня: в большом пакете все статьи были присланы обратно, причем минимум две трети их были перечеркнуты с начала до конца красным карандашом. Параф цензора стоял только на материале, который имеется в редакции на всякий случай, если окажется вдруг в номере свободное место.

Я сразу же позвонил по данному адресу и мне было отвечено, что все в порядке, ошибки никакой не произошло и что перечеркнутый красным карандашом материал не может быть напечатан ни в коем случае. На повторный вопрос Жиленкову и рассказ о том, что произошло, он ответил, что придется или отложить выпуск номера, или выпустить его с тем материалом, который одобрен, — разговоры по этому поводу, по его словам, еще не окончены.

Мы всей редакцией просидели до поздней ночи и постарались сделать все, что было возможным, чтобы второй номер газеты получился уже не совсем уродливым. С грехом пополам как-то наскребли на восемь очередных страниц.

Второй сюрприз на следующий день был преподнесен издательством.

Передавая материал техническому редактору для верстки, я стою около стола и раскладываю набранные в гранки статьи, — это на вторую страницу, это на четвертую, седьмую, восьмую. Это можете поместить сзади, тоже на последнюю. Передовую и первую страницу я дам потом, они еще в цензуре.

Он смотрит на меня с некоторым замешательством и говорит:

— А вы знаете, господином Амфлетом отдано распоряжение, что второй номер выйдет только на четырех страницах.

— Что за ерунда и причем тут господин Амфлет? — отмахиваюсь я.

Оказалось, что распоряжение такое было действительно дано.

Я иду к Амфлету. В хорошо обставленном кабинете за столом сидит он. Но Боже, как непохож он на того приятного господина, предупредительно улыбавшегося в течение

первого разговора, каким я видел его в первый раз у Жиленкова и каким он был еще до вчерашнего дня.

— Слушайте, господин Амфлет, здесь какое-то досадное недоразумение, какая-то путаница происходит.

— А в чем дело? — настороженно спрашивает он.

Рассказываю ему о полученных мною сведениях, о том, что будто бы кто-то распорядился о выходе номера на четырех страницах.

— Нет, нет, все в порядке и никакой путаницы нет. Я действительно это сказал, так как мы решили выпускать газету четырехстраничной.

— Слушайте, господин Амфлет, если бы я не знал вас, как человека серьезного, по крайней мере до сегодняшнего дня, и если бы мы с вами говорили о вещах не таких серьезных, я бы подумал, что вы мне рассказываете анекдот, и причем, по моему мнению, не очень остроумный.

Он сидит в кресле и смотрит на меня маленькими, сверлящими, злыми глазками в упор.

— Анекдота никакого нет. Вопрос о выходе вашей газеты на четырех страницах — вопрос решенный.

Мне бросается кровь в голову:

— Кем решенный? Кто это может решать, кроме меня?

— Это решено хозяевами газеты.

— Слушайте, вы или не доспали, или у вас жар. Какие хозяева газеты? Кто это?

— Хозяева газеты — это издательство «Новое Слово», переименованное по вашей просьбе в издательство «Воля Народа».

— Это какой-то бред. Хозяин газеты — Комитет Освобождения Народов России, а я его представитель и, следовательно, здесь у нас те или иные перемены в издании нашего органа могут вноситься только мной и никем другим.

После часовой беседы с нарушением с одной и другой стороны правил элементарной вежливости, с моей стороны, пожалуй, больше, чем с его, мы договариваемся, что номер выйдет, как и предыдущий, на восьми страницах, а о дальнейшем издании газеты здесь я буду разговаривать со своим начальством. Причем я выразил свою уверенность, что будет или так, как говорю я, или газета здесь выходить не будет.

Итти на полный разрыв до того, что газета нами будет просто закрыта, он, по-видимому, не уполномочен. В разговоре выяснилось, что главными акционерами издательства являются какие-то высокие начальники отделений в Министерстве Розенберга. По немецким законам владельцами газет и журналов являются издательства, которые, в зависимости от их политического направления, приглашают редак-

тора и набирают штат сотрудников. Выходило так, что мы являемся служащими Розенберга.

Выходя из кабинета, я почувствовал, что на таком важном участке антирозенберговского фронта, как газета, мы позволили себя обойти, как малые дети. Но кто же мог тогда разобраться во всей этой сложной и запутанной казуистике?

Наконец, второй номер вышел. Но опять с большим и громким скандалом.

После того как начали работать ротационные машины, ко мне прибежал один из русских наборщиков и сказал, что сейчас был внизу помощник Амфлета и заставил его сверстать на первую страницу над заголовком крупным шрифтом набранные слова — «Двойной номер. Цена 40 пф.» Я бегу вниз. Хочу остановить машины, но ко мне подходит управляющий типографией и говорит, что типография является собственностью издательства, а не редакции газеты и машины могут быть остановлены только по распоряжению хозяина. У начальника отделения в петлице партийный значок национал - социалистической партии, чуть ли даже не в золотой оправе, что указывает на то, что он поступил в партию среди первых ста тысяч. Он пожимает плечами и с большим достоинством удаляется к своей конторке. Со стороны издательства все это, может быть, было и логично, но в то же время отдавало и ловко проведенным жульничеством.

Машины, в конце концов, были остановлены. Оказывается, успели напечатать 15 из 250 тысяч экземпляров тиража. На мое требование выкинуть их в макулатуру, мне было отвечено, что ни один из этих номеров не будет выпущен из типографии до разбора дела.

Чтобы покончить со всем этим безобразием, я опять звоню Жиленкову. Через четверть часа он сообщает мне, что едут какие-то офицеры, чтобы разобрать инцидент на месте.

В это время входит один из сотрудников газеты, — он ходил за чем-то на Александер-плац, — и приносит купленный им свежий номер с вставленной Амфлетом заметкой о двойной цене. По его словам, около киоска стояло по меньшей мере человек триста русских рабочих, которые ждали, когда газета поступит в продажу.

На этот раз мне дело кажется верным, и Амфлет, конечно, сломает себе шею. Налицо была почти уголовщина. Приехавшим немецким офицерам я объясняю, что я подписываю каждую страницу в отдельности и после этого в ней не может быть переставлена ни одна запятая. В противном случае каждый, желающий пошутить или сде-

лать неприятность редактору, может зайти в типографию и вверстать любые слова, любой лозунг или картинку. Они долго что-то записывают, вызывают в мою комнату Амфлета. Справедливости ради нужно заметить, что возмущаются всем происшедшим почти так же, как и я. Злополучная заметка была снята и машины заработали дальше.

На следующий день из груды сваленных на столах редакции писем мне дали десятка полтора написанных разными людьми и даже коллективами на одну и ту же тему. Одно из них гласило:

> «Уважаемая редакция! Как вам не стыдно. Вы обрадовались, что газета идет нарасхват и сразу же подняли цену вдвое. Решили заработать? Не беспокойтесь о ваших карманах — мы их наполним, но не спекулируйте газетой «Воля Народа». Стыдно!
>
> Группа рабочих завода Сименс».

Остальные с большим или меньшим количеством ругательств выражали примерно те же мысли.

Такие письма приходили на следующие дни, но только из Берлина и его ближайших окрестностей, — первые 15 тысяч, несмотря на обещание, были распроданы издательством все без остатка в течение получаса в разных частях города.

Результатов работы приезжавшей комиссии я так никогда и не узнал. А сопротивление издательства принимало самые неожиданные и иногда очень болезненные формы. То мы оставались без тока, то не работали телефоны, то не были готовы заказанные к номеру клише. Когда вышел девятый или десятый номер, один из сотрудников редакции обнаружил большие пакеты предыдущих номеров газеты в складе типографии. Оказывается, они не были отправлены потому, что были потеряны какие-то адреса. В другие места газета не могла итти потому, что линии были закрыты для всех грузов. С каждой почтой из провинции приходили десятки писем от русских людей с жалобами, что газета приходит с перерывами или не приходит совсем.

После второго номера уже вошло в правило, что за час до того, как газета пойдет в печать, я не знаю, на скольких страницах она выйдет: на восьми, шести или на четырех.

В технике газетной работы это не мелочи, а вещи очень существенные. Чтобы из приготовленного к печати восьмистраничного номера сделать шестистраничный, не достаточно просто выкинуть две полосы. Это значит, что с первой до последней строчки приходится переделывать и переставлять весь материал. При перемене на четырехстраничную

операция еще сложнее. Тогда приходится переписывать и ряд статей, с передовой начиная.

Раза два я ездил к Власову, говорил ему, что у нас газеты нет, что «Воля Народа» это газета Розенберга и что на этом участке фронта нас очень ловко надули. Рассказывал ему во всех подробностях, что и как приходится преодолевать. Он рвал и метал, звонил кому-то по телефону, ругался, кричал, просил дать нам взамен несколько ротаторов, чтоб мы имели возможность общаться с миллионами людей взбудораженных и поднявшихся на борьбу. Но не помогало ничего. Иногда в мелочах как будто намечались перемены к лучшему, но вскоре все возвращалось на старый путь.

Однажды у меня произошел особенно крупный скандал. Почту, адресованную редакции и мне лично, вдруг стало вскрывать издательство и потом в распечатанном виде передавать нам. У меня не было никакой уверенности, что передается она вся. После опубликования Манифеста люди, сидящие в глубокой провинции, стали гораздо смелее, начали писать гораздо откровеннее о том, что лежало у них на душе. Прежде всего это касалось вопроса взаимоотношений с немцами. Реакция была очень разной. В некоторых местах немцы круто переменили отношение, особенно это наблюдалось в провинции, и, стараясь загладить свои грехи перед рабочими, охотно шли на улучшение их положения. Были места, где русские рабочие, до сих пор самые бесправные и гонимые, ставились теперь в такое же положение, в каком находились и все остальные иностранцы. Но были письма, в которых люди жаловались, что после опубликования Манифеста немцы с яростью срывают на них злобу и что положение их, наоборот, ухудшилось. У меня не было никакой уверенности, что почта, адресованная нам, передается нам полностью и что часть ее не относится в немецкую полицию. Что Амфлет был не только служащим Розенберга, но и агентом Гестапо, у меня почти не оставалось сомнений.

Были в этих распечатанных и прочтенных кем-то письмах неприятности и для меня лично. Друзья, разбросанные по всей Европе, прочтя мое имя в газете, считали нужным черкнуть пару слов и выразить свое удовольствие. Писали не всегда достаточно осторожно и из-за целого ряда писем могли быть крупные неприятности.

Я рассказал обо всем этом Власову. Он просил составить небольшой доклад и приехать к нему на следующий день, когда он собирался вызвать для последнего и решительного разговора каких-то важных персон.

На следующий день к назначенному сроку я приехал в Далем, а вскоре прибыли и персоны. Оказались они, действительно важными: личный уполномоченный Гиммлера, от-

командированный для связи с Движением, обер какой-то фюрер Крегер, с ним какие-то звезды помельче и, неизвестно каким образом затесавшийся, генерал - летчик, с широченными белыми лампасами на штанах.

Власов предложил им выслушать мое короткое сообщение. Я рассказал обо всех трудностях и препятствиях, которые нам приходится преодолевать и число которых не только не уменьшается, но и все время растет. Рассказал и об истории с письмами, называя все вещи своими именами: по моим предположениям, часть их идет в Восточное Министерство, где господин Розенберг собирает их в доказательство своей правоты, а часть направляется в Гестапо. Умолчал, конечно, о письмах, адресованных лично мне. Время от времени я ловил на себе подбадривающие взгляды Андрея Андреевича.

Гости слушали внимательно. Никто из них не проронил ни одного слова, не задал ни одного вопроса. Представитель Гиммлера смотрел ничего не выражающими стеклянными глазами, и меня не оставляла мысль, что в другое время и в другой обстановке он так терпеливо слушать бы не стал.

Они уехали сразу же, как был окончен мой доклад. Власов выразил уверенность, что они или наведут порядок, или закроют газету совсем. Не произошло ни того, ни другого, а продолжалось все так же, только тормоз закручивался все крепче и крепче, пока, для меня лично, не сделал работу совсем невозможной.

*

Цензура к тому времени достигла своего апогея. Вскоре за установлением цензуры Восточного Министерства была введена еще одна — Главного Управления СС. И через несколько номеров еще одна — все статьи по военным вопросам, т. е. о положении на фронтах или об армиях воюющих сторон, должны были за три дня до предполагаемого опубликования подаваться в цензурное отделение Верховного Командования Армии. Так что эти статьи были обречены проходить три цензорских карандаша. Не трудно представить, в каком виде они возвращались обратно. Во всяком случае авторы только после тщательного изучения могли разгадать в них остатки своих трудов.

Свирепее всех все-таки оставалась цензура Восточного Министерства. Она цеплялась уже не за статьи, не за строчки, а придиралась к оттенкам отдельных слов. Как правило, часа через два после отправки материала в цензуру начинается разговор по телефону.

— Господин редактор, вы прислали здесь заметку о том, что генералом Власовым была принята приехавшая из Ка-

зачьего Корпуса делегация офицеров. Так эта заметка не может пройти.

— Почему же? — спрашиваю я.

— Потому что казаки не входят в Движение, руководимое Комитетом, а остаются самостоятельными.

— Господин цензор, это сообщение я не высосал из пальца и если они приезжали, то, может быть, они решили присоединиться к нашему общему русскому делу. Заметка должна пойти обязательно.

Подоплека всех этих дел мне известна прекрасно. Управление Казачьих Войск, возглавленное генералом Красновым, не хочет иметь никакого дела с генералом Власовым. Две встречи Власова с Красновым, которых я был случайным свидетелем, не привели ни к чему. Казачьи части, около 150 тысяч человек, были козырем в руках Розенберга, и казачье возглавление внимательно следит, чтобы между боевыми частями казаков и представителями Комитета не было никаких сношений. Настроение казачьей массы было диаметрально противоположным. На съезде делегатов всех казачьих войск было единогласно решено влиться казачьим частям в Русскую Освободительную Армию. Побывавшие у Власова офицеры были первыми, кто вошел с ним в непосредственный контакт. Это все, вероятно, известно и цензору. Но я чувствую, что решает эти вопросы не он, а кто-то стоящий выше его.

В конце концов, убедившись, что договориться мы не можем, он звонит какому-то своему начальству, а я — Жиленкову. Объясняю, в чем дело, и прошу его надавить из всех сил и на все кнопки, чтобы заметку протащить.

Часа через два, не получая ответа, звоню опять:

— Георгий Николаевич, ну, как дела?

— Ничего еще пока, подождите, — грызутся.

Я жду еще. Давно уже ночь. Уходит последний поезд в метро, скоро пойдет последний трамвай, а ответа все еще нет.

Наконец, звонок. У телефона цензор.

— Редактор?

— Да.

— Так вот, что мы решили! (я знаю, что «мы» ничего не решали, а сидел он так же, как и я, и ждал откуда-то сверху телефонного звонка). Мы решили сделать следующим образом. Вы заметку можете пустить, но только слова, что офицеры были делегацией, нужно выбросить.

— Вот тебе раз! — удивляюсь я. — Так какой же она смысл имеет, эта заметка? И кому же это интересно, что к генералу Власову заходило несколько казачьих офицеров. Может быть, они забежали на огонек или на рюмку водки,

или кто-нибудь из них является его дальним родственником — о чем же тут сообщать-то, это их частное дело! «Воля Народа» не семейная хроника, а политическая газета. Нет, вы уж там решайте как-нибудь по-другому. Без этой заметки я не выпущу номера.

Угроза не выпустить номер, то есть фактически прекратить издание газеты, это единственное оружие, которое у меня есть в руках. Ни цензор, ни те, кто стоят над ним, закрыть газеты, по-видимому, не имеют права. Но оружием этим я не могу громыхать все время и только в случае каком-нибудь особенно важном приходится пускать его в ход.

Волынка начинается сначала. Я звоню Жиленкову, он дальше куда-то, в немецкое поднебесье. Цензор — своему начальству, тот еще выше. И где-то, там на верхах начинается новая грызня. В три часа утра все усталые и раздраженные все-таки соглашаются заметку пропустить.

Все эти ежедневные мелочи — вначале мне казалось, что они преследуют только меня — доводят иногда до отчаяния. Мне иногда кажется, что я мог бы убить и цензора и представителя издательства. Иногда кажется, наоборот, смешным противопоставление: Амфлет, цензор, за ними какие-то самовосхищенные надчеловеки, их шефы, а затем и Розенберг — это с одной стороны, а с другой — гигантский взрыв энтузиазма миллионных масс, поднявшихся на бой за свою свободу. Иногда кажется, что лучше бросить и закрыть все, остаться вообще без газеты, признать, что передовой форпост нашего фронта, выдвинутый далеко вперед в море нацистской глупости, не выдержал борьбы и сдался. Но прочтешь или пробежишь глазами десятки и сотни приходящих каждый день писем, и снова хочется бороться, снова хочется драться за каждый клочок бумаги, за каждое слово и каждую строчку.

*

Однажды, это было в конце ноября, мне позвонил приехавший из места формирования армии Меандров и попросил обязательно выбраться к нему вечером. Оказалось, что сегодня день его рождения и он пригласил несколько человек на скромный ужин. Когда я приехал, там были уже Власов, Мальшкин, Жиленков и несколько офицеров Штаба.

С Михаилом Алексеевичем Меандровым мы давнишние и близкие друзья. Он член организации с 1942 года. Мы часто встречались с ним еще в то время, когда он был в Берлине, и, благодаря его исключительной способности располагать к себе людей, сошлись очень быстро и крепко. Невысо-

кого роста, коренастый, с глубоко посаженными на по-русски скуластом лице глазами, под нависшими седеющими бровями. В уголках глаз, иногда колючих, иногда подкупающе - приветливо улыбающихся, всегда огонек живой, быстрой и оригинальной мысли. Он был одним из лучших ораторов в руководстве Движения. Его выступления можно было сравнить только с выступлениями Мальшкина. Когда позднее, после конца войны, в лагере русских военнопленных в Кладене, где он был старшим офицером, с разрешения американских властей в его палатку были допущены офицеры НКВД, он произнес перед ними речь — «Мы к вам никогда не вернемся, потому что...» Произнесена она была с таким жаром, с такой убедительностью и верой в свою правоту, с такими точными и меткими определениями советской власти, что посетители, выслушав ее до конца, не проронив ни слова, ушли. «Я как сейчас помню лица трех автоматчиков - солдат, приехавших с гостями в качестве телохранителей, — рассказывает свидетель визита. С раскрытыми ртами, с сияющими глазами они, в течение получасовой речи, боялись пошевелиться, чтобы не проронить ни одного слова. Когда один из них неосторожным движением зацепил автоматом за спинку кровати, около которой стоял, другие два посмотрели на него с таким уничтожающим возмущением, как люди смотрят на тяжелого преступника».

Общий разговор среди собравшихся в тот вечер, шел, конечно, о нашем деле. Я впервые узнал, что на таких же крепких тормозах, как газета, держится и все остальное. Гражданское управление до сих пор не может добиться возможности послать представителей Комитета в провинциальные города, хотя потребность этого не терпит никаких отлагательств. Отдел Социальной защиты с трудом добивается улучшения положения рабочих, хотя это широкой рекламой было декларировано не только нами, но и немцами. Но печальнее всего вести из Армии. Первая дивизия давно укомплектована людьми, но немцы до сих пор не дают достаточного количества оружия, не всегда и не в достаточном количестве доставляется продовольствие, 50 % солдат не имеют никакой обуви, и занятия приходится вести с одной частью в то время как вторая сидит босой в бараках и ждет своей очереди на ботинки. Приток людей, без всякого вызова приезжающих и приходящих к месту формирования такой, что нет возможности всех взять и хотя бы накормить. Штаты всех подразделений раздуты до отказа, а народ все идет и идет. Офицерская школа, начальником которой был Меандров, задуманная сначала для нескольких сот человек, давно уже увеличила состав курсантов до двух тысяч, а желающим поступить не видно конца.

В этом общем разговоре было констатировано, что немцы пошли на попятный. Картина была ясной, — они напуганы тем взрывом, который был произведен Манифестом. Они не рассчитывали, что на борьбу за него поднимется столько сил, охваченных таким энтузиазмом. Они рассчитывали, вероятно, взять еще что-то с русского народа на защиту осажденной со всех сторон Германии. Если бы откликнулись на призыв к борьбе десятки или сотни тысяч, только какая-то часть русского мира, то так и могло произойти. Эти силы могли бы объединиться только в процессе отталкивания от остальной враждебной им массы и тогда легко бы попали в немецкие руки. Но то, что произошло, разрушало все планы. Силы Движения грозили расти с такой быстротой и в таких масштабах, что скоро справиться с ними слабеющей Германии было бы не по плечу. Эти силы могли стать скоро настолько самостоятельны, что с ними пришлось бы считаться в гораздо большей степени, чем приходилось считаться Гитлеру с любым из его союзников.

Но немцы не могли и прикрыть санкционированное ими дело. Они не могли бы разогнать или арестовать Комитет и самого Власова без того, чтобы не пойти на большой конфликт со всей русской массой, терпеливо ждавшей этого признания больше трех лет.

Положение статики, укрепившееся в течение предыдущих лет войны, было нарушено. Перед немцами стоял выбор — или выпустить из рук инициативу или круто поворачивать назад. И то и другое грозило большими и в обоих случаях неприятными последствиями. Они нашли третье решение, среднее. Не закрывать, но и не пускать вперед, а тормозить столько, сколько им казалось необходимым. Происшедший между ними раскол, в результате которого одна сторона, вопреки желаниям другой, вступила с русскими в переговоры, к этому времени для них был не таким существенным, как общая для них опасность перед растущей Третьей Силой. Около тормоза они объединились снова, и те, которые были за признание русского антикоммунизма, и те, которые были против. У тормоза сошлись снова и Гиммлер и Розенберг. Оставались на нашей стороне немногие единицы, которые настаивали на коренных переменах восточной политики с самого начала войны. Они тоже почувствовали себя обманутыми и стали более активными. И то, что удалось достичь Освободительному Движению за недолгие месяцы до окончания войны, в значительной степени удалось при их помощи.

В общем разговоре у Меандрова было установлено, что из создавшегося положения есть два выхода — или прекратить акцию, свернуть работу и ждать, когда немцы ослабе-

ют настолько что можно будет начать действовать вопреки их желанию и сопротивлению, или продолжать сейчас хоть понемножку, но все-таки двигать дело вперед. Общее мнение выражено было Власовым в пользу второго варианта:

— Когда они ослабеют, нельзя будет начать с того места, где мы находимся сейчас. Дело на одном месте стоять не может, оно должно двигаться или вперед или назад. Двигаться назад — это значит разрушать все то, что с таким трудом и такими жертвами было создано.

После ужина условились о политике больше не говорить. Сидим кружком, разговоры больше о прошлом, о личном, о том, что уже давно не вспоминалось, а потом, как-то незаметно, переходим к стихам — в то время почему-то особенно часто и много читали стихи. Среди присутствующих — Василий Федорович Мальшкин первый помощник и заместитель Власова, редкий знаток Есенина, которого он читает всего наизусть — и небольшие стихотворения и поэмы. Мы все знаем этот его талант и поэтому слово единогласно предоставляется ему. Два часа, кроме чтеца никто не проронил ни слова. Я никогда не слышал такого исполнения, ни до него, вероятно, не услышу и после. Говорят сам Есенин, — они были друзьями, — любил слушать свои стихи в исполнении Мальшкина. Что-то есть в есенинских стихах близкое к нашим настроениям, к времени, в которое мы живем. Два часа ни шороха, ни стука, только ровный, спокойный, кажется, для стихов Есенина созданный голос читает и читает одно стихотворенье за другим. Мы все слышали его чтение уже не раз и знаем порядок, в котором пойдут поэмы. Я жду свою любимую — «Анна Снегина». Есть там строчки, которые, сколько их ни читай и ни слушай, всегда кажутся свежими и непередаваемо прекрасными:

«Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень . . . »

Стихи — как музыка. Они уводят из атмосферы борьбы и злобы и так трудно возвращаться потом в кипящую ими жизнь.

После стихов как-то не хочется говорить. Гости сидят еще недолго и начинают расходиться. Меня Михаил Алексеевич просит остаться.

Когда за последним уходящим закрылась дверь, он, возвращаясь, говорит:

— Нам нужно предпринять какие-то особые меры, сделать новые усилия, чтобы вытащить наших друзей из тюрем и концлагерей, куда многие из них опять отправлены.

Я рассказываю о том, что недавно опять был у Власова, что он обещал категорически потребовать их освобождения и что я случайно был свидетелем его разговора на эту тему.

Как-то за неделю до этого я был вечером в Далеме. Неожиданно позвонил и потом приехал один из уполномоченных Гиммлера. Он приезжал выяснить какую-то деталь в ведущихся тогда переговорах о большом финансовом займе, который просил Комитет у Германии для разворота своей работы. Андрей Андреевич, уточнив нужную деталь с приехавшим, сразу же заговорил о наших арестованных друзьях:

— Нам эти люди необходимы для дела. Они с самого начала войны работали над созданием того, что сейчас признано и правительством Германии желательным и дружественным, и их нет сейчас, когда так необходима нам концентрация всех наших сил.

Приехавший что-то сказал о неоконченном следствии.

— Следствие и допросы, которые ведутся в течение пяти месяцев, говорят о том, что преступление установить не удается. А может быть, как преступление им приписывается то, что сейчас уже перестало быть таковым. Я очень прошу вас содействовать их освобождению.

Гость что-то неопределенное пообещал. Результатов нет никаких.

— Я боюсь, что результатов может и не быть, — говорит Меандров, — я боюсь, что мы какой-то выгодный момент пропустили, может быть это было в самом начале, в день объявления Манифеста, может быть — за день до того. Сейчас идет все на убыль, и дружба и сотрудничество. И сейчас это сделать труднее. Но еще труднее будет завтра и, может быть, совсем невозможно послезавтра. Конфликт между нами и немцами может вспыхнуть непредвиденно и даже нежелательно для нас. Тогда с друзьями придется проститься.

Обсудив все возможные варианты, мы останавливаемся на двух следующих один за другим в случае неудачи первого.

Первый заключается в том, что завтра Меандров пойдет в тюрьму к следователю и от имени Власова потребует выяснения дела. Следователь, может быть, не в курсе истинного положения вещей, в газетах еще не так давно были фотографии Власова, разговаривающего с Гиммлером, с Риббентропом и Гебельсом. Если от этого следователя зависит решение, то Меандров постарается это решение из него выдавить. После возвращения из тюрьмы Михаил Алексеевич и я поедем к Власову и скажем, что мы оба, в качестве немногих оставшихся на свободе руководителей орга-

низации, решили использовать его имя без его предварительного согласия и что просим за это прощения.

Второй вариант сложнее и рискованнее.

По возвращении в место формирования армии Меандров составит небольшую ударную группу из молодых офицеров, членов организации, и пришлет ее в Берлин. Я должен их встретить и ввести в курс дела, следя одновременно за возможными переводами и перемещениями заключенных. В случае прорыва Красной Армии на Одере и угрозы Берлину, офицерская группа во время бомбардировки, которые стали опять ежедневными, ворвется в помещение тюрьмы и выкрадет сидящих друзей.

В этом плане нет ничего фантастического. При правильной постановке дела попытка может иметь успех. В ней много риска только потому, что при неудаче последствия для друзей предвидеть трудно.

На следующий день он был в тюрьме. Следователь, как мы и ожидали, был не совсем в курсе дела о сложившихся между нами и немцами взаимоотношениях, и прием был подающим надежды. Но решение зависело, конечно, не от него. Приходилось ждать и терять дорогие дни.

Андрей Андреевич после нашего признания отнесся к предпринятому нами шагу благосклонно. О втором варианте мы ему не рассказали.

Ударная офицерская группа была Меандровым создана и в Берлин отправлена. Она провела всю подготовительную работу для вооруженного налета на тюрьму Александерплац.

*

В начале декабря, как-то вечером, после обычной руготни и торговли с цензором по телефону, я получил от него неожиданное приглашение:

— Если мы о газете и статьях говорить кончили, то я должен вам передать еще кое-что.

— Что же именно?

— Мне велено передать вам приглашение на съезд иностранных журналистов, который будет происходить на днях в Вене. Сейчас я пошлю вам пригласительный билет, программу, повестку дня и прочее.

Поездка представляла определенный интерес с точки зрения пропагандной — еще раз напомнить «Новой Европе» о нашем существовании. Немецкая печать с некоторого времени, вернее, со дня опубликования Манифеста, не проронила о Движении ни слова. В иностранной печати, особенно на юге, Власов был попрежнему злобой дня. С другой стороны, мне хотелось поехать и для ориентации — посмотреть,

чем эта «Новая Европа» сейчас живет, на что надеется и куда стремится. Судя по программе, съезд будет проведен с большой помпой. В немецкой печати ему уделяется исключительное внимание.

Вечером того же дня я был у Власова по делу. Окончив деловой разговор, спросил его, что он думает об этом приглашении.

—Конечно, поезжай. Людей посмотри, себя покажи, послушай, что о нас говорят и им скажи что-нибудь.

— Что вы считаете, Андрей Андреевич, самым необходимым, что нужно было бы им сказать?

— Скажи им, чтоб нам помогали, а то пропадут они со своей Европой. Вот что скажи.

Уезжать нужно было на следующий день. Мой цензор оказался приставленным ко мне в качестве сопровождающего. Свои функции он определил, когда мы уже сидели в вагоне, как-то неопределенно — «быть переводчиком, проводником, ну, и вообще, помогать». Что за этим «вообще» крылось, я так и не понял до конца поездки. Впрочем, вел он себя очень хорошо, предупредительно, и оказался человеком довольно приятным. В цензоры наши он попал не по призванию, а потому, что знал лучше других русский язык, хотя и делал в нем немалые ошибки. Настроений он, примерно, наших. Очень сочувственно относился вообще к русскому делу и только из-за своего служебного положения при моих горьких жалобах на немецкую глупость выражал свое согласие лишь неопределенными междометиями. Оказалось, что над ним сидит начальник его отделения, персона, по масштабам Восточного Министерства, очень крупная, и что наши статьи просматривает прежде всего он. Часто цензор получает от него материал с припиской, что все уже проверено и что ему, цензору, остается только парафировать. «Он большой антисемит на все русское» — закончил характеристику своего шефа мой спутник.

Через несколько часов разговора он рассказал мне небольшую предисторию моего приглашения. Оказывается, инициатива пригласить нас первый раз на съезд иностранной печати — они происходили каждый год — исходила от немецкого Министерства Иностранных Дел. Восточное Министерство, все еще рассматривающее нас не то как военнопленных, не то как покоренных врагов, категорически протестовало. Какие-то бонзы и в одном министерстве и в другом спорили и ругались несколько дней. В конце концов нашли компромиссное решение — пригласить, как иностранцев - союзников, но без права голоса.

— Если б я знал об этом раньше, наверное не поехал бы. Что за удовольствие быть нежеланным гостем, — говорю я.

— Ах, не обращайте внимания. Если будет интересно — останемся, если не понравится, можем уехать в любой момент.

Самому ему ехать почему-то хотелось очень. Так и условились.

Я рассчитал, что могу навестить друзей в самой Вене и в ее окрестностях, повидаю знакомых сербов, которые, как я слышал, в большом числе бежали из Югославии, занятой тогда уже наполовину Красной Армией и Тито, и осели тоже в районе Вены.

Съезд оказался организованным так хорошо, как это можно было тогда сделать. Прекрасные комнаты в отелях «Захер» и «Империал», автобусы для поездок на заседания и обратно (они происходили в Шенбруне) и небольшая увеселительная программа.

Первые два дня заседания происходили по два раза в день, до обеда и после. Вечером второго дня в том же Шенбруне маленькая вечеринка, с большим количеством алкоголя, для взаимного знакомства гостей.

Третий и последний конгресс «Союза национальных объединений журналистов Европы» назывался так только по традиции: на нем в гораздо большей степени представлены политики, чем журналисты, и, главным образом, из стран восточной Европы, уже занятых коммунизмом.

Среди присутствующих чуть ли не в полном составе бывшее правительство Болгарии с Цанковым во главе, министр пропаганды Венгрии — Райнич, бывший президент Эстонии — Мэй.

С запада — новый министр пропаганды правительства Виши Марсель Деа, вождь бельгийских рексистов Леон Дегрель, офицеры испанской «Голубой дивизии» и десятки других, всего около 200 человек.

В первый день работы конгресса, один из выступавших с трибуны, фламандец ван де Вилле, пророчески предсказал судьбу собравшихся: «Все здесь присутствующие знают, что если Германия проиграет войну — они все будут повешены...» Пророчество сбылось по меньшей мере на три четверти: большинство участников конгресса постигла эта участь.

Доклады делегатов, в общей сложности около 25, и вялые, и темпераментные, содержательные и пустые, очень разные по форме, по содержанию распадались на две части. Одни из них целиком исчерпывались тезисами:

— Европа в опасности. Христианской культуре грозит гибель от варварства, идущего с востока. Нужно мобилизо-

вать все силы, взяться за оружие и итти спасать колыбель христианской культуры от грозящего ей разрушения...

Другие могли быть блестящей иллюстрацией трагедии, в которую Гитлер втянул европейский антикоммунизм. Трагедии в полном значении этого слова: в разных вариантах и с разной степенью откровенности неоднократно задавался один и тот же вопрос — за что же, собственно, мы боремся? Не нужно забывать, что вопрос этот задавался за четыре месяца перед концом войны.

«Немцы рассматривают проблему войны только с их точки зрения, но никогда с точки зрения других народов. Мы еще и до сегодня не знаем, что с нами собираются сделать. Что собираются сделать с русскими — это мы знаем» — сказал один из молодых сербских дипломатов.

«Поверьте мне, что немцам не удалось убедить наши народы в необходимости признания немецкого водительства. Вы имеете сильнейшую и лучшую армию — это ясно, но что будет, когда кончится война? Вы можете решить войну силой оружия, но духовно вы отстали от нас» — еще более определенно выразил ту же мысль норвежец.

Одну из самых трагических фигур среди присутствующих представлял собой бывший президент свободной Эстонии Мэй. «С первых дней войны я слал немецкому министерству иностранных дел один доклад за другим, об единственно возможной политике Германии по отношению к народам восточной Европы — сказал он. Первым пунктом этих докладов , так и не привлекшим внимания, было: прокламация и осуществление национальной свободы и независимости с того момента, как первый немец вступит на нашу землю. Сделано было как раз обратное. Немцы продемонстрировали незнание психологии других народов на нас. Нам не дали возможности даже умереть для Германии, хотя дивизии эстонцев были готовы к борьбе. Из недоверия к нам нам не дали даже оружия».

Точнее всех передал настроение царившее на конгрессе, Леон Дегрель. В то же время он явился олицетворением того парадокса, в который попала пошедшая за Гитлером часть Европы.

До-черна загорелый, он только что приехал с фронта, в полной форме офицера частей СС, с высшим воинским отличием, рыцарским крестом с дубовыми листьями, на груди, он произнес речь, которую можно назвать лебединой песней довоенного европейского антикомунизма:

«Я сомневаюсь, что немцы окажутся в состоянии выиграть духовно мир. Поэтому все наши народы должны соединиться, чтобы обеспечить плоды победы и, если это будет нужно, то против политики Германии... Поэтому мы требу-

ем: скажите нам, наконец, за что мы боремся, за что мы должны продолжать бороться, а не только против чего. Европа должна иметь какую-то конкретную цель! Где же она?»..

Говорили бельгийцы, румыны, болгары, хорваты, норвежцы и др., сравнительно мало немцы и больше всех итальянцы. Я там впервые увидел, насколько итальянцы веселый и жизнерадостный народ. Они или лишены всякого юмора, или одарены уж слишком большим. Два докладчика, один за другим, после часовых темпераментных речей приглашают высокое собрание в следующем году провести съезд в одном из городов фашистской Италии. Сказано все это очень искренно и без тени сомнения в том, что в следующем году такой съезд состоится. Наградит же Господь Бог таким неудержимым оптимизмом людей! От фашистской Италии к этому времени остались только Дуче, не знающий, куда себя пристроить у своего более долговечного партнера по завоеванию мира, да несколько тысяч вчера союзных, а сегодня военнопленых итальянских солдат, которых каждый день можно видеть в Берлине идущими под конвоем куда-то на работу.

Среди присутствующих у меня нашлись знакомые — сербы журналисты из Белграда, а среди них большой и многолетний друг Ратко Живадинович. На вечеринке все они набросились на меня с расспросами о Власове. Негодуют, что о нем совсем молчит немецкая печать. Ратко прекрасно говорит по-русски, и у нас еще с Белграда завелся обычай, в знак взаимной вежливости разговор вести на двух языках — он по-русски, а я по-сербски. Он кипятится больше всех.

— Ты прости меня, может вы там какие особенные философы и знатоки разных проблем, или, Бог вас знает, кто вы еще, но в международной политике вы ровнешенько ничего не понимаете. Ну, вот, что это такое, ты приехал сюда, сидишь, слушаешь, как какие-то итальянцы или фламандцы шумят и глупости городят.

— Ну, что же мне, останавливать их? Да и вообще, какое нам до этого дело!

— Вот, видишь, ты и опять неправ. Надо им сказать: молчите, дураки, и слушайте, что мы вам скажем, потому что ни в коммунизме, ни в опасности, которая вам грозит, вы ни уха ни рыла не смыслите. Помогайте нам, и благо вам будет на земли.

Меня поражает общность мысли, высказанной по-разному и Власовым перед моим отъездом и этим балканцем, облекшим ее в такую шутливую форму.

— Нет, так дальше невозможно, — не может успокоиться Ратко. — При такой международной политике дело де-

лать нельзя. Мы будем вашим министерством иностранных дел, хотите вы этого или не хотите. Так и передай Власову, что сербы будут вести его иностранную политику, потому что вы не умеете.

— Ну, если не дорого возьмете, портфелей кожаных не потребуете, в конфликт нас преждевременно не втянете, то что же, можно. Валяйте, — отшучиваюсь я.

Зал гудит приглушенными голосами. Чувствуется уже и выпитый алкоголь. Во всей этой разношерстной публике я чувствую себя серым медведем, которого привели на-показ в детский сад. То и дело ловлю на себе любопытные взгляды и иногда улавливаю обрывки фраз — «Власов» . . . «Власов» . . . . «русские» . . .

Эта съехавшаяся на последний съезд «Новая Европа» объединена двумя чувствами: ненавистью к Германии и страхом перед приближающимся коммунизмом. Германию и немцев все иностранцы, которые собрались здесь, ненавидят терпко и жгуче. Это видно даже и по взглядам, которые они бросают на подвыпивших и важно расхаживающих с партийными значками хозяев. Ненавидят за предательство, совершенное Германией по отношению к Европе, за обманутые, украденные надежды, за то, что своей политикой, и прежде всего восточной политикой, Германия втянула Европу в эту кровавую лужу, из которой неизвестно, как и когда она сможет выбраться. Когда-то многие из этих людей, убежденных антикоммунистов, искренно и горячо поддерживали немцев в их борьбе против коммунизма, многим из них казалось, что и Новая Европа, построенная благоразумно и честно, могла бы быть реальностью. Все их мечты и надежды Гитлер погубил своей тупостью.

Наше «министерство иностранных дел» принялось не на шутку за работу. Меня то и дело знакомят с какими-то новыми и новыми людьми. С бывшими министрами бывших балканских правительств, среди них, помнится, был министр просвещения Болгарии, если не ошибаюсь, брат Цанкова, с какими-то, якобы, замечательными и интересными фламандцами и голландцами, с Дегрелем и кем-то еще.

Ратко куда-то исчезает и, вернувшись, берет меня под руку и тянет в соседнюю комнату. — «С тобой очень хочет познакомиться Шмидт».

— Что это за зверь и почему ты говоришь о нем с таким придыханием? Кто он такой?

— Ты не знаешь, кто такой Шмидт? Это, брат, человек . . .

Что за человек Шмидт, я так не знаю и до сих пор. Тогда подумал, что, вероятно, какая-нибудь звезда с бал-

канского небосклона, и министерство расценивает его по принципу «сильнее кошки зверя нет», хотя, как потом заметил, и все немцы относились к нему с большим уважением.

За столом, куда мы подходим, сидит несколько человек. Во главе этот самый Шмидт. Высокий, очень полный, как и все сидящие за столом, немало выпивший.

Знакомимся. Разговор заводится изысканно великосветский. Господин Шмидт очень обеспокоен тем, нравится ли мне дворец Шенбрун. Дворец мне нравится очень. Его также волнует, понравился ли мне съезд. Я успокаиваю его, говоря, что и съезд мне тоже очень понравился.

— Очень, очень интересный, — соглашается и он, и потом после некоторого молчания: — Ваш переводчик говорил сегодня, что вы хотели бы выступить на съезде с докладом.

Я отвечаю, что у меня было такое желание и что я действительно просил переводчика справиться, можно ли выступить, но мне ответили, что такой возможности нет. Но выступить не с докладом, к которому я не готовился, а просто высказать пару мыслей, которые, мне казалось, высказать стоило бы.

— Очень интересно, — сочувственно вздыхает он.

Кто-то из присутствующих почтительно докладывает Шмидту, что докладчики, как правило, записываются за полгода до созыва съезда и президиуму даются предварительно тезисы их речей или тексты целиком.

— Очень интересно, — он все никак не может переменить пластинку.

Потом, неожиданно оживился:

— Так представитель генерала Власова ведь не хотел читать большого доклада. Он, вероятно, хотел приветствовать съезд и для этого не нужно никаких тезисов.

Я отвечаю, что имел ввиду не приветствие, которое, само собой понятно, тоже могло бы иметь место, а нечто другое.

— А что же именно? — кажется, искренно на этот раз заинтересовался он.

— Я хотел сказать... хотя впрочем, мне кажется сейчас уж не стоит. И обстановка и время не соответствуют этому.

— Нет, нет, это очень интересно. Мы очень просим вас, если, разумеется, вам не трудно, — говорит он вялым голосом.

—Мне ни капельки не трудно и если вам, действительно, интересно, то могу и сказать.

— Просим, просим, — говорит он, приглашая взглядом окружающих присоединиться к его просьбе.

Разговор, по-видимому, привлек давно и внимание соседних столиков и проходящих между ними к буфету журналистов. Я чувствую, что за моей спиной стоит несколько человек. Неожиданно наступает тишина.

— Я хотел сказать, что все разговоры о спасении Европы, которые я слышал здесь на разных докладах в течение двух дней, разговоры о дивизиях и пулеметах, которыми, будто бы, можно задержать коммунизм — это разговоры не на тему. Коммунизм пулеметами остановить нельзя.

— Очень интересно, — опять оглядывает Шмидт присутствующих, как бы приглашая присоединиться к его оценке.

Я говорю медленно, с трудом подбираю слова, первый раз в жизни говорю на эту тему по-немецки.

— Дальше я хотел сказать, что коммунизм можно остановить только идеей более человечной, светлой и здоровой.

— Очень интересно . . .

— Дальше я хотел сказать, что ключ к спасению Европы — есть. Что ключ этот в наших руках, в русских руках, в руках Русского Освободительного Движения, возглавляемого генералом Власовым.

Он смотрит немного вопросительно, приподняв бровь и наклонившись всем телом в сторону.

— Еще я хотел сказать, что этот ключ мы не нашли и не получили в подарок. За право обладания этим ключем, мы, русский народ, заплатили большую цену в тридцать миллионов человеческих жизней и четверть века тяжелого рабства . . .

Господин Шмидт, кажется, находит, что дальше уж не так интересно. Он смотрит на окружающих и как будто старается уловить их реакцию, чтобы потом реагировать так и самому. Выпитый ли алкоголь, хотя пил я немного, чувство ли неприязни и какой-то глубокой обиды подхватывает меня и я неожиданно сам для себя кончаю:

— Еще я хотел сказать, господин Шмидт, что этот ключ не отмычка. Им может пользоваться не каждый, что, попадая в другие руки, он теряет свои благодатные свойства, особенно, если эти руки не совсем честные или не совсем умные. Все!

Только сказав последнюю фразу, я почувствовал, что из нее можно понять много, слишком много, или не понять ничего.

Шмидт не понял ничего, как вероятно, и большинство присутствовавших. Но зато наше «министерство» было и в восторге и в легкой панике.

— Слушай, редактор, а если б они догадались, что отмычкой-то пытался орудовать не кто иной, как вождь и создатель тысячелетнего Рейха. Что бы тогда, а?

— Ничего. Мы бы объяснили им, что речь шла о каких-то ...чёрт, не знаю... одним словом каких-то наших внутренних русских делах.

— Ну, разве что, — соглашается Ратко.

Появившийся у нашего стола переводчик говорит, что господин Шмидт не видит, почему бы мне не выступить со своим заявлением, а какая-то там зверюшка помельче, считает, что это можно сделать завтра, но так как пленарного заседания больше не будет, то они предлагают выступить перед президиумом съезда, у которого завтра перед обедом будет последнее заседание.

Был ли Шмидт каким-то отчаянным оригиналом, увидел ли он в моих словах то, чего я в них не вкладывал, но если представляется возможность, то выступить пожалуй, нужно. Об отмычке, само собой понятно, говорить не стоит, а то действительно может выйти какая-нибудь неприятность.

Сначала я хотел отказаться. Президиум — это 12 - 15 человек, и говорить перед такой аудиторией как-то глупо. Сербы убедили меня, что это сделать необходимо. Отчеты о всех собраниях и о всех выступлениях будут в печати и, по сути дела, не играет никакой роли, сколько человек сидит в зале.

На следующий день мы с переводчиком приходим в зал. Все места до одного заняты, как и на предыдущих собраниях. Первый, кого я вижу, — Ратко. Он сидит в заднем ряду и машет мне рукой. Я подхожу, он кивает головой на зал и спрашивает:

— Какова работа, а?

Оказывается, они вчера еще предупредили всех, что сегодня перед президиумом съезда выступит представитель генерала Власова с каким-то интересным сообщением.

Заседание еще не началось. Ждут кого-то из важных членов президиума. Я сажусь рядом с Ратко и прошу переводчика узнать, когда наша очередь. Наша — потому, что говорить я хочу по-русски, а он будет переводить фразу за фразой на немецкий язык.

Переводчик шагает вдоль всего зала к столу президиума и наклоняется к председательствующему доктору Вайсу, фактическому редактору «Фелькишер Беобахтер». Тот пожимает плечами, разводит руками и потом, пошептавшись с соседями, говорит что-то наклонившемуся к нему переводчику. Мой парламентер направляется к нам.

— Доктор Вайс спрашивает, сколько минут займет выступление?

— С переводом, я думаю, минут двадцать, — отвечаю я.

Он направляется опять обратно. Через минуту опять ко мне.

— Доктор Вайс предлагает говорить по-немецки.

Я этого принципиально не хочу. Я хочу, чтобы здесь, в этом зале, где столько злобной клеветы и ненависти было высказано по отношению к нашему народу, прозвучали русские слова. Всего этого переводчику, конечно, не говорю, а говорю только, что я не настолько владею немецким языком, чтобы выступать на трибуне.

Он, бедняга, отправляется опять обратно. Когда он возвращается, весь зал, обративший внимание на его прогулки уже давно, следит за ним, провожая глазами.

— Доктор Вайс говорит, что через два часа отходит первый поезд, с которым уезжает часть делегатов, и что времени для выступления не остается.

— Ну, и чёрт с ними! — вырывается у меня.

Мы поднимаемся и уходим.

Спускаясь с лестницы, я слышу за нами топот многих ног. Это расходится публика, собравшаяся послушать сенсационное сообщение, которое должен был сделать представитель генерала Власова.

У входа в отель меня крепко кто-то берет за руку. Поворачиваюсь — Дмитрий Летич. Оказывается, говорить на съезде не дали не только мне, но и ему.

— А о чем хотели говорить вы, господин председатель? — спрашиваю его я.

— О чем сегодня можно говорить, кроме Власова? — отвечает вопросом он.

Потом в отеле, за обедом вечером на вокзале ко мне подходили, заговаривали, в той или иной форме выражали свое сочувствие, сожаление и возмущение хозяевами десятки мне незнакомых людей. Можно без преувеличения сказать, что не было ни одного иностранца, который бы так или иначе не выразил чувства симпатии и интереса к нашему делу.

Поразил меня больше всего итальянец, мой сосед по купэ спального вагона, когда мы ехали обратно в Берлин. Его настроения, его мысли, его отношения к происходящим событиям были отношением и мыслями европейца - антикоммуниста того времни.

— Вы представляете этот ужас, только подумать, что большевики будут в Риме, в Париже, во всей Европе, а может быть и еще дальше... Десятки поколений будут проклинать нас за то, что мы явились гробокопателями христианской культуры, две тысячи лет до нас светившей всему

миру... Виноват в этом Гитлер. Ему больше не поверит никто. И единственно, кто еще может спасти Европу, это вы, русские, может быть — Власов. Не потому, что он самый умный и одаренный, а потому что он русский. Может, ему и наплевать на все, что лежит западнее границ России, но это было бы спасено мимоходом. Я давно слежу за вашим Движением, присматриваюсь к нему гораздо раньше, чем был объявлен ваш Манифест. Я не вижу другой возможности, другого выхода спасения нас всех, как все свои силы отдать на помощь вам... Неужели не ясно всем, что нет вопроса ни польского, вокруг которого уже разгорается разногласие между западными союзниками и Сталиным, ни румынского, ни болгарского, ни целого ряда других, которые появятся позднее, — есть вопрос только русский. Ни Варшава, ни София не могут быть освобождены, пока не будет свободна Москва. А ее освободить так просто... О, если бы Гитлер решился проиграть войну Власову, а не Сталину...

Я очень жалел, что не видел и не познакомился с этим человеком на съезде, как не встретил ни разу его и после того, как мы простились на берлинском вокзале.

*

В первый же свободный вечер в Вене я повидался и с друзьями. В одном из предместий города собралась небольшая группа членов организации, главным образом рабочих из России, созданная одним из моих давнишних друзей, белградцем. Я просил его не говорить обо мне ничего, ни кто я, ни откуда. С одной стороны мне не хотелось сейчас, после трех лет отсутствия, афишировать свою принадлежность к организации, а с другой, хотелось послушать и посмотреть, как реагируют здесь на объявленный недавно Манифест.

Собрание происходит в гараже, где некоторые из присутствующих прикреплены к работе.

Пришло немного, человек тридцать. Кроме председателя группы, все остальные — вчерашние советские граждане. Мой друг, не называя фамилии, представил меня, как старого члена организации.

Сегодня в группе разбор и обсуждение отдельных пунктов Манифеста. Я слушаю их замечания, вопросы, объяснения председателя и вспоминаю далекий Белград, когда мы, вот так же собирались по вечерам и формулировали пункты этой программы. Тогда не было еще разговора о войне, и никто еще не знал, где, когда и как мы будем проповедывать свой символ веры нашим соотечественникам. Кто из нас мог тогда подумать, что вот так же, на чужбине, с нашими

братьями «оттуда» мы будем обсуждать и усваивать их снова.

Манифест произвел большое впечатление. Я вижу по тому, с каким интересом и оживлением происходит собрание. Выступают и принимают участие в обсуждении почти все. То и дело поднимает кто-нибудь руку, прося слова. Председатель записывает на бумажке порядок выступающих.

После того как кончилась официальная часть собрания — оно продолжалось часа два, — не расходится никто. Разговоры ведутся вразброд и постепенно все присутствующие делятся на несколько компаний, сидящих отдельными кружками, но говорящих все об одном и том же — о родине, о перспективах борьбы, о Власове. Они еще не чувствуют, что с немцами не все благополучно, что дни, казалось, возможного взаимопонимания, уже позади и что теперь нам приходится больше обороняться от врагов русского дела, чем двигать его вперед.

Подхожу к небольшой группе, устроившейся в углу, у снятой с колес машины. Что-то оживленно рассказывает один из молодых, недавно поступивших в организацию членов. Он бывший красноармеец, когда-то до войны и в первые ее дни служивший в четвертом танковом корпусе, стоявшем во Львове. Тот факт, что он знал Власова еще до войны и потом выходил с ним вместе из окружения, рассказчик использует очень широко и выступает экспертом уже по всему «власовскому делу». Я слушаю его, не проронив ни слова, и вижу, каким ореолом окружено имя Власова у этих людей. Рассказчик рассказывает о том, как Власов разговаривал с Гитлером:

— Вот так вот сидит Андрей Андреевич, вроде как я, а Гитлер — с другой стороны, через стол, вот на твоем месте, — тычет он в грудь одного из слушателей. — Вот Гитлер и говорит: «Нам, говорит, необходимо взять Украину. У нас, говорит, в Германии, хлеба нехватает для немцев». А Андрей Андреевич, как стукнет кулаком по столу, да как крикнет: «Ах, тарарах-тах-тах, вашу немецкую матушку! Не видать, говорит, вам Украины, как своих ушей. Не дам, говорит и все. Вот, говорит, вам Украина!»

Рассказчик быстро складывает фигу и тычет ею в нос своему визави.

Слушатели с некоторым недоверием, но с большим удовольствием слушают этот рассказ и, по-видимому, уже не в первый раз. И рассказчику и слушателям очень хочется, чтобы это было именно так. В том, что Власов ткнул фигу под самый нос Гитлеру, они чувствуют какой-то реванш и за те оскорбления и за ту несправедливость, которых так много видел каждый из них.

Вот так создаются легенды и так растут имена, — думаю я, отходя к другой группе. Откуда он это взял? Рассказал ли ему кто-нибудь, у самого ли у него придумалось, а потом он с удовольствием и сам поверил в свою выдумку. Он, наверное, совсем искренне не мог бы ответить. Вернувшись в Берлин, обязательно расскажу Власову в лицах о его разговоре с Гитлером, хотя на самом деле его никогда не было, — ни так художественно изложенного рассказчиком, ни какого-либо вообще.

Расходимся уже около полуночи. Один из работающих в гараже, небольшими партиями по два-три человека, выпускает нас на улицу. Большинство работает на фабрике и живет в лагере, расположенном неподалеку.

Возвращаясь в отель, я вспоминаю лица участников собрания, их слова и думаю, как хорошо было бы привести сюда в гараж и заставить послушать все, что здесь говорилось, докладчиков с тех собраний, на которых мне каждый день приходится бывать. Сколько мудрости в каждом из сказанных здесь слов, по сравнению с той трескотней, которую приходится слушать во дворце Шенбрун, сколько понимания сложившейся обстановки не только для нас, в нашем русском мире, но и во всей Европе! Сколько полезного, в частности, и для тех господ, которые с таким пафосом говорят о защите Европы от русского варварства. Сколько высказано было понимания и сочувствия всем им...

*

Вернувшись в Берлин, я рассказал Власову о своих впечатлениях, о съезде, о настроениях, царивших на нем, которые так верно были сформулированы моим спутником-итальянцем.

— Андрей Андреевич, наше Движение перерастает рамки чисто русского. Я не знаю, как, и не знаю, возможно ли это вообще, но нужно что-то сделать, чтобы получить поддержку в нашем деле и со стороны тех антикоммунистических сил в Европе, которые обмануты и оскорблены Гитлером и отшатнулись от него навсегда.

Мне кажется, что согласен с этим и он, но как-то не придает этому должного значения. Может быть, действительно, сделать ничего нельзя. Германия не уступит ни одного из своих прав, которые, как она уверена, только она может держать в руках. Вступать в борьбу против Гитлера сейчас, когда вся небольшая Европа стиснута гигантскими клещами со всех сторон и, если еще как-то держится, то только

усилиями того же Гитлера... Выхода нет, кроме борьбы против него. Но борьба против него ускорит общий конец. А к нашему выступлению мы еще далеко не готовы.

*

Положение газеты все хуже, все труднее. Что она не такая, какой должна была быть, замечает уже и читатель, — это отражается в письмах и в вопросах посетителей. Тревога, что не все благополучно и со всем делом вообще, начинает охватывать все более и более широкие круги. «Немцы и на этот раз обманули» — это тема, которая дискутируется во всем русском мире, я вижу это каждый день и на моем участке. Цензура все свирепствует, а издательство с завидной изобретательностью ставит все новые и новые препятствия.

Сильно пошатнулось положение газеты — а ее положение ухудшалось параллельно с общим — с началом зимнего наступления в Бельгии. До пределов возможного я обходил его молчанием. Вдруг однажды звонок по телефону из того отделения, где сидел мой несчастный цензор, и неизвестный мне голос — вероятно, того самого бдительного начальника, который полосовал красным карандашом все посылаемые в цензуру статьи:

— Редактор газеты?

— Да, я слушаю.

— Скажите, редактор, вы ничего не знаете о наступлении, начатом немецкой армией на западном фронте?

Я отвечаю, что знаю постольку, поскольку об этом сообщается в немецких газетах.

— Тогда скажите, пожалуйста, почему это никак не отражается в вашем органе?

Голос — низкий баритон — произносит слова с явным намерением повергнуть в страх. Я отвечаю, что прежде, чем вступать в дискуссию по этому вопросу, хотел бы знать, кто говорит.

— Говорит такой-то, — сейчас уже не помню его фамилию, но, конечно, с докторским титулом, и слышал я о нем, как об одном из руководителей отдела пропаганды Восточного Министерства и близком сотруднике Розенберга. Планета первой величины. В ответе уже звучит нескрываемое раздражение. «Антисемит на все русское», — вспоминаю я характеристику, данную ему цензором.

Я спокойно говорю, что наша газета не информационный орган, выходит она всего два раза в неделю, рассчитана на читателя, до которого преодолевает долгий путь, иногда в течение недели, а иногда и больше, и давать сообщения, ко-

торые каждый день или даже час могут меняться, она не может. Немецкие газеты — дело другое. Они выходят ежедневно, к читателю попадают через несколько часов, и им это больше с руки. Наш читатель получает эти сведения тоже из немецких газет, там, где он живет. Сведения свежие и без опоздания.

— Но вы могли бы дать большую статью в обзоре о целях и смысле победоносно развивающегося наступления. Ваша газета выходит в Берлине, а не в безвоздушном пространстве.

В «победоносно развивающееся наступление» мне, надо прямо сказать, не верится, но я чувствую некоторую логику в его словах, и в то же время чувствую, что говорящий — Монблан по сравнению с моим цензором.

Он, все больше раздражаясь, бубнит дальше:

— Вообще «Воля Народа» взяла несколько оригинальную, но, по моему мнению, глубоко ошибочную линию, — не замечать окружающей ее жизни и писать о том, что, может быть, будет, чем о том, что есть.

И раздражение в голосе, переходящее в прямое оскорбление и явное желание вызвать на резкость или спровоцировать на неосторожный ответ, выводит меня из себя.

Я отвечаю, что мы, действительно, лишены возможности отражать жизнь такой, какая она есть, но что виновата в этом, главным образом, цензура, в частности, она мешает нам дать полную картину роста и развития Русского Освободительного Движения. Но что, вообще говоря, до сих пор порядок был такой, — я посылал статьи в цензуру, а не принимал оттуда заказы на тот или иной материал...

Он не унимается и наседает дальше:

— В частности, «Воля Народа» никак не определила своего отношения к такому важному вопросу, как еврейский вопрос.

Этот вопрос задается уже не в первый и, вероятно, не в последний раз. В разговорах с немцами, говорящими по-русски, он фигурирует обязательно. Иногда высказывается недоумение, иногда обида, а иногда, мне кажется, и одобрение. В этом пункте я чувствую себя увереннее всего. Я знаю о той упорной борьбе, которую пришлось вести, чтобы в этом вопросе сохранить свою самостоятельность, и знаю, что эта борьба была нами выиграна. В телефон отвечаю:

— Газета «Воля Народа» является органом Комитета Освобождения Народов России и занята популяризацией идей, отраженных в его Манифесте. О еврейском вопросе там не сказано ни одного слова, — и после этого сразу же, не дожидаясь ответа, кладу трубку.

Через несколько дней, после пресс-конференции, устраиваемой каждую неделю у Жиленкова (присутствуют редакторы, отдельные журналисты и сотрудники, составляющие радиопередачи), когда все расходятся, он просит меня задержаться.

Усаживается к столу и, приглашая сесть меня, он говорит:

— Разговор будет, как вы уже наверное догадываетесь, о «Воле Народа»...

И, не дав мне сказать ни слова, продолжает:

— Наши союзники (это название раздражает меня уже давно), в большой зависимости у которых мы находимся, очень недовольны нашим органом. Они говорят, что его нельзя назвать прямо антинемецким только потому, что о Германии там вообще ничего не пишется... Александр Степанович, на этой линии мы не устоим. Вы в курсе того, как обстоят наши дела вообще. Единственно, где еще как-то движется вперед, это — с нашими воинскими формированиями. И это самое главное. Во многих местах мы принуждены будем скоро отступать, и я боюсь, что первым участком нашего отступления будет наша газета. Почему вы не находите возможным хоть как-то реагировать на то, о чем большими цветными заголовками кричит вся немецкая печать. Я имею в виду наступление немцев на западе...

Я слышу в его словах последствия положенной мною во время разговора телефонной трубки. Вероятно, не прямо из министерства Восточных Дел, а через тех немцев, которые до сих пор как будто держали нашу сторону, произведено известное давление.

— Георгий Николаевич, — отвечаю ему, — во-первых, все это наступление сплошной блеф, и, во-вторых, какое отношение оно имеет к нам, к Русскому Освободительному Движению? Почему я, не имея возможности помещать статьи, которые считаю насущной необходимостью, хотя бы по разъяснению отдельных пунктов Манифеста, должен помещать халтурные статейки о том, что, может быть, завтра и со страниц немецкой печати сдует, как ветром. И зачем на страницах нашего органа оставлять следы, за которые потом придется нам краснеть, тем более, что краснеть придется уже и за то, что мы и без этого наступления принуждены помещать...

Он не отвечает на вопросы и говорит:

— Если им удастся задержать западный фронт, то, может быть, у нас больше будет времени, чтобы собирать и готовить наши силы.

— А мне кажется, — возражаю я, — что если им удастся задержать западный фронт, то тем быстрее покатится вперед восточный.

—Ну, это вопросы большой стратегии, а мы, давайте, вернемся к маленькой. Отступать нам скоро придется и отступать на вашем участке. Для немцев редактором являюсь я, они пристают со всеми этими вопросами ко мне. А отстаивать точки зрения, с которыми я и сам не всегда могу согласиться, мне нежелательно и трудно.

Наш договор о главном редакторе, не знающем, где находится помещение редакции, оказался все-таки несовершенным.

Мне кажется, что у него уже есть какое-то решение, но он почему-то не говорит мне его сегодня. Простившись, я выхожу в уверенности, что «Воля Народа» перейдет скоро в другие руки. Может быть, более ловкие, что будет к лучшему, может быть, — в более покладистые, что будет значительно хуже.

Это и произошло в конце января в этой же самой комнате и за этим же столом. Редактировать газету будет один из офицеров его штаба, Н. В. Ковальчук, в прошлом литературный консультант в киевском отделении советской кинопромышленности.

Позднее, в первые дни после окончания войны, он с группой сотрудников был выкраден большевиками из американской зоны Германии и расстрелян вместе с ними в городе Дессау. Предателем оказался один из членов нового состава редакции, лейтенант В. М. Харчев. По слухам, он был расстрелян вместе с преданными им людьми.

*

Направляясь в редакцию после полученной отставки, я, не поднимаясь наверх, иду в помещение ручного набора. На цинковом столе лежат гранки последнего вышедшего номера. В стороне отставлено то, что идет в каждый номер без перемен, — клише заголовка, подписи, адрес редакции и типографии. Я вынимаю буквы моей фамилии и разбрасываю их по клеточкам наборного ящика. Еще один этап в моей личной судьбе остается позади...

Собранные в моей комнате члены редакции и тронули и обеспокоили меня своим единогласным решением. Они решили уходить вместе со мной.

Тронули тем, что наши точки зрения на сложившееся положение ни в чем ни на иоту не разошлись. И обеспокоили тем, что, выходя отсюда на улицу, они, как члены организации, лишались всякой видимости защиты от немцев, каковой была для них работа в редакции главного органа Движения, официально признанного союзным. Выход всех вместе мог быть понят, как демонстрация и толковаться очень

широко, а аресты членов организации время от времени еще продолжались.

Мое положение было лучше. Уходя с поста редактора, я оставался одним из 49-ти, подписавших Манифест. Это могло еще иметь свое действие.

Было решено, что все члены редакции завтра покинут Берлин и разъедутся с разными поездами в разных направлениях, что и было ими сделано.

Простившись с друзьями, я позвонил о происшедшем Жиленкову и отправился в Дабендорф, куда давно собирался поехать по делам организации. Задержавшись дольше, чем предполагал, остался там ночевать. Двойное чувство не покидает меня все время. Больше не нужно мелочной утомительной и раздражающей борьбы с издательством, цензорами, не нужно болеть душой за каждый вышедший номер, — за то, что он не совершенен, что он совсем не такой, каким нам хотелось его сделать. Но вместе со всем этим «не нужно» остается и чувство большой пустоты. То, чего ждали годами, к чему стремились, за что приносили большие жертвы, теряли близких и родных людей, оказалось недостигнутым. Все участники Движения поочереди, по мере того, как линия нашего отхода будет докатываться до них, будут испытывать это же чувство глубокого разочарования...

Утром я направляюсь в город. По дороге никак не могу избавиться от чувства, что я где-то что-то забыл, не то что-то нужно было сделать, не то кому-то что-то сказать. Может быть, это было в Дабендорфе, а может быть — вчера в редакции.

На Потсдамер-плац пересаживаюсь в метро и еду по направлению к дому. Но что же это было, чего я не могу вспомнить? Стараюсь восстановить в памяти шаг за шагом вчерашний и сегодняшний день. Не могу вспомнить и в то же время чувствую, как от того, что я не могу вспомнить, растет какая-то тревога.

Вспомнил на Ноллендорф-плац. Выскочил из поезда и, подождав пока он, мигая красными фонарями, скрылся в туннель, захожу в телефонную будку. В полутьме — света очень мало, последствия недавнего налета, — с трудом различая цифры, набираю домашний номер.

Этот же номер повторяет знакомый женский голос в приложенной к уху трубке. Я спрашиваю:

— Нина?

— Да, я.

— Здравствуй, Ниночка, узнаешь?

— Узнаю, здравствуй.

— Скажи, Ниночка, мне не было сегодня почты?

Легкое, еле уловимое замешательство с той стороны и потом, оживленно вибрирующим голосом, ответ:

— Нет, не было ничего. Ничего не было...

Я вешаю трубку, выхожу из будки и, подождав встречного поезда, еду с ним до конечной станции за городом.

Происшедший разговор — наша давнишняя как-то в шутку договоренная система сигналов.

Когда начались аресты друзей, я иногда не ночевал дома. Как-то после ужина, сидя всей семьей за столом, мы договорились с Ниной, что если я утром, после того, как ночевал не дома, спрошу по телефону, есть ли для меня почта, то в том случае, если приходили люди из Гестапо, она ответит, что мне есть письмо.

Как сейчас помню Вадима, ее мужа, и моего большого давнишнего друга, тоже члена организации чуть ли не с первых дней ее зарождения. Он смотрит на нас поверх очков, наклонив голову, и убежденно говорит:

— Вот и дурные, вот и посадят вас обоих, да и меня с вами вместе.

— Почему? — спрашиваем мы в один голос.

— Почему, почему, — шутливо передразнивает он. — А если в это время рядом с тобой будет стоять этот самый гестапист и скажет — а ну-ка, дайте мне письмо, о котором вы говорите, — вот и сели! Конспира-а-а-торы... — тянет он презрительно.

Систему сигналов перестраиваем наново. Нина, если были гестаписты, скажет, что мне письма нет, тогда и показывать ничего не нужно. Если же не приходили — то письмо есть. Новая система имела свои недостатки. Иногда приходилось долго по телефону разбирать получающуюся путаницу. Гестаписты не приходили и письмо есть. Написал кто-нибудь из друзей или знакомых. Тогда Нина прибавляет: «На самом деле есть письмо» или «настоящее письмо есть, без всяких фокусов».

Потом, уже после войны, когда мы встретились, она рассказывала, что сцена была почти такой, как предсказал в свое время Вадим. Они пришли, как их всегда ожидали, около шести утра. Были страшно поражены и раздосадованы, что меня дома не оказалось. Звонили куда-то по телефону, по-видимому, спрашивали, что делать. После этого долго копырялись в вещах, сложили в чемодан все бумаги, наброски статей и переписку. Потом один из них ушел, а другой сказал, что останется до вечера. Аккуратно выходил на каждый звонок в переднюю и к каждому звонку телефона. «Он стоял в дверях твоей комнаты, когда ты позвонил» — рассказывала Нина. «Я немножко растерялась и забыла, что нужно говорить. А потом вспомнила и обрадовалась. Он что-

то показывал пальцами — в это время ты положил трубку», — закончила она рассказ, как и подобает примерной и любящей жене, — «вот, видишь, какой умный мой Вадим.» Гость до вечера не досидел. Около трех, взяв чемодан, ушел и больше не возвращался.

Был ли это визит в общем плане ведущихся тогда арестов членов организации или следствием моего ухода с поста редактора — я так и не узнал. Может быть, была комбинация обоих вариантов вместе. Арест был намечен раньше, а уход из редакции только делал его менее заметным и исключал возможность комментариев о начинающихся преследованиях ответственных работников Движения. Но и в одном и в другом случае роль Амфлета в этом деле переоценить было бы трудно.

Вечером того же дня с командировочными документами на имя пропагандиста Гражданского Управления Комитета я уехал из Берлина.

Глава IV

Первая дивизия РОА

Михаил Алексеевич Меандров встретил меня как приглашенного гостя. Когда после визита в тюрьму, он уезжал из Берлина, я провожал его на вокзал. Через окно вагона он протянул мне руку и сказал:

— Если заметите, что грозит опасность — приезжайте к нам. У нас другой воздух.

Тогда мне не верилось, что так скоро придется воспользоваться его приглашением и довольно долго потом пользоваться его гостеприимством И вот — я у него.

Он встает из-за стола, протягивает руки для приветствия и, смеясь, спрашивает:

— Что — гонятся?

— Гонятся ли не знаю, Михаил Алексеевич, а поймать хотели.

— Ну, здесь не поймают. Здесь русская земля, здесь хозяева у нас в гостях, а не мы у них.

Земля была, действительно, здесь русская. Первая дивизия была полностью и по тем временам неплохо вооружена, начинала формироваться вторая. Намечались возможности для формирования третьей. Была в боевой готовности особая бригада, серьезную силу представляла офицерская школа. Вместе с ростом наших вооруженных сил росла и вежливость нашего незадачливого союзника.

Не знаю, чем мотивировался выбор Мюнзингена, как места формирования Освободительной армии, но для нас выбор оказался очень благоприятным. Мюнзинген на юго-западе Германии, здесь не предполагалось больших операций, город лежал вблизи швейцарской границы и поэтому не было большого сосредоточения немецких войск. Бои

могли быть на севере, начиная от того места, где немецко-швейцарская граница переходила в немецко-французскую. Совсем на юге немецкие части были в Италии, но их отделяли от этих мест Альпы. Таким образом, на довольно большой площади немецкой территории была единственная воинская сила — наша первая дивизия. Немцы находились в месте формирования лишь постольку, поскольку необходимо было поддерживать связь и доставлять из немецких складов оружие, боеприпасы, продовольствие и обмундирование. Меандров был здесь начальником гарнизона и одновременно начальником офицерской школы. Он был очень занят и по целым дням не заглядывал домой.

Я, как правило, целыми днями предоставлен сам себе и пользуюсь неограниченной свободой. Здесь много знакомых, друзей. Члены организации есть и в строевых подразделениях и в штабах, и для того, чтобы встретиться с ними и хоть коротко поговорить, нужно было бы больше времени, чем было у меня.

Иногда я брожу по окрестностям с кем-нибудь из друзей. Издали наблюдаем кипящую в лагере жизнь. Все вечера, иногда до глубокой ночи, занимаюсь подготовкой проекта листовок для того времени, когда мы войдем в соприкосновение с частями Красной Армии.

Вопрос взаимоотношений с западными союзниками к тому времени встал перед нами во всю свою величину.

В продолжение всей войны отношение многомиллионной русской массы к западным союзникам напоминало односторонний и крайне несчастливый роман, с горячей влюбленностью с одной стороны и с враждебным безразличием с другой.

Разочарование, что поход Германии на восток оказался не крестовым походом христианского запада против безбожного коммунизма, было большим и горьким. С течением времени, убедившись, что попали из одной разновидности рабства в другую, эти разочарования как-то переболели. Тогда все упования и надежды перенесли дальше на запад. Высадку союзных войск в Европе отпраздновали как начало освобождения, но освобождения не только от рабства гитлеровского, но и от его непревзойденного прообраза — рабства сталинского. Это было вне логики и противоречило очевидности. Но ведь не редко «чаемое, как бы существующее» только и предохраняет людей от полного отчаяния.

С большой надеждой, верой и сочувствием следили за успехом союзных армий на западе. И можно с уверенностью сказать, что если бы западные союзники хоть как-нибудь дали понять, что не отказывают в праве на жизнь

и русской оппозиции, 12 миллионов русских антибольшевиков могли бы сократить сопротивление Германии на несколько месяцев. Но западные союзники дали понять совсем другое: в листовках на русском языке, разбросанных над расположением батальонов, находившихся на западе, они обещали только одно — «переходите к нам, мы вас отправим на родину», — в переводе на реальный язык это значило — на смерть. Но надежды не умерли и после этого, — надежда, наверное, самое живучее из человеческих чувств. Пункт Ялтинского договора о выдаче советских граждан советскому правительству здесь не был известен и формирующееся Движение Освобождения с помощью западного мира считалось, как с аксиомой.

Для нас было очевидным, что коммунизм и демократический мир не смогут жить вместе. Мы были убеждены, что западный мир, если и не поддержит нас в борьбе, то уж останется, во всяком случае, нейтральным. Большинство было убеждено, что поддержит. Готовясь к штурму коммунистической тирании, мы чувствовали себя застрельщиками борьбы за общечеловеческую правду. Борьбу западного мира против гитлеровской тирании понимали слишком широко, как борьбу против всякой тирании и всех тиранов. Свое, не до конца активное, не массовое участие в разрушении одной тюрьмы народов, одной системы застенков хотели искупить, взяв на плечи всю тяжесть разрушения другой тюрьмы и другой системы застенков. На этом втором этапе, считали его автоматическим продолжением первого, рассчитывали только на понимание, сочувствие, помощь и не больше, хотя и сознавали, что борьба наша необходима, как для спасения нашего народа, так и для спасения других, если не всех народов мира.

Только после конца войны, когда бежавших навстречу западным армиям русских рабочих (воинские части Движения погибли почти поголовно) очень доброжелательно настроенные офицеры союзных армий и чиновники УНРРА стали уговаривать возвращаться на родину и, если они, рабочие, почему-либо недовольны политикой советского правительства, советовали провалить на ближайших выборах Сталина, мы увидели, что расчеты на помощь были напрасны. Но это было позднее. А тогда, в период организации наших сил, с помощью западных союзников считались так, как будто бы имели ее уже в своих руках. И тем больше в нее верили, чем ближе подходили решающие дни. Для того, чтобы в это верить, не было никаких данных. Вероятно, поэтому люди искали их, создавали в

воображении и потом, создав, верили в них, как в реальность.

Еще в бытность в Берлине я слышал много рассказов, которые, если им поверить целиком, с бесспорностью доказывали, что западные союзники о нас знают, что они нам сочувствуют и что в решительный момент окажут нам поддержку.

В месте формирования дивизий занятия подразделений происходили на большой площади, прекрасно видимой с пролетающих каждый день по несколько раз американских и английских самолетов. За все время, пока дивизия была в Мюнзингене и позднее, во время похода, благодаря какой-то случайности, не было в место ее расположения брошено ни одной бомбы, не было произведено ни одного выстрела из бортового оружия. И это в то время, когда союзные самолеты контролировали все железнодорожные пути и большие дороги в такой степени, что обстреливали не только воинские части, а отдельные поезда и даже автомобили. Из этого родилась легенда — западные союзники не считают нас врагами. Фантазеры шли дальше. С одного самолета, низко пролетавшего над расположением дивизии, был сброшен пакет со... значками РОА. В это верить было трудно, но это было показателем настроений, царящих среди нас.

Как-то еще в Берлине в редакцию «Зари» зашел офицер РОА, вернувшийся из поездки во Францию. Западные союзники уже высадились в Нормандии и шли по направлению к Парижу. Нас всех интересовало, конечно,есть ли у них какое-нибудь отношение к нам и насколько прочно они связаны со своим восточным союзником. Офицер рассказывает случай, который он наблюдал на парижском вокзале:

Стоит десятка два солдат со значками РОА на рукавах и ждут, когда можно будет выйти на перрон к поезду. Громко говорят между собой по-русски. В это время немец-конвоир проводит мимо английского офицера, по-видимому, недавно взятого в плен, останавливается рядом, так как на перрон еще не пускают. Офицер англичанин прислушивается к разговору солдат и потом на чистом русском языке спрашивает: «Вы что здесь делаете? Кто вы такие?» Солдаты отвечают, что они русские из вспомогательного какого-то батальона. Офицер говорит: «Почему ж вы в немецкой форме?» Те отвечают: «Мы против большевизма боремся...» Офицер посмотрел на них с сожалением и с большой горечью произнес: «А вы думаете я, что же за

большевизм борюсь, что ли.. Эх, вы, темнота!» — и прошел мимо.

Правдивость рассказа не вызвала ни у кого сомнений. Мнения расходились только в том, — кто он был, англичанин, хорошо говорящий по-русски, или старый русский эмигрант, поступивший в английскую армию.

Что союзники не борются за большевизм, было ясно каждому. Что союз их со Сталиным недолговечен, не сомневался никто.

Правда, задавались вопросы, — почему же они выдают советским властям нашего брата, если он попадет к ним? Объяснение было простое: «Что ж они из-за нас будут со Сталиным ссориться? — не такие уж важные персоны.»

Через несколько дней после моего приезда в Мюнзинген, в первой половине февраля, зенитной немецкой батареей был сбит американский самолет. Летчик выпрыгнул с парашютом и упал недалеко от расположения первой дивизии. Побежавшие к нему солдаты привели его к себе. Несмотря на все домогания немцев, не выдавали несколько дней. Он был гостем и первым, правда невольным и неаккредитованным, посланником с той стороны. Спустя несколько дней, когда конфликт с немцами грозил перерасти все границы тогда возможного, его пришлось отдать. Но сделали это, когда получили гарантии, что с ним ничего не произойдет.

Бродя по окрестностям Мюнзингена, я вижу, на этот раз и своими глазами, подтверждение многих слышанных в Берлине рассказов.

Летят большими соединениями тяжелые бомбардировщики, оставляя за собой серебристые, быстро тающие ленты отработанного газа, ныряют, падая до самой земли, истребители до того низко, что можно различить отдельные части машин. На плацу в это время много сотен одетых по-военному людей точными прямоугольниками маршируют по всем направлениям. И, действительно, ни одного выстрела, ни одной бомбы. Мне начинает казаться что добрая половина рассказов, таких бодрящих и подающих большие надежды, на самом деле имеют под собой основание.

16-го февраля в дивизию приехал Власов. Был большой парад. Он произнес очень хорошую речь. После парада над расположением наших частей взвились большие трехцветные полотнища русских национальных флагов. В тот же день были уничтожены последние немецкие орлы на мундирах солдат и офицеров, — армия перестала быть немецкой и по форме.

Власов скоро уехал, сказав, что все члены и кандидаты Комитета на днях получат приглашение на очередное совещание. Оно было назначено на 27-ое февраля в Карлсбаде, где к тому времени осели учреждения Комитета, выехавшие из Берлина в первой половине февраля.

*

Отель «Ричмонд», самый большой отель в Карлсбаде, стоящий далеко на отлете за городом, оккупирован органами Комитета. В нем останавливается Власов, когда он бывает здесь, в нем со своими отделами разместились Малышкин, Жиленков и другие. В самом городе, во многих пансионах, маленьких отелях и частных домах разместились сотрудники. Вся эта масса людей нахлынула неожиданно, была принята, как непрошенные гости и только благодаря растерянности местных немецких властей ей удалось занять большие площади и закрепить их на какое-то время за собой.

Недалеко от Карлсбада, в Мариенбаде, картина та же, так же с налета, так же, вопреки сопротивлению местных властей, занято полгорода. Начальником русского гарнизона здесь является генерал Благовещенский. В другую сторону, в Иоахимстале — то же самое. Куда-то поблизости перебирается с полным составом сотрудников и последним составом курсантов Дабендорфская школа. Прямо на запад от Карлсбада, в Егере, расположены части авиационной бригады Русской Освободительной Армии, которой командует генерал Мальцев.

Третье и последнее заседание Комитета происходит в в «Ричмонде».

За небольшим исключением все члены и кандидаты в сборе. Сейчас число их увеличилось вдвое, путем кооптации на предыдущих собраниях. Среди новых членов только несколько человек русских, подавляющее большинство — представители отдельных народов России.

Собрание началось большим докладом Власова.

В кратких словах осветив положение на фронтах, — обстановка для Германии к тому времени сложилась в совсем трагическую и безысходную, — он подробно остановился на результатах первого соприкосновения частей Русской Освободительной Армии с частями Красной Армии.

Речь шла о нескольких батальонах, сформированных еще когда-то немцами и после опубликования Манифеста потребовавших их присоединения к частям Освободитель-

ного Движения. Немцами они были задержаны долгое время после этого в районе Штетина и потом, после длительных переговоров, не давших никаких результатов, направлены на передовую линию фронта около Берлина. Это было и политически и стратегически самое невыгодное место для того, чтобы соприкоснуться с Красной Армией. Политически это было убийством — за их спиной, в пятидесяти километрах был Берлин. Выступая против советских частей, они должны были выступать, как защитники Берлина. Стратегически это было самоубийством, потому что как раз на этом участке были сосредоточены главные силы Красной Армии, готовившейся к прыжку на столицу Германии. Красная Армия была, как никогда, вооружена артиллерией и несколько наших батальонов могли быть уничтожены с той стороны, даже не успев соприкоснуться с передовыми советскими частями. Об их пребывании там ни красные артиллеристы, ни пехота не могли просто и знать.

Со стороны немцев это было открытой провокацией, — дискредитировать части Движения, как прямых пособников Гитлера.

Берлин, с тех пор, как Красная Армия перешла в наступление, был поставлен, как конечная цель. Желание армии и широких народных масс в этом случае вполне совпадали с замыслами Политбюро. Армия стремилась в Берлин, чтобы кончить войну и чтобы воздать возмездие за совершенное немцами над русским народом преступление. Политбюро хотело расширить число советских республик за счет восточных и южных стран Европы. И вот немецкое командование, как препятствие на их пути к Берлину, поставило части Русского Освободительного Движения. Это был удар в спину и Освободительной Армии и Движению в целом. Но произошло чудо: каждую ночь до 50 человек, солдат и офицеров Красной Армии, переходили на сторону батальонов Освободительных войск.

Власов говорит:

«Офицеры и солдаты Красной Армии на тех участках фронта, где были наши части, встречали офицеров и солдат РОА, как родных братьев, и объединялись с с ними для борьбы против большевизма, за свободу своей родины... Вчерашние офицеры и солдаты Красной Армии, дошедшие до Одера, сегодня без колебания перейдя в ряды Русской Освободительной Армии, проявляют неповторимые образцы сознательного геройства. И это в тот момент, когда Сталин считает вопрос

о победе для себя решенным... Это только пробные камни... Выступление на фронт Освободительных Войск Народов России станет светлым днем для наших соотечественников и началом их освобождения от террористического режима Сталина, угрожающего сейчас всему миру...»

Я цитирую речь Власова по номеру газеты «Воля Народа» № 17 (30) от 8 марта 1945 года.

Рассказанное Власовым для нас только официальное подтверждение того, что мы уже знаем: среди членов Комитета есть приехавшие на заседание из Берлина, есть несколько офицеров, участников встречи с Красной Армией под Кюстрином на Одере.

После доклада председателя Комитета выступали представители воинских частей РОА, казачества, национальных соединений и представители украинского, белорусского и туркменского Национальных Советов Комитета.

Много отрадного рассказали казаки, приехавшие с фронта. Рассказали, между прочим, и подробности перелета на их сторону советских бомбардировщиков, о котором мы все уже в общих чертах слышали.

Казачий корпус с тяжелыми боями отходил по Югославии к границам Австрии. Он все время был в непосредственном соприкосновении с передовыми советскими частями. Однажды, это было 25-го сентября 1944 года, с советского самолета была сброшена записка:

«Братья казаки! Мы вместе с вами хотим бороться против Сталина. Приготовьте посадочную площадку. Прилетим вечером!»

Площадка была приготовлена. Участники приема рассказывают, что из опасения какой-либо провокации, от предполагаемого места посадки были отведены все казачьи части. На большом поле выбрали ровное место и, когда стало смеркаться, обозначили его со всех сторон кострами.

В сумерках услышали приближающийся с юго-востока гул моторов. Летели на большой высоте и трудно было разобрать сколько машин. Над обозначенной кострами площадкой сделали два круга и стали снижаться.

Офицеры штаба, сидевшие по близости в наспех вырытом окопчике, приготовились к самому худшему — сейчас начнут бомбить. Не трудно представить их радость, когда один за другим сели три больших самолета. Все были с полным экипажем. Через четверть часа прилетели и приземлились еще три...

25-го сентября был днем большой радости у казаков. В течение ночи небольшими группами и по одиночке перешло 803 человека из стоявшей перед ними гвардейской советской дивизии.

Самым ярким на этом заседании Комитета было выступление представителя украинской группы первого, после занятия немцами Киева, городского головы. Нужно сказать, что перед заседанием были получены новые сведения о все растущем сопротивлении немецких органов по консолидации наших сил и о трагическом происшествии, об убийстве одного из офицеров охраны Власова немецким лейтенантом. Происшествие имело место в поезде, во время обычного в то время спора из-за мест в вагоне. Немец выхватил револьвер, выстрелил и бежал, при содействии немецких солдат, от пытавшихся его задержать спутников русского офицера. Только чудом инцидент не вырос в крупное столкновение. На вокзале было несколько десятков солдат РОА, а в поезде солдаты немцы. Бой казался неминуемым. Только благодаря исключительной выдержке, проявленной русскими, удалось избежать его. Убитого офицера знали многие. Многие его любили. Он был в постоянной охране Власова. Этот факт и подробности немецкой провокации под Берлином, и препятствия, которые ставились немцами во всех делах Комитету, накалили и без того горячую атмосферу.

Городской голова, обращаясь к немецким представителям, присутствующим на заседании и занимавшим всю левую сторону первого ряда стульев, сказал:

— Господа немцы! Бьет двенадцатый час. Сейчас идет разговор не о завоеваниях, — у вас их больше нет,—а о спасении для нас нашего народа от сталинского террористического режима, для вас о спасении вашего народа и об отведении угрозы, нависшей над всем миром. Мы встречали вас, как освободителей. Вы нас обманули. Мы три года ждали, что голос благоразумия раздастся с немецкой стороны и мы до сих пор этого голоса не услышали. Неужели и сейчас, когда конец будет, может быть, в ближайшие недели, вы не опомнитесь и не осознаете всю глубину совершенных вами ошибок. Неужели вы и сейчас не освободите наши руки для того, чтобы мы могли бороться за нашу и вашу свободу. Бьет двенадцатый час. Опомнитесь, а то будет поздно.

За все двенадцатилетнее существование нацистской Германии таких слов в лицо власти, вероятно, не было произнесено под немецким небом.

Немцы один за другим, не дожидаясь конца его выступления, покинули зал заседания.

Задержавшись после этого день в Карлсбаде, мы вернулись в Мюнзинген.

*

2-го марта, как гром с ясного неба, пришло распоряжение немецкого командования — первой дивизии РОА сняться моментально с места стоянки и следовать на фронт между Штетином и Берлином, где она и должна занять указанный там участок передовых линий.

Это было повторением все той же попытки использовать русские силы в интересах Германии. Реакция на эту попытку была такой же, как и раньше.

Генерал Буйниченко, командир дивизии, после совещания со старшими офицерами, заявил приехавшим представителям командования немецкой армии, что дивизия сформирована, как часть Русской Освободительной Армии, что она выступит на фронт только в составе этой армии и только по распоряжению главнокомандующего Освободительными Войсками генерала Власова, и действовать будет только там, где ей укажет он. Распоряжение же немецкого командования он не может рассматривать иначе, как попытку очередного обмана.

Буйниченко почти дословно повторил сказанное когда-то под Смоленском Жиленковым и Боярским.

Приехавшие были в равной степени как возмущены, так и удивлены ответом. На их слова, что это может быть квалифицировано, как бунт, за который по законам военного времени зачинщики, то есть командир дивизии и старшие офицеры, подлежат всем строгостям военного закона, Буйниченко ответил, что в данном случае это не существенно, так как дивизия хорошо вооружена, у немцев едва ли найдутся силы, чтобы ей противостоять, а кроме того, в шестидесяти километрах отсюда швейцарская граница, куда он и намерен проложить дорогу, если немецкое командование решиться ликвидировать конфликт вооруженными силами.

Делегаты отбыли ни с чем.

День второго марта можно считать началом того состояния, которое Троцким когда-то было определено как «не мир и не война», между частями Освободительного Движения и германской армией.

5-го марта было получено распоряжение Власова дивизии сняться и итти в район Коттбуса. Это южнее Берлина, немного севернее чешской границы.

Уходить из Мюнзингена нужно было все равно. Приближался западный фронт. На севере союзники были уже гораздо восточнее. От западного фронта нужно было уходить, по меньшей мере, на расстояние одного дневного перехода. Солдатам дивизии с самого начала формирования внушалось, что на запад не может и не должно быть произведено ни одного выстрела даже случайно. Вскоре после приезда Власова в дивизию это было подкреплено приказом. Все это были излишние меры предосторожности, потому что, ясным каждому было и без того. Таким образом, если бы воинские части дивизии были застигнуты частями западных союзников, нужно было бы просто складывать оружие, но это было бы отказом от основной цели.

Выступление было назначено на 8-ое число.

Немецкие офицеры связи сообщили, что 8-го утром начнут подаваться эшелоны для погрузки.

Буйниченко разгадал в этом коварный замысел противника. Дивизия, в составе которой было в то время 14 тысяч человек, с тяжелым оружием, артиллерией и большими обозами, главным образом на лошадиной тяге, заняла бы от двадцати до тридцати поездов. Разбросанная на несколько сот километров пути, разъединенная, она могла бы стать легкой добычей немцев. Тем более, что грузиться было предложено сначала штабам, а потом лишенным руководства строевым частям.

Буйниченко отклонил это предложение и заявил, что дивизия пойдет походным порядком.

8-го утром она несколькими, близ лежащими параллельными дорогами, вытянувшись на многие километры, но все время поддерживая связь между отдельными эшелонами, выступила в поход.

Направление на Коттбус было отклонением от намеченного руководством Движения плана действий. Основная масса вооруженных сил Движения находилась южнее, в Хорватии, Словении, Австрии. Там, в районе Граца был казачий корпус в составе 72-х тысяч человек, западнее его группа Домонова в 20 тысяч человек, там же были отдельные формирования Семенова — 12 тысяч, Туркула и т. д. Казачьи части составляли в общей сложности 150 тысяч. Но представители казаков на последнем заседании Комитета выражали уверенность, что к моменту выступления число вооруженных казаков с входящими в их число неказачьими формированиями может быть поднято и до 300 тысяч.

Чем было вызвано распоряжение Власова итти именно в этом направлении, судить трудно. Было ли это уступ-

кой немцам за возможность соединить остальные части на юге, было ли это продиктовано боязнью, чтобы преждевременно окончательным разрывом не сорвать всю акцию. Разрыв с немцами мог вызвать тогда вооруженное столкновение. Думал ли он уже тогда о так называемом пражском варианте, разыгравшемся два месяца спустя, трудно сказать. Но направление на Коттбус было уклонением от намеченного плана и одной из причин общей неудачи выступления.

Севернее намеченного пути первой дивизии были только разбросанные по всей Германии отдельные батальоны, правда, с внушительной цифрой в 800 тысяч человек, но не имевшие друг с другом связи и не объединенные общим командованием.

Вторая дивизия, формировавшаяся тоже около Мюнзингена, насчитывала в своих рядах 25 тысяч человек. Эта дивизия, запасная бригада, офицерская школа вышли вскоре после выхода первой дивизии в направлении главного скопления частей Движения. Эта группа получила маршрут с конечной целью Линц в Австрии.

На второй день пути первой дивизии органы разведки армии обнаружили оригинальное явление, — к месту прохождения эшелонов стали стягиваться немецкие части и с одной и с другой стороны. Дивизия шла, как бы по коридору, правда, довольно широкому, не соприкасаясь с немецкими частями. Но это было показателем, что отношение «не мир и не война» меняется в сторону войны.

В маленьких масштабах война уже началась, — были получены сведения, что немцы разоружают русские батальоны, стремившиеся на соединение с остальными силами. Это часто сопровождалось вооруженными столкновениями и маленькими боями.

В еще меньших масштабах война велась и по пути первой дивизии.

Офицеры дивизии по всей линии своего пути контролировали лагери русских рабочих. После объявления Манифеста в некоторых из них положение улучшилось, в других осталось все по-старому, а в третьих отмечено было даже ухудшение. Молодые офицеры при этих осмотрах не всегда оставались в рамках классической дипломатии и закон о неприкосновенности личности нарушался ими не раз. Все это с немецкой стороны вызывало соответствующую реакцию.

Но бывали случаи, действительно, возмутительные. Один из идущих эшелонов заметил такую картину: за едущим на велосипеде немецким полицейским на веревке,

привязанной за шею, бежала женщина. Оказалась она русской. Ее избил крестьянин, у которого она работала, и она убежала от него. Полицейский вел ее на место старой работы. Трудно судить молодежь, которая реагировала на это самым недвусмысленным образом. Освобожденную женщину взяли с собой.

Миллионы русских людей с надеждой следили за каждым шагом дивизии. Со всех концов Германии к предполагаемому пути ее следования спешили одиночками и небольшими группами добровольцы. Это были рабочие и военнопленные, каким-то чудом бежавшие из своих лагерей. Командование не имело возможности принимать пока никого. Но даже и в этих условиях состав дивизии с 14-ти тысяч человек, вышедших из Мюнзингена, скоро вырос до 19-ти, а потом до 22-х тысяч.

Солдаты шли бодро. Шли по чуждому, враждебному миру, с трудом заглушая ненависть к нему. Где-то по сторонам дороги, дальше чем могли контролировать летучие отряды дивизии, в лагерях военнопленных и рабочих командах томились братья. У каждого из шедших были за спиной иногда месяцы, иногда годы лишений, оскорблений и издевательств. Крепче сжимали зубы, старались об этом не думать. То, к чему шли вперед, было слишком светлым, слишком ослепительным, чтобы оглядываться назад. Кругом агонизировала Германия. Начинал разваливаться тыл, трещал фронт. Это радовало. Наконец-то, разжималась рука, душившая три года русскую свободу.

Через день после того, как первая дивизия двинулась в поход, я выехал в Прагу. После заседания Комитета Жиленков предложил мне поехать туда и в самом городе, или где-нибудь поблизости, найти возможности напечатать очень большое количество листовок, маленьких брошюр и, может быть, небольшую газету. Это было в плане подготовки к решающему дню. Туда же в Прагу должны были выехать люди для организации большой радиостанции, предназначенной для передач наших возваний к Красной Армии.

В Праге эти возможности найти мне удалось. Правда, с большими трудностями и без твердой уверенности, что в нужный момент не возникнет каких-нибудь непредвиденных препятствий. Чехи, очень законопослушные во время всех шести лет оккупации, проявляли большую принципиальность, когда разговор заходил о том, что печататься будет антикоммунистическая литература. Как правило, отказ мотивировался тем, что после окончания войны это может хозяевам типографии доставить неприятность. Но

в двух местах согласие было получено и я поспешил с этими новостями к Карлсбад. Там узнал, что настояния Власова, наконец, увенчались успехом: часть друзей, сидевших в берлинских тюрьмах, была освобождена. Отправленные в концлагери сидели там до прихода передовых частей западных союзников. Многие из арестованных погибли еще до крушения Германии, несколько человек умерло от истощения уже после войны...

*

По прибытии на линию фронта командиром первой дивизии был получен новый приказ — войти в подчинение командующего 9-ой немецкой армией, в составе которой и должна будет исполнять боевые задания подчиненная ему часть.

Буйниченко, лишенный возможности связаться с Власовым, о котором приходили самые разноречивые слухи, не то он арестован, не то уже расстрелян немцами, категорически отклонил это предложение, тем более, что в первые же дни командование 9-ой армией постаралось втравить дивизию в бой с советскими частями. Бой этот, по специфическим условиям местности, мог кончится только физическим уничтожением большей половины состава дивизии, не давая тех возможностей, в надежде на которые формировались части Движения. Предложено было ликвидировать предмостное укрепление советских частей, созданное ими на западном берегу Одера. Оборона с советской стороны ограничивалась только артиллерийским огнем и минометами. Даже в перспективе не было надежды на то, чтобы войти в соприкосновение с живыми людьми.

Лейпциг в это время был уже занят американской армией. На севере расстояние между западным и восточным фронтами становилось все уже. Союзники со дня на день должны были встретиться.

Генерал Буйниченко, отказавшись войти в подчинение немецкого командования, двинулся с дивизией прямо на юг. Несколько дней, то сталкиваясь с резервными и подтянутыми для этого специально немецкими частями, то расходясь с ними, дивизия шла по направлению к Чехии. 15-го апреля опубликовали обращение на немецком языке, в котором говорилось, что Гитлер своей преступной политикой подготовил победу большевизму, что части Русской Освободительной Армии берут на себя задачу самостоятельной борьбы русскими силами против Сталина. Дальше указывалось, что если по пути следования дивизии со стороны немцев

будет оказано сопротивление, то оно будет подавлено силой оружия.

После того, как перешли Эльбу, дивизия была окружена частями СС. В результате недолгих переговоров, во время которых было еще раз подтверждено решение оружием прокладывать себе дорогу на юг, немцы в бой не вступили и дали пройти дальше. 28-го апреля пересекли чешскую границу.

Небольшие инциденты, иногда кончавшиеся легкой перестрелкой с встречающимися отрядами немцев, быстро разнесли по Чехии слух, что власовская дивизия подняла восстание. Сразу же после перехода чешской границы в Штаб дивизии явились представители чешских партизан, которые были обильно снабжены дивизией оружием и боеприпасами, отнятыми у разоруженных по дороге небольших гарнизонов немецкой армии.

2-го мая, когда Штаб дивизии стоял в деревне Шухомасты, явилась делегация от чешских организаций, готовивших восстание в Праге.

Чехи были верны себе до конца. Восстание они хотели поднять с возможным комфортом — еще никак не обнаружив своего отношения к немцам ни в Праге, ни западнее ее, они приехали уже с просьбой о помощи. Они были приняты Буйниченко и Власовым, прилетевшим к тому времени в дивизию.

Чтобы обеспечить себе путь на юг для соединения с остальными частями Движения, Буйниченко сформировал 156 групп по 15-20 человек автоматчиков, которые должны были парализовать немцев в окружности, приблизительно, на 50 километров. Эти группы, хорошо вооруженные и обеспеченные средствами передвижения, парализовали все немецкие линии связи в большой части Чехии. Соединяясь в в более крупные отряды, они разоружали мелкие немецкие гарнизоны, как правило, почти не оказывавшие сопротивления, а отнятое оружие и боеприпасы передавали тут же чешским партизанам.

4-го мая чехи подняли восстание в Праге, которое быстро стало подавляться подошедшими с востока частями СС. К Буйниченко опять явилась делегация от Штаба восстания с просьбой о помощи. Радио-Прага, ненадолго захваченная повстанцами, взывала то к Красной Армии, которая была еще довольно далеко, то к американской, которая дальше намеченной заранее демаркационной линии не шла, но больше всего к дивизии Власова. — «Власовцы! Вы же русские люди, помогите нам, спасите нас!» Это висело часами в эфире.

После небольшого совещания в Штабе, дивизия круто повернула на Прагу, куда и подошла вечером 6-го мая. Рано утром 7-го вступила в бой.

Стремительной атакой был захвачен аэродром, с которого то и дело поднимались бомбардировщики, чтобы бомбить еще не сломленные точки сопротивления в самом города. Атака города велась с нескольких сторон сразу. Немцы, знавшие о приближении дивизии, приготовились к обороне. В результате непрерывного боя в разных частях города, ломая сопротивление частей СС беспрерывными атаками, дивизия освободила город. В половине пятого вечера над центром города были подняты флаги — русский, андреевский, принятый флагом Освободительного Движения, и национальный чешский. Дивизия потеряла 300 человек убитыми и несколько сот ранеными. На аэродроме ею захвачено 46 немецких самолетов и семь, успевших подняться, сбито в воздухе. Во время боев на улицах города было взято 10 тысяч пленных эсэсовцев и 76 танков.

Поход дивизии к Праге был шествием по цветам. Население сел, беженцы из Праги, партизанские группы, все это ликовало, засыпало солдат подарками и не находило слов, чтобы выразить свою благодарность. Не было в то время чешского дома, в котором не вывешивался бы на самом почетном месте портрет Власова. Этими портретами снабжали органы пропаганды дивизии, а еще больше их было напечатано, на скорую руку, самими чехами.

В ту же ночь, 6-го мая, когда дивизия занимала исходные позиции для боя за освобождение Праги, в ее тылу, в маленьком городке Пибран, был захвачен чешскими партизанами начальник Штаба Освободительной Армии генерал Трухин. Он, в сопровождении двух машин, ехал в Штаб первой дивизии, чтобы восстановить почему-то прерванную связь и увидеться с Власовым.

На следующий день, 7-го мая, в самый разгар боев на пражских улицах, Трухин был выведен из тюрьмы и окольными путями, минуя Прагу, отвезен и передан советским властям. За день перед этим был так же схвачен и на месте повешен чехами полковник Владимир Боярский.

После того, как Прага была очищена от немцев и ей уже больше ничто не угрожало, сформировалось временное чешское правительство. На первое заседание правительство пригласило на совещание кого-нибудь из старших офицеров Штаба дивизии. Поехало три офицера. Правительством, собравшимся в полном составе, был задан приглашенным неожиданный вопрос:

— Зачем ваша дивизия пришла в Прагу?

Офицерами было отвечено, что она пришла по просьбе штаба восстания, по просьбе миллионного населения Праги, которому угрожало уничтожение и, судя по словам делегаций, приезжавших в Штаб дивизии, по просьбе всего чешского народа.

Правительство заявило, что к Праге подходят части Красной Армии и что оно советует власовской дивизии сложить оружие и ждать здесь их прихода.

Офицеры ответили, что оружие складывать они не будут, что с Красной Армией у них особые отношения и что их основная цель — борьба против коммунизма.

— Тогда вам нет места в городе, потому что из 12-ти членов правительства 8 являются коммунистами.

Передовые части советской армии под командованием маршала Конева были, действительно, в одном дневном переходе от Праги.

Оставаться здесь в этом городе, спасенном от разрушения и смерти ценой крови и жертв, в городе, в течение нескольких часов ставшем из благодарного враждебным, было невозможно. Дивизия, сопровождаемая злобными взглядами и выкриками высыпавшего на улицу населения, вечером вышла из Праги, а утром на следующий день в нее вошли первые части Красной Армии.

Участники боя за освобождение чешской столицы рассказывают, что после того, как отгремели выстрелы и были разоружены последние немецкие солдаты, по городу было трудно ходить, так бурно приветствовало население своих освободителей. Офицеров и солдат зазывали в дома, не знали, куда посадить, угощали. Лучшим украшением и мужчин и женщин в этот час был скромный значок с тремя буквами РОА — Русская Освободительная Армия. Прага ликовала. Она подняла восстание, вписала славную страницу в историю движения сопротивления, спасла свою честь и, в общем, с ее стороны очень недорогой ценой.

В тот момент, как разнеслась весть о сформировавшемся временном правительстве, лицо города изменилось, как по мановению магической палочки. Оно вдруг стало злым и враждебным. Для освободителей уже не находилось ни времени, ни внимания. Нужно было торопиться снимать портреты Власова и вывешивать портреты маршала Конева и едущих за ним в обозе Бенеша и Готвальда.

Судя по газетным сообщениям, в Праге, на гранитном пьедестале поставлен «танк освободитель», то есть танк Красной Армии, якобы, освободившей Прагу, который вошел в город первым. Не знаю, внесет ли потом поправку беспристрастная история и скажет ли о том, что этот танк

«освободитель» находился минимум в шестидесяти километрах восточнее в то время, как молодые офицеры-власовцы поднимали национальный чешский флаг над центром освобожденного ими города.

*

Трудно понять, почему дивизия после совещания старших командиров круто изменила свой курс и пошла на Прагу. Мы этого не узнаем никогда, так как из участников совещания не осталось никого в живых. Можно предположить, что неожиданно родился план, вероятно, подсказанный чехами, руководителями восстания, — освободить Прагу, провозгласить независимой Чехословакию и, тем самым, предотвратить оккупацию ее частями Красной Армии. Если это было подсказано чехами, то было подсказано совсем искренно. Они, вероятно, верили в это, так как Штаб восстания, по-видимому, не был коммунистическим. Власов может быть, надеялся собрать все силы Движения на территории Чехословакии и потом уже двинуться на восток. Если это было так, то было наивно и со стороны чехов и со стороны русских.

Может быть, поворот к Праге был просто откликом на все время несущиеся крики о помощи. Прага могла быть, действительно, в последние дни уничтоженной, могла еще успеть повторить судьбу Варшавы, так как многие немецкие, главным образом, эсэсовские части были брошены на подавление восстания. Об этом можно только гадать. Несомненным остается одно, что четыре дня были потеряны в то время, как историческое значение имели не только дни, не только часы, но и минуты.

Выйдя из Праги дивизия устремилась к своей основной цели, на соединение с остальными силами Движения, но в двух дневных переходах от чешской столицы она была стиснута двумя фронтами, по немецкой терминологии западным и восточным.

Рассказы немногих уцелевших в живых говорят о том, что после неудачи в Праге, после того как стало ясно, что с остальными частями Движения дивизия соединиться не успеет и что то, к чему люди готовились и чего ждали четыре года, останется неосуществленным, от нее и, прежде всего, от ее руководителей как-то отлетела душа. Все последующее шло уже помимо, а часто и вопреки их воле.

Была послана делегация к американцам. Она вернулась с предложением сложить оружие, оставаться на месте и ждать дальнейших распоряжений. Оружие было сдано,

кроме разрешенного оставить, — по одной винтовке на каждые десять солдат и личное оружие офицеров. В это время с востока в расположение дивизии врезались советские танки. На требование советского командования отдать людей дивизии в качестве военнопленных американцы ответили отказом.

В 12 часов дня 12-го мая, около деревни Шлюссельбург, командир дивизии объявил, что она больше не существует, и предложил каждому в отдельности решать свою судьбу.

Вместе с танками появились среди солдат дивизии провокаторы и советские пропагандисты, призывающие солдат переходить на советскую сторону. Несколько десятков солдат во главе с двумя или тремя офицерами отозвались на этот призыв. Это были первые и последние, ушедшие туда добровольно. У советского командования нехватило терпения отвести этих людей хотя бы на несколько километров в тыл, — они все до одного были тут же на глазах у остальных расстреляны Особым Отделом НКВД.

В рядах безоружных людей началась паника. Многие небольшими группами пытались просочиться через линию американского фронта. Иногда это удавалось, иногда нет. Большинство бросилось врассыпную.

Около места остановки дивизии, по окрестным деревням и дорогам, собрались большие группы чешских партизан. Эти партизаны были снедаемы огнем патриотизма и жаждой подвига: Германия капитулировала три дня тому назад. В разбегающихся безоружных солдатах первой власовской дивизии они нашли обильную и безопасную жатву. Им в этой деятельности помогало и население.

*

12-го мая умерла первая дивизия. Вместе с ней прекратил существование и Штаб Освободительной Армии и руководство Движения. Находившиеся южнее части Движения каждая агонизировала в отдельности, каждая, повторив, в основном, судьбу первой дивизии.

Власов, еще за день до того, как первая дивизия сложила оружие, с небольшим штабом офицеров поехал в сторону Пильзена, занятого американской армией.

Всего шло три машины. В первой — он с адьютантом и переводчицей, во второй — офицеры, и в третьей, небольшом крытом грузовике, шесть человек солдат, тоже с офицером, капитаном Т. — группа охраны. Недалеко от Пильзена им перезала дорогу идущая с севера на юг какая-то часть СС. С большой быстротой двигались сотни разнооб-

разных машин и танков. Небольшая группа Власова оказалась разделенной этим потоком.

Когда вторая машина пришла в город, американскими постами она была направлена к тюрьме. По словам солдат, Власов должен был находиться там. В тюремном дворе машины не оказалось: его увезли куда-то дальше. Начались поиски.

— Мы пережили на этом тюремном дворе очень тяжелые минуты, — рассказывали потом пассажиры второй машины. — Через час после нашего прибытия пришел какой-то чех и, увидев наши значки РОА, подошел и рассказал, что полчаса тому назад он видел, как немцы эсэсовцы расстреляли Власова и всех, кто был с ним. Это оказалось правдой наполовину. Была расстреляна группа охраны. Что произошло — установить не удалось. По всем признакам эсэсовцы, знающие о бое в Праге, увидев солдат РОА, хотели их арестовать. По словам чеха, произошел короткий бой. Солдаты охраны были вооружены ручными гранатами, автоматами и последним немецким изобретением «панцерфаустами». В результате боя вся группа погибла. С ней вместе погиб, якобы, и один из крупнейших руководителей НТС, инженер Дмитрий Брунст, за несколько дней до этого вышедший из берлинской тюрьмы. Он поехал на поиски отставшей машины, нашел ее и сам сел за руль...

Власов в это время находился в американском Штабе, а потом был отправлен в место остановки дивизии в Шлюссельбург.

Там на шоссе, которое являлось демаркационной линией между советскими и американскими частями, в доме, стоящем у самой дороги, он пробыл несколько дней. Переводчица, которая была с ним до последнего часа, рассказывает:

— Нас встретил капитан американец. Он встал из-за стола, подошел к Власову и сказал: «Ну, что же, генерал, всему конец? Вы напрасно меняли хозяев, генерал». Власов ответил: «Капитан, я всю жизнь служил одному.» — «И это?» — спросил тот. «Это — русский народ».

Они разговаривали больше часа

— Вы знаете, — рассказывает переводчица, — я никогда Андрея Андреевича не видела таким. Он говорил так убедительно, так спокойно и верно, что капитана после этого разговора мы между собой в шутку называли власовцем. Он несколько дней спасал его и нас всех от тянущейся к нам со всех сторон смерти. Этот дом был одновременно занят почему-то американцами и советскими. Внизу, в первом этаже, были американцы. Во втором, в пустую-

щих двух комнатах, расположились мы. А в третьем, над нами, — какие-то советские партизаны-парашютисты. Дом был большой, в несколько десятков комнат. Советские часто устраивали обыск в нашем этаже, то занимали, то освобождали пустующие комнаты рядом с нами. Капитан американец всегда предупреждал нас о том, что они опять будут обыскивать и тогда выводил нас через черную лестницу в сад. Мы стояли подолгу с ним в саду за кустами и смотрели, как в окнах люди с зажженными фонарями переходят из комнаты в комнату. Когда они уходили, мы возвращались обратно. По шоссе, и в одну и в другую сторону, все время проходили советские машины и нередко останавливались около нас. Проезжали небольшие группы кавалеристов. Через два дня капитан спросил Власова, хочет ли он остаться здесь или поехать в Штаб американской дивизии и попытаться в Штаб армии, чтобы поговорить о судьбе разоруженных русских солдат. Власов сказал, что поедет. Машину, в которой он выехал с немногими спутниками, сопровождал американский джип с солдатами. В четырех километрах от демаркационной линии в американской зоне, машины были остановлены отрядом советских солдат с офицером. Судя по их словам, они искали командира первой дивизии Буйниченко. Власов никогда не носил форму, сопровождавшие его офицеры были, вероятно, приняты за немцев. Шофер хотел уже ехать, в это время один из советских солдат крикнул:

— Да ведь это Власов!

Ему сразу предложили выйти. Американцы хотели вступиться. Завязался спор. В это время подошел второй джип, идущий навстречу. Из него вышел офицер американец. На вопрос солдат, как им поступить, он ответил, что это внутренние русские дела и чтобы они садились в машину и возвращались обратно. Власова и его спутников, кроме одной девушки, Вали К... (спасенной американцами), оказавшейся в машине более или менее случайно, советский отряд увел с собой.

12 мая, день смерти первой дивизии, можно считать и последним днем организованного Освободительного Движения. Первая дивизия, несмотря на то, что численно она являлась только небольшой составной частью вооруженных сил Освободительной армии, была ядром, вокруг которого должно было произойти объединение всех антикоммунистических русских сил. При ней же был и штаб Власова и руководство Движения в целом.

Естественен вопрос — почему же так произошло? Почему Движение, в котором с разной степенью активности при-

нимали участие многие миллионы человек, единомышляющих и единоустремленных, Движение с такими перспективами на победу, имевшее шансы, в случае начальных успехов, на поддержку и какой-то, вероятно, не малой части Красной Армии — это Движение сошло на нет, так быстро и незаметно, не оставив глубоких следов и не оказав даже сопротивления подошедшему вплотную врагу? Короче говоря— каковы причины неудачи всей акции в целом?

Причин много — больших и малых, второстепенных и решающих. Одни из них порождали другие, те, в свою очередь, обуславливали третьи. Так поход на Котбус, в сторону от расположения воинских частей Движения, был безусловно ошибкой, точно так же как и задержка на четыре дня для освобождения Праги. Но эти причины не возникли сами по себе, а являются следствием какой-то другой или нескольких других причин. Но это второстепенное, что с большими или меньшими потерями могло быть, в конце концов и поправлено. Три основных фактора обусловили неудачу выступления в целом.

Первое и, вероятно, самое решающее это то, что возможность консолидации сил была получена слишком поздно. Руководство Германии до последних часов войны не теряло надежды капитулировать на Западе и продолжать обороняться на востоке. Непониманию русской проблемы оно осталось верным до конца. В последние часы, когда уже здание Канцлерства в Берлине было под обстрелом орудий советской армии, Гитлер по карте генерального штаба все еще передвигал и группировал какие-то несуществующие армии и корпуса, якобы, идущие на выручку Берлина, но основное — причины поражения его армий в России — оставалось за пределами его небольшого ума.

Второе — это неоправдавшиеся надежды на помощь или нейтралитет западных союзников. Для ожидания этой помощи, как я уже писал, не было абсолютно никаких оснований, кроме большого желания, логики и дальновидности — казалось невероятным, что западные союзники в такой степени не знают и не понимают коммунизма, что союз с ним рассматривают не как временное явление, нужное по тактическим соображениям Сталину, а как прочное и долговечное сотрудничество. Нам тогда еще не было известно, что президент Рузвельт совсем серьезно рассчитывал повлиять на него своим личным шармом, вообще, говорят, неотразимым, надеялся привлечь его к западному демократическому миру, отказаться от ортодоксальных коммунистических убеждений, т. е. перестать быть самим собой. Более убедительной иллюстрации непонимания коммунизма

западным миром незачем больше и искать. Осуждать руководство Движения за недостаточную активность при попытках установить связь с западом сейчас беспредметно. Послевоенные годы показали, что такой связи установлено быть не могло. Эти попытки стоили бы больших человеческих жертв и, как сейчас можно утверждать, жертв напрасных.

Но, кроме названных двух причин, была еще одна третья, больше лежащая в области психологии, чем тактики, стратегии и политики.

Многолетнее единоборство русского народа с коммунистической властью не прошли бесследно для психологии и народа в целом, и каждого в отдельности из подсоветских людей, а из них исключительно и состояли кадры Движения. Психологическая особенность эта заключается в том, что для подсоветского человека характерна некая завороженность могуществом и несокрушимостью советского строя. В продолжение всех лет коммунистического господства легенда о несокрушимости коммунистической власти в России была лейтмотивом правительственной пропаганды. Этой же цели и еще, может быть, в большеи степени, служил жесточайший и непрекращающийся террор власти, в ответ на малейшую попытку сопротивления ей. Эти два фактора с течением времени вдавили в сознание подсоветских людей мысль о непреодолимых трудностях, почти о невозможности свержения власти своими русскими силами и никакими вообще. Не на долгое время такую силу люди увидели в Германии, пока она не обнаружила своих подлинных намерений по отношению к России. Мысль о бесполезности даже сопротивления власти, въелась в сознание в такой степени, что в минувшей войне привела к трагическому парадоксу: ожесточенные и бескомпромиссные враги советской власти защищали ее до последней возможности, но в то же время и до того момента, пока не осеняла сознание мысль, что власть может упасть. В следующий момент защитников у нее уже не было, а были непримиримые и отчаянные враги. Так было и нет оснований предполагать, что не повторится в будущем. Спешу оговориться — это нельзя объяснить ни аморальностью, ни отсутствием твердых убеждений и принципов, ни недостатком мужества. Если нужно говорить об аморальности, то об аморальности власти, которая непрекращающимся террором деформировала сознание своих подданных. Это не особенность людей, а особенность строя, в такой степени влияющего на них. Эти же самые люди в другой обстановке и перед другими трудностями обнаружили стальную волю, непоколебимую вер-

ность своим убеждениям и большое мужество. Характерная особенность — самые активные участники Движения — это касается в равной степени и солдат и офицеров — были взяты в плен после ожесточенного сопротивления, нередко ранеными. Все они до одного ненависть к советскому строю принесли с той стороны, а не воспитали в себе с этой, но ни один из них, ни во время войны, ни до нее, не сделал ничего для ее разрушения. Максимум протеста заключался в том, что люди переходили на эту сторону добровольно. Недолгие месяцы пребывания с этой стороны, вне гипнотизирующего влияния НКВД, освобождали людей от внушенного им психоза и делали способными к более реальным оценкам. Невозможное там, начинало казаться возможным здесь. Годы ожидания и месяцы подготовки и организации Движения характерны ростом веры в свою правоту и победу своего дела. Эти чувства руководили солдатами первой дивизии во время похода из места формирования на восток, навстречу Красной Армии, эти же чувства доминировали и во всех массах Движения.

С востока, вслед за героем русским солдатом, шел торжествующий побеждающий коммунизм. До встречи с ним оставались считанные дни. И вот тут, где-то в последние дни, произошел, еле заметный сначала перелом. В душу каждого гипнотизирующими глазами удава заглянул многолетний страх. Страх не наказания, не физической смерти, а страх за дерзость выступления, за вызов на единоборство многолетнего и, опять показалось, несокрушимого врага. Советская власть, НКВД, двадцать лет культивируемого ужаса и бессилия вступили в свои права. Этот страх больше, чем страх перед физической смертью. Из страха перед этим страхом люди тогда кончали самоубийством, точно так же как и позднее в дни насильственной репатриации. В этом затянутом психологическом узле нельзя было обнаружить отсутствия мужества вообще. В боях за освобождение Праги солдаты и офицеры дрались как львы, может быть потому, что дрались против немцев. Но эти же самые солдаты и офицеры фактически не оказывали никакого сопротивления, когда два дня спустя, в их ряды стали просачиваться сначала в одиночку, а потом небольшими группами советские агитаторы и пропагандисты, зовущие переходить на ту сторону, т. е. на верную смерть.

Болезнь — размагничивающейся воли, апатии — можно было видеть в те дни за немногими исключениями и на членах руководства и, пожалуй, чем выше, тем больше.

На каждом отражается это по-разному, но у всех один общий, еле уловимый штрих — обреченности, обреченности

и дела, которому были отданы все силы, все лучшие чувства и мечты, и обреченности личной.

Не потому, что о погибших принято говорить или хорошо или ничего, нужно констатировать, что ни обывательского малодушия, ни раскаяния, ни каких-либо забот о спасении своей жизни не было проявлено почти никем. Боль за большое общее дело заглушала все.

Обаятельный, для всех доступный, отзывчивый и добрый Василий Федорович Малышкин осаждаем в эти дни бесконечным количеством людей, потерявших голову. Среди них и друзья и вчерашние враги. Для каждого из них находится у него и слово ободрения и помощь, но над всем этим, как натянутая до отказа струна, боль за общее дело, поставленное волею судеб на край гибели.

Рьцарски непреклонный, волевой и целеустремленный Михаил Алексеевич Меандров предпринимает героические усилия для осуществления своего плана — устремления воинских сил и кадров Движения на юг, на соединение с партизанами Драже Михайловича, чтобы потом вместе с ними бороться и за освобождение Югославии и вместе идти дальше. Он был всегда сторонником так называемого южного варианта, т. е. при удаче выступления, двигаться к южной границе России, через Болгарию и Румынию, в которых коммунизм к тому времени уже показал свое лицо, а не на север через Польшу, как думало большинство.

Георгий Николаевич Жиленков, раньше всегда собранный, всегда работоспособный, отчетливый и пунктуальный, в эти дни неузнаваем, ко всему равнодушный, от всего отсутствующий.

Если верить молве, два человека, из всех известных мне, сломились под тяжестью тех трагических дней и пошли с повинной к врагу, к большевизму — генерал Благовещенский и генерал Закутный, первый человек тяжело больной, всегда раздраженный, активного участия в Движении никогда и не принимавший. Второй — был заведующим отделом социальной помощи. Закутный, в те последние дни, неуловимо ускользающий от всякого разговора и не смотрящий в глаза. Говорят, позднее он явился сам к советским офицерам со списком известных ему участников Движения. Если это было так, то в те дни эти списки он, наверное, и составлял. Если это все верно, то можно почти утверждать: ни тот ни другой не были советскими агентами. Их сломили последние дни и толкнули на этот шаг. То, что потом они были убиты вместе со всеми другими, в какой-то степени подтверждает это предположение.

При мимолетных встречах в те дни с многими знакомыми и друзьями, я всегда невольно вспоминаю рассказ моего друга, серба Ратки Живадиновича, слышанный мной в Вене и последние слова этого рассказа: «Отлетела душа»... Рассказ настолько характерный и интересный для понимания массового психоза, что привожу его целиком.

— Через несколько дней, после первого удара по Югославии, — рассказывал Ратко, — несколько рот 2-го Железного полка Югославской армии, так же без руля и без ветрил, как и многие, бродили по Сербии. 2-ой Железный был одним из лучших полков армии, в скитаниях не пошатнулась дисциплина, не было заметно никаких следов разложения. Однажды отряд — это было около восьмисот человек — остановился на горной дороге на привал. Остановился, как полагается воинской части в боевой обстановке — выставили во все стороны патрули и заставы, оружие в полной готовности — враг мог появиться с любой стороны и неожиданно. Солдаты расположились по обочинам дороги, готовить пищу, офицеры собрались небольшими группами, чтобы обсудить положение. Вдруг из леса, километрах в трех от расположения части, появился мотоциклист, с большой быстротой едущий по направлению к отряду. Ближе, ближе, все смотрят в его сторону и вдруг узнают — немец. Вот уж он в нескольких сотнях метров, виден уже совсем отчетливо зеленый плащ, каска на голове и автомат на груди...Еще ближе. Не сбавляя скорости, подъехал к нам и лавируя между стоящими на дороге солдатами и офицерами, проехал вдоль всей части. Минута и он уже скрылся за поворотом дороги...Ни один человек не пошевелил пальцем... Можешь ты понять этот психологический шок? — заключает свой рассказ Ратко. Не подлежит никакому сомнению — появись на горизонте большая немецкая часть, открой она огонь по отряду, и солдаты и офицеры оказали бы героическое сопротивление и дрались бы с ожесточением. А вот проехал один человек на мотоциклете и как будто бы душу вынул, разложил несколько сот человек в течение двух минут. На отряд этот, конечно, нужно было поставить как на боевую часть — крест. Оно так и произошло — через несколько дней он рассыпался на небольшие группы, а те растаяли совсем... Душа отлетела, друг мой, и это самое страшное, что может произойти с делом...

Отлетела душа. Можно задаться вопросом — ну, а что было бы, если бы не отлетела? Трудно сказать, как развивались бы события, если бы первая дивизия из Праги устремилась не на юг, а прямо на восток, навстречу дивизиям маршала Конева. Или если бы она, не сворачивая на Прагу,

соединилась бы где-то в Австрии с остальными частями Движения и вместе с ними прорвалась действительно на Балканы? Трудно сказать, может быть это, действительно, только затянуло бы агонию, может быть, был бы какой-нибудь другой результат. Исключая момент политический, а он был главным шансом и единственной надеждой Движения на успех, вооруженных сил Освободительной армии было бы достаточно, чтобы очистить Югославию и от частей Красной армии и от партизан Тито. 80 тысяч четников Драже Михайловича, части генерала Недича и Дмитрия Летича, превращались бы автоматически в национальную армию независимого государства Югославии. И если под натиском сил Коминтерна смогла отстоять свою свободу Греция, то почему не отстояла бы ее для себя более сильная Югославия. А оттуда недалек путь и до южных областей России . . .

Объективности ради нужно признать, что для первых шагов Движения последние дни войны были самыми невыгодными днями. Кончалась многолетняя и тяжелая война. Красная армия, как и весь народ, была в ожидании эволюции советского строя в сторону демократических свобод, в сторону «послабления», как определяли эту эволюцию солдаты и офицеры, переходившие до последних дней на эту сторону. Переходившие только потому и переходили, что в «послабление» не верили . . .

При подведении итогов вполне естественно напрашивается вопрос — если было уже слишком поздно, если было уж очень мало надежд на успех, стоило ли начинать все дело в целом. Не напрасно ли принесено столько жертв. нельзя ли было бы их избежать, если бы Освободительного Движения не было вообще?

Начинать или не начинать дело было нельзя, этого никто не решал и никто его к жизни не вызывал — оно началось само по себе в тысячах разных мест в первые же дни вторжения немецких армий в Россию. Начавшее формироваться потом, после опубликования Манифеста, начавшее принимать организационные формы Движение было только завершением тех процессов, которые начались в первые дни войны и появление которых обусловлено и вызвано самим советским строем.

У Движения последнего периода его жизни, после 14 ноября 1944 года, есть свои бесспорные заслуги и перед русским народом и, об этом можно будет сказать позднее, но мы надеемся, что и перед всем свободным демократическим миром. Перед народом, потому что за последние, особенно тяжелые месяцы, удалось облегчить судьбу русских людей

как в самой Германии, так и в странах ей союзных, удалось спасти многие тысячи человеческих жизней как военнопленных, так и рабочих. Движению удалось помешать немцам использовать русский антибольшевизм в своих немецких интересах в таких масштабах, в каких они использовать его могли и в каких использовали в первые месяцы войны. Активным антибольшевикам, каких немало было в России и раньше, а сейчас стало бесспорно еще больше, Движение дало в руки идейное оружие, назвало идеалы и цели, к которым нужно стремиться в борьбе за освобождение народа.

Заслуги перед человечеством больше. Представить только на момент, что русский антибольшевизм никак не обнаружил себя и не проявил во время минувшей войны, представить, что народ как один человек, стеной стал бы за советским правительством и шел с ним до дня победы, представить, что не поддержанные морально, не подкрепленные в правоте своих антикоммунистических убеждений, русские люди, оказавшиеся в Европе, по первому зову Сталина вернулись бы к нему, а это могло произойти, если бы не было такого фактора, как организованное Движение. Представить все это — и становится ясным, что было бы тогда. Дело не в том, что всех вернувшихся советские власти распределили бы по братским могилам, концлагерям и штрафным батальонам, а в том, что никто не имел бы никаких оснований, никакого права утверждать, что русский народ враг коммунизма, что преступления вождей Коминтерна не являются преступлениями русского народа, что коммунизм и русский народ не одно и тоже, что ставить знак равенства между Россией и СССР нельзя. А в разделении этих двух понятий, в противопоставлении их — коммунистической власти и антикоммунистического народа — и лежит ключ к решению вопроса о ближайших судьбах мира. Таким образом Движение и принесенные им жертвы имеют больше значения для будущего, чем они смогли достигнуть в прошлом.

Формы борьбы русского народа с властью менялись много раз — была гражданская война, и заговоры, и восстания, и пассивное сопротивление, и невозвращенчество, и внутренняя эмиграция — эти формы будут меняться и впредь, в зависимости от обстоятельств данного этапа борьбы. В годы минувшей войны сопротивление и протест народа приняли формы, единственно тогда возможные, — Освободительного Движения. Обвинять в этом участников его, значит отказывать народу в праве на антикоммунизм. Но именно народу, а не участникам Движения, которое с большим

правом может претендовать на представительство народа, хотя бы по своей численности, несравненно большей, чем численность любой другой группы сопротивления в прошлом. В Кронштадском восстании или крестьянских восстаниях Сибири участвовало меньше людей, однако мы с правом считаем их показателями настроений нашей страны. На следующем этапе — послевоенном, антибольшевистские силы находят другие пути и возможности и так будет до тех пор, пока русский народ не уберет с своего пути узурпаторов власти, заслоняющих от него свободу, на которую наш народ имеет такое же право, как и все другие народы мира.

*

8-го мая с небольшой группой русских эмигрантов и сотрудников комитетских учреждений, задержавшихся в Праге, я перешел фронт и попал в баварский городок Фюрт, в шести километрах от чешской границы, недавно занятый американцами. Городок небольшой, как высокой стеной обнесенный со всех сторон лесом. В лесу бродят еще эсэсовцы, которые никак не хотят сдаваться и время от времени из минометов бросают две-три мины в город, исполняя последний «долг» перед фюрером и отечеством.

В городе на улицах толпы народа. Из окраинных сел, железнодорожных станций, лесопильных заводов, которых здесь много, собрались тысячи рабочих иностранцев и освобожденных из лагерей военнопленных.

После долгих скитаний мы находим свободный угол на какой-то мельнице. На втором этаже здания разместилась команда русских военнопленных. Они живут здесь уже два года — часть работала на мельнице, другие на лесопильном заводе. Последнее время работы часто не было или было мало, тогда их отпускали в село, чтобы помочь сеять или собирать урожай. Крестьяне платили за работу хлебом, картошкой, иногда молоком или кисловатым баварским сыром. Выглядели военнопленные не очень сытыми, но и не такими истощенными, как в больших городах или в промышленности. После того, как пришли американцы, освобожденные военнопленные бродят целыми днями по городу и занимаются, главным образом, тем, что собирают всякие слухи. Город полон ими. То все население начинает в панике паковать вещи: через несколько часов сюда придут части Красной армии, то распаковывают обратно, — оказывается, остаются американцы. Иногда население делится по своим настроениям на две части — иностранцы готовятся бежать, а немцы, поскольку это возможно в толь-

ко что оккупированном городе, торжествуют: ходят слухи, что какой-то корпус СС, сокрушая все на своем пути, двигается по направлению к Фюрту. Потом слух меняется — двигается действительно, но не корпус и не СС, а дивизия чехов. А потом оказывается ерундой и это.

Но несмотря на тревожные слухи — война, это уже прошлое. Мир победил окончательно — войн больше не будет! Вечно ли или нет, сказать еще трудно, но, во всяком случае, наше поколение и наши ближайшие потомки не будут слышать ни разрыва бомб, ни стрекочущих очередей пулеметов. Стоя в очереди за хлебом, с этого начинается жизнь всего населения города, наблюдаю умилительную картину. Солдат из проходящего мимо американского патруля отобрал у играющего мальчугана игрушечный пистолет и старательно ломает его о камни тротуара. Игрушка сделана по-немецки — солидно и прочно. Ломке не поддается. Солдат, чувствуя на себе взгляды толпы, немного смущается, нервничает и смяв игрушку каблуками сапог, бросает ее в решетку водосточной трубы. Символика! Отныне немецкие дети не будут играть в солдатики. Стоящий рядом «милитарист» заливается горькими слезами — в его не полных шесть лет, это первое большое и полное горе. Солдат, смущенно улыбаясь, догоняет ушедших вперед товарищей. . Где ты теперь пламенный пацифист? — отбиваешь ли танковые атаки в южной Корее или, не выпуская из рук оружия, сидишь в осажденной крепости Берлин? . . .

С русскими военнопленными, живущими рядом, мы познакомились, а потом с некоторыми из них и сошлись ближе. Я чаще всего разговариваю с одним — сержантом танкистом Красной Армии, Семеном Макаренко. Мы делимся друг с другом табаком, новостями, иногда подолгу сидим на скамейке под деревом и о чем-нибудь молчим, или разговариваем ни о чем.

— Ну, что, Сеня, скоро домой поедешь? — спрашиваю я.

— Да, собираться надо, — отвечает как-то неопределенно он.

— Радуешься?

Он смотрит задумчиво в сторону и потом, повернувшись ко мне, тихо говорит:

— Страшно.

— Может быть, ты боишься напрасно, сидел до самого последнего дня в плену, преступным ничем не занимался . . .

Он долго молчит, потом как-то нехотя выдавливает:

— Не знаешь ты их.

— Слушай, но неужели и тебе могут что-нибудь сделать?

Он, не отвечая на вопрос, говорит:

— Брат у меня был. Во время войны с финнами в плен попал... Мы его больше не видели. Спрашивали других, ездили куда-то, мать особенно убивалась. Ни одного человека не нашли, который видел хотя бы одного вернувшегося из плена. Говорили потом, что расстреляли их всех.

О том, что на мельнице живут русские военнопленные, знают и американские солдаты. Время от времени кто-нибудь из них пешком или на джипе доставляет на мельницу застрявшего в глухой деревне рабочего или потерявшего свою команду военнопленного. Русских собирают всех вместе потому, что скоро предстоит отправка на родину.

Чаще всего к нам приходит молодой сержант американец польского происхождения. Язык польский он забыл основательно и разговор у нас с ним происходит на славянском эсперанто — на смеси польского, сербского, чешского и русского. Сначала не получалось ничего, а потом как-то привыкли и стали объясняться и вести разговоры на темы даже не самые простые.

Однажды он пришел весело возбужденным.

— Передайте вашим землякам, что завтра, наконец, придут машины, которые повезут их в советскую зону оккупации и потом дальше на родину.

Он очень завидовал счастливцам. Они возвращаются домой, а ему еще неизвестно сколько времени придется оставаться здесь.

Когда он ушел, военнопленные обступили меня толпой. Я передал им слова сержанта о машинах, о том, что он желает им счастливого пути и завидует, что они возвращаются на родину.

Ответом мне было гробовое молчание.

Ночью, сквозь сон я слышал какой-то шорох, приглушенные голоса, осторожные шаги по лестнице, а потом все стихло.

Утром ни одного человека из военнопленных наверху не оказалось. Они ушли.

Сержант, как и обещал, точно в десять часов явился с тремя грузовиками. Видом пустого зала — на полу валялась разбросанная солома и пустые консервные банки — он был обескуражен.

— Куда же они девались?

— Они ушли, — отвечаю я.

— Странный народ, — говорит он. — Столько дней ждали, а когда осталось несколько часов, у них нехватило терпения.

— Они ушли не домой, а в другую сторону, — говорю я.

Он не может понять эту слишком сложную шутку и, как будто не доверяя своим глазам, ходит туда и сюда по залу, осматривая пустые углы и разбросанные под ногами вороха соломы.

— Что, вообще, случилось? Слушайте, в какую другую сторону?

— На запад.

— Вы можете мне объяснить, в чем тут дело?

— Могу объяснить, но я боюсь, что вам это будет трудно понять.

— Я уже привык разговаривать с вами и, мне кажется, вспомнил уже немного язык.

— Нет, — возражаю я, — вам трудно будет понять не то, что скажу я, а причину их ухода. Чем точнее я подберу слова, чтоб объяснить вам это, тем непонятнее это будет для вас.

— Но все-таки?

— Они ушли потому, что боятся, что правительство по возвращении на родину может их или расстрелять или посадить на долгие годы в концентрационный лагерь. Можете это понять?

Он не может. Он уверен, что после того, как разрушены концентрационные лагеря Гитлера, их нигде больше не осталось, что же касается до расстрела, то, может быть, это и очень остроумная шутка, но он, к сожалению, не настолько хорошо знает язык, чтобы понять ее смысл.

Дальнейший разговор — мы это видим оба — ни к чему не приведет. Он уверен, что я его сегодня как-то мистифицирую, а я убежден, что расскажи я ему все это на понятном ему английском языке, он все равно ничего бы не понял, а если б и понял, то не смог бы поверить.

Он мотает головой, угощает, на всякий случай папиросой, и пожимая плечами уходит к своим грузовикам.

— Странные люди...

Глава V

Расплата

Война кончилась. По всей Германии в весеннем ветре полощутся белые флаги, торопливо вывешенные в каждом доме чуть ли не из каждого окна. По дорогам тянутся бесконечные колонны военнопленных, среди них мелькают и люди в форме СС. Обгоняя эти колонны, на запад мчатся длинные вереницы машин — это привезенные немцами на работу в Германию французы, бельгийцы, люксембуржцы и другие возвращаются по домам. Машины украшены флагами, цветами, у пассажиров радостные, возбужденные лица, далеко слышны песни, веселые шутки и смех.

Война кончена для всех. Только для русских антибольшевиков начинается новая глава трагедии — в силу вступает Ялтинский договор, по которому все советские граждане, оказавшиеся к моменту окончания войны в западных зонах оккупации, подлежат выдаче советскому правительству.

В последние дни войны, в момент крушения Германии, навстречу западным армиям с востока бросилось все, что имело хоть какую-то возможность передвигаться. Возможность эта оказалась у очень немногих. Местные немецкие власти до самого конца не разрешали уходить ни рабочим, ни военнопленным. Они принуждены были сидеть в лагерях до тех пор, пока Красная Армия не приближалась на расстояние пушечного выстрела, то есть пока не бежали сами немцы. Русские люди были сосредоточены, главным образом, в восточной части Германии и в прилегающих к ней странах. Там же сгруппировались миллионы беженцев, для которых была закрыта дорога на запад. Красная Армия продвигалась стремительными толчками, поэтому миллионы русских людей оказались отрезанными в Прибалтике, Восточной Пруссии, в Польше и самой Германии, в теперешней советской

зоне оккупации. В западные зоны могло бежать сравнительно небольшое число, составившее с уже находившимися здесь, приблизительно семь - восемь миллионов человек.

Бежали просидевшие по три-четыре года за проволокой военнопленные, бежали, Бог весть как выжившие в лагерях, концлагерники, бежали насильно увезенные на работу в Германию, пережившие по нескольку лет каторжных нацистских лагерей для иностранных рабочих. Бежали от подходящей с востока Красной Армии, потому что за Красной Армией шел Народный Комиссариат Внутренних Дел — НКВД и нес для этих людей, для кого смерть, для кого— многие годы советской каторги. Смерть за то, что увидели какой-то другой, несоветский мир, за то, что осознали дешевую ложь государственного мировоззрения, за то, что не умерли при защите советского строя, за то, что посмели дышать без указаний партии и правительства.

В первые же дни по окончании войны потянулись колонны машин и на восток. Машины доотказа нагружены людьми. Меньшая часть из них едет добровольно, со слабой надеждой на прощение и возврат домой. Часть едет от безысходности — куда же деваться, никто не защитит, никто не поможет. Часть, и едва ли не большая, едет, как на эшафот, — у этих лица смертников.

Решившиеся ехать добровольно делают это тоже по разным побуждениям. Одни от безысходности — «все равно всех отправят», кто рассчитывает — «первым, поехавшим добровольно, легче будет», третьи бросаются в неизвестность, как в холодную воду, — «все равно, придется же когда-нибудь». Едет много терроризированных в сборных лагерях, не посмевших заявить о своем нежелании ехать: «заявишь, а вдруг, все равно, выдадут». В лагерях этих с самого начала установилась атмосфера хорошо организованной психологической бойни, всюду лозунги, портреты Сталина, флаги. Многие стараются перекричать друг друга, показать свою благонадежность и преданность. Кто потрусливее, пугает своими бурно высказанными восторгами себя и других, кто подлее, выбирает себе из присутствующих жертвы, по которым завтра, доносом на них уже на той стороне, он будет пробираться в жизнь. Тут же в лагерях уже начинается выявление «врагов народа», буйным цветом цветет пресловутая советская бдительность и взаимная слежка, — люди составляют «капитал» для той стороны.

Мчатся грузовики на восток, а по обочинам дороги, озираясь, скрываясь от американских и английских патрулей, двигаются в одиночку, семьями, небольшими группами такие же русские люди на запад. Идут без документов, без разрешений передвигаться. Солдаты чаще всего делают

вид, что не замечают их: так много горя сквозит в глазах этих людей, с такой надеждой смотрят они на расстилающийся на запад путь.

Этими людьми забиты все дороги западной Германии. Они идут, не задерживаясь нигде больше двух-трех дней, идут не куда-нибудь, а просто так, чтобы не сидеть на месте, не привлекать к себе внимания, не регистрироваться. Ходят туда и обратно, с севера на юг, с востока на запад, и с большой осторожностью — с запада на восток. На маленьких тележках несложный багаж, иногда дети и больные, которым итти не под силу. Группируются по деревням, расходятся снова, на время короткого отдыха выставляют посты — не едут ли грузовики, на которые так просто, потому что они пустые, могут погрузить и увезти на восток. Ходят люди, делают сотни и сотни километров, а в голове неотвязно один и тот же мучительный вопрос — «выдадут или не выдадут?». Если выдадут — это смерть. Каждый пропущенный день увеличивает «вину».

Это люди вне закона. Они нежелательны для немцев, как всякий бродячий элемент нежелателен оседлому жителю. Нежелательны для немцев, проигравших войну «вот этим же русским», потерявших сыновей, братьев и мужей в борьбе «вот с этими же русскими». Бывает особенно тяжело, когда люди попадают на немца, вышедшего, вернее бежавшего от ужаса советской оккупационной зоны. Тогда им, уже не раз пострадавшим и сейчас спасающимся от большевизма, приходится отвечать за преступления, совершенные тем же большевизмом над другими. Ведь и те и другие — русские.

Они в тягость и союзникам, эти люди с непонятным нежеланием вернуться домой, к своим, к родным, к близким. И вот они ходят в безнадежности, как в темноте, без защиты, без каких-либо прав, всюду гонимые, везде нежелательные.

Ходить всё труднее и труднее. В Германии восстанавливается жизнь, затвердевают какие-то формы постоянного уклада. И вот это хождение, в первые после окончания войны дни, еще вперемежку с немцами, осевшими уже на постоянное местожительство, всё больше и больше режет глаз, мешает и вызывает преследование, а впереди, как и раньше, полная беспросветность.

Другие сидят в лагерях, проводят ночи — каждая, как последняя ночь осужденного. Ложась спать, облегченно вздыхают: «ну, сегодня пронесло, не приехали и не увезли». А с утра опять ожидание: вот подъедут грузовики, на них советские офицеры с американскими солдатами, погрузят и п о в е з у т. Вероятно, это страшнее, чем тогда, когда везут на казнь, потому что люди перед этим «повезут» конча-

ют самоубийством. Кое-кто видит спасение в бегстве. В лес, в горы, а там — существование дикого затравленного зверя: да и надолго ли? ведь Германия не Сибирь.

Что же пугает людей? Откуда этот страх, который толкает их в сумасшествие, в самоубийство? Не напрасен ли он? Не создан ли он только воображением?

Очень скоро после того, как увезены были первые эшелоны, с той стороны стали возвращаться чудом вырвавшиеся беглецы. Из сотен этих рассказов, очищенных от личных переживаний и впечатлений каждого, рисуется совершенно определенная и безоговорочно верная картина.

Всех возвращающихся специально выделенные следственные группы НКВД пропускают через бесконечное количество допросов. Все вернувшиеся рассматриваются, прежде всего, как тягчайшие государственные преступники. Многим каким-то образом удалось захватить и принести с собой, как доказательство своей правоты, анкеты, которые необходимо заполнить каждому, привезенному из западной зоны. В ней 152 вопроса. Из этих дебрей советской казуистики выбраться и доказать свою невиновность практически невозможно. Виноваты все и отличаются они друг от друга только степенью наложенного наказания. Одних расстреливают тут же, других везут на медленное умирание в советские концлагери, третьих, и эти самые счастливые, оставляют в штрафных и рабочих батальонах для работы в самой Германии.

Считается, что организация УНРРА репатриировала из западных зон Германии около 8 миллионов человек. По меньшей мере три четверти этого числа составляли русские. Но УНРРА ведет счет с того момента, как она взяла опеку над этими людьми, зарегистрировала их, внесла в списки. До этого же людей увозили на восток без всякого учета. Первые два месяца в Западной Германии идет настоящая охота за бывшими советскими гражданами. Специальные советские команды вылавливают и увозят длинными караванами машин обреченных. По всем проселочным дорогам рыщут, как ищейки, советские летучие команды, выискивая тех, кто прячется у немецких крестьян. Официальные представители советского правительства преследуют скрывающихся, пользуясь всеми возможными, находящимися в их распоряжении средствами, до провокации и прямого насилия включительно. Они используют неосведомленность местных союзных властей, симпатии политических поклонников среди военнослужащих союзных армий, используют извечную ненависть к иностранцам немцев — как своей агентуры, коммунистов, так и вчерашних наци, часто прибегают просто к силе вооруженных банд. Останавливают

на дороге, сажают в машины и увозят в свои застенки — лагери и тюрьмы. Расправляются тут же, на улицах, врываются в квартиры с обысками и арестами. Сталин решил раз и навсегда покончить с оппозицией, с политической эмиграцией, способной разоблачить его планы и замыслы. Можно без опасности преувеличения, сказать, что в первые недели после окончания войны русский антикоммунизм понес миллионные потери в людях.

Перечислить все случаи насилия невозможно. Их было слишком много. Остались документы, свидетельства очевидцев только немногих актов насилия и, вероятно, не самых страшных эпизодов. Эти сведения подтверждены не оставляющими сомнения материалами, опубликованными как в американской военной печати, так и в немецкой. Два из этих документов я привожу ниже.

ПЕГЕЦ.

Казачество, как наиболее свободолюбивая и хозяйственно более крепкая часть русского народа, пострадало от большевиков больше всех. Годы владычества советской власти были годами уничтожения казачества, как части народа. Сохранились оригинальные приказы советского правительства о поголовном расстреле мужского населения целых станиц и о переселении их семей на медленное умирание с привычного им юга в полярные области страны.

Уцелевшие остатки некогда многомиллионного казачества приход немцев поняли как неожиданное спасение.

Когда фронт покатился на запад, казаки, спасаясь от поголовного уничтожения от рук НКВД (оставшихся постигла эта участь), уходили со своими семьями за отступающими немцами. Оставляли веками насиженные, добытые прадедами места, и уходили в тяжелую немецкую неволю.

К моменту крушения Германии казачьи семьи — старики, женщины и дети — были сосредоточены на юге.

«К середине мая десятки тысяч семей растянулись по реке Драва, между городами Обердраубург и Линц, — пишет один из очевидцев и свидетелей происшедшей потом трагедии. В деревянных бараках, на площадях между ними, прямо на улице и на лежащих вблизи дорогах расположились многие десятки тысяч людей.

31-го мая 1945 года английскими оккупационными властями было сообщено, что вывоз в советскую зону назначен на 1-ое июня.

Рано утром вышли священники с иконами и хоругвями. Вокруг них собрались тысячи людей. Начались беспрерывные молебны о спасении. В начале девятого часа прибыли

английские военные грузовики и танки. В Пегеце служба еще не кончилась, как было приказано грузиться в машины.

Люди, решившие не сдаваться, не ехать на верную смерть, брались за руки, ложились на землю и всячески сопротивлялись посадке. Тогда их разбивали на отдельные небольшие группы. Взявшихся за руки избивали палками и ружейными прикладами. Падающих подхватывали и бросали в автомобили. Более легкой добычей были, конечно, женщины и дети, которые попадали в первую очередь. Матери бросали детей под гусеницы танков, а вслед за ними бросались и сами. Через полчаса на площади, в лужах крови, лежало несколько сот трупов.

Священники всё это время не прекращали богослужения. Толпа совершенно обезумела, когда какой-то человек, в форме английского солдата, громко закричал на русском языке, что сопротивление бессмысленно и что всё равно увезут всех. Многотысячная толпа с ревом бросилась во все стороны, прорвала кордон, повалила окружавший лагерь деревянный забор и стала разбегаться. Многие пытались скрыться в бараках. Их оттуда вытаскивали и, избивая палками, бросали в машины. Толпу охватил массовый психоз самоубийства. Матери привязывали к себе детей и бросались в реку. Многие покончили жизнь, повесившись на деревьях.

Всё происходившее в лагере Пегец повторялось с буквальной точностью на всем протяжении от Линца до Обердраубурга.

Вывоз продолжался 1-го, 2-го, 3-го и 4-го июня.

Местные жители после этого в течение двух недель убирали трупы повесившихся в лесу и утопившихся в реке. Только в одном месте последней было извлечено 70 трупов.

Сколько было вывезено на убийство в советскую зону, определенных данных нет.

Избиение производилось одной из дивизий 8-ой английской армии. Руководителем называют английского майора Девиса».

Одновременно с вывозом в советскую зону казачьих семей происходила ликвидация и воинских казачьих частей. Цитирую тот же документ дальше:

«... 26-го мая английскими властями было сообщено офицерам, что на сегодня в Шпитале назначено совещание по вопросу реорганизации казачьей армии, на которое приглашаются все офицеры, как находящиеся в строевых частях, так и среди гражданского населения. При этом, ввиду присутствия на совещании высоких лиц английского командования, было предложено офицерам одеться во все лучшее, имея на себе знаки офицерского звания.

К трем часам дня офицеры в количестве 1800 человек были готовы и на поданных английских машинах выехали в направлении Шпиталя.

Когда они подъезжали к Шпиталю, к колонне их машин присоединились броневики, которых в Линце не было. Очевидно, они ожидали колонну где-то по пути.

В Шпитале офицеры переночевали в лагере. А на следующий день, под конвоем броневиков были вывезены в направлении Граца, где и переданы советским властям.

К 15-му июня в советском лагере, где они были заключены, из 1800 человек в живых было только 600. Остальные были уже расстреляны.

Первая казачья дивизия в составе 12.000 человек была выдана большевикам 29-го мая в районе севернее Клагенфурта. Из нее удалось спастись только нескольким офицерам под начальством майора Островского и 40 казакам».

Второй документ:

ДАХАУ.

«В бывшем гитлеровском концлагере Дахау, вместе с задержанными эсэсовцами, оказалась группа (около 300 человек) солдат начавшей формироваться второй власовской дивизии Русского Освободительного Движения. Прошел почти год с окончания войны. Эти люди, большинство которых не держало в руках даже оружия, ждали или освобождения, как и все немецкие военнопленные, или суда. Чины охраны им часто говорили, что суда никакого не будет, а что их просто освободят.

В начале января 1946 года в лагерь приехал советский офицер, майор Прохоров. Он беседовал с ротой. Солдаты и офицеры в один голос заявили о своем нежелании возвращаться на родину.

17-го января прибыли советские офицеры в сопровождении американских солдат. Построившуюся роту окружили американцы и поляки, несущие охрану лагеря. По просьбе одного из советских офицеров, американский офицер отдал приказание, и конвой направил на роту винтовки и автоматы, добиваясь добровольного согласия на вывоз. Эта процедура продолжалась около трех часов. Русские заявили: «Лучше расстреляйте нас здесь на месте, но к Советам не поедем».

Наступили сумерки. Людей отпустили в бараки. Все выходы бараков были заняты вооруженными солдатами охраны. Рота объявила голодовку. В помещении обреченные накрыли стол белой материей, водрузили на него крест, завернутый в черное, поставили иконы. Вечером, утром 18-го января и днем всё время молились и пели церковные песнопе-

ния. Вели себя спокойно. Часть офицеров и солдат поклялась, что в случае несчастья, то есть насильственной выдачи в советскую зону, они покончат с собой и кровью своей остановят попытку вывезти всех.

Так наступило 19-ое января — кровавое воскресенье.

Утром, после того, как охрана, состоявшая из поляков, отказалась проводить насильственную погрузку, приехал сильно вооруженный отряд мюнхенской американской полиции и плотным кольцом окружил помещения, занятые ротой. Движение в лагере было запрещено, нельзя было подходить к окнам.

Большинство людей роты сняли с себя все и остались только в нижнем белье. Полицейские, выломав дверь, начали вытаскивать людей поодиночке. Солдаты и офицеры вели себя дисциплинировано. Сопротивление оказывали только пассивное — упирались, ложились на пол и т. п. Каждого из вытащенных людей — два - три полицейских избивали во дворе палками и потом тащили к воротам лагеря, куда были поданы вагоны.

Давшие клятву умереть для спасения товарищей, умерщвляли себя, чем только можно, — осколками оконного стекла перерезывали себе вены и горло, вешались, наносили самим себе ножами раны в область сердца, душили голыми руками друг друга. Некоторые были уже мертвы, другие при смерти.

Часть людей забаррикадировалась в конце барака № Д3. Полицейские разрушили баррикаду и ворвались туда. Помещение, залитое кровью, имело ужасный вид. На полу и на койках валялись люди с перерезанным горлом или венами. На перекладинах потолка висели повесившиеся. Оставшиеся в живых, во главе с полковником Беловым, молились перед столиком с иконами. Молящиеся пели. Полицейские направили на них оружие, но, не выдержав, отступили.

Один из присутствовавших советских офицеров посоветовал командующему полицией американскому офицеру разбить окна и бросить в помещение бомбы со слезоточивыми газами.

Сваленные газом на пол несчастные стали перерезать себе горло, помогая друг другу. Полицейские избивали палками обливающихся кровью людей и тащили их к вагонам. Одного раненого несли на носилках. Он сорвал с себя бинты и начал кричать американцам, что они не правы. Те забили его прикладами. . .»

Этот документ во всех деталях совпадает со сведениями, данными в американской военной газете «Старс энд Страйпс» от 23-го января 1946 года.

В этой газете корреспондент - солдат в статье, озаглавленной «Русские предатели боролись как звери, чтобы себя убить», рассказывает до мелочей те же самые эпизоды. «Американские солдаты — пишет он — говорили, что эти сцены выглядели совершенно нечеловеческими» . . .

Момент, когда полицейские ворвались в барак № Д3, он описывает так:

«Американские солдаты стали быстро перерезать веревки, на которых уже многие успели повеситься. Но те, которые еще были в сознании, кричали по-русски, указывая на ружья стражи, просили пристрелить их на месте. Когда им пытались помочь и отправить их в больницу, они отказывались от попыток сохранить им жизнь» . .

Дальше следует уже рассказанный выше эпизод:

«Вот один ударил себя в грудь кинжалом. Казалось бы, умер.. Его положили и отнесли на грузовик. Но вдруг он снова вскочил и бросился бежать. При каждом его движении кровь потоками лилась из раны. Полицейские не могли с ним справиться. Двое из них сломали приклады об его голову. . . »

Польский офицер, бывший в охране лагеря в день отправки, описывая те же самые картины, говорит:

«Я видел много крови, но столько и в такой обстановке я не мог себе реально представить . . . Пытались покончить самоубийством 71 человек. Какую-то часть удалось спасти, перерезать петли, пока жертвы не задохнулись. Кроме покончивших с собой и унесенных в больницу всех остальных, избитых и перевязанных веревками, полицейские тащили по улице. Кровь лилась из людей ручьями. Обессиленные, они кричали по-русски — «американская демократия!»

Этот ужас вызвал протест даже у наблюдавших отправку эсэсовцев. Они с удивлением спрашивали: чем можно оправдать такую жестокость? — «Ну, пусть бы с ними поступили так же, как и с нами. Пусть дадут им по десять-двадцать лет принудительных работ, но как можно так поступать с людьми? Почему их отправляют на смерть?»

Немецкая печать в американской зоне оккупации откликнулась на это событие злорадно хихикающей заметкой под заголовком «Нечистая совесть».

Когда американская стража сдавала в советской зоне привезенные полутрупы из Дахау, советский офицер использовал это, прежде всего, как пропагандный материал. Обратившись к собранным на митинг красноармейцам с речью, он начал так:

«Вот, товарищи, что ждет того, кто пытается бороться против советской власти, против Сталина. . .»

Приблизительно через месяц, 24-го февраля 1946 года, такая же кровавая бойня, только в десять раз в большем масштабе была проведена в лагере Платтлинг, где находилось около 3.000 человек — остатки второй власовской дивизии, как указывалось выше, еще не получившей даже оружия к моменту капитуляции Германии, и дети, мальчики из офицерской школы. Там называют страшную цифру жертв. Очевидец, присутствовавший при приеме эшелона в советской зоне, говорит, что в вагонах «советскому командованию было сдано около 400 трупов». Один из солдат, сопровождавших транспорт, рассказывал, что люди вскрывали себе вены, перерезали себе горло, вешались уже в вагонах. Число покончивших самоубийством в пути, не могло быть проверенным, но судя по настроениям, царившим в лагере в течение года, оно может быть вполне реальным. Тем более, что в вагоны на станции Платтлинг, по словам свидетелей, «грузили не живых людей, а куски рваного мяса». Вывезено было в два приема около 2.500 человек.

Этот скорбный список можно было бы продолжать без конца, — расправа в Кемптене, расстрелянные из пулеметов 600 человек власовцев в момент их насильственной передачи в английской зоне, 300 трупов власовских офицеров под мостом в Будвайсе и сотни тысяч других жертв, ни имен которых, ни обстоятельств их гибели мы не знаем.

Этот скорбный список нужно закончить официальным сообщением ТАСС от 2 августа 1946 года:

«На днях военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела дело по обвинению Власова А. А., Малышкина В. Ф., Жиленкова Г. Н., Трухина Ф. И., Закутного Д. Е., Благовещенского И. А., Меандрова М. А., Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д., Шатова Н. С. в измене родине и в том, что они, будучи агентами германской разведки, проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против Советского Союза.

Военная коллегия приговорила обвиняемых к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение.»

(ТАСС)

Они были выданы советским властям по одиночке в течение 1945-46 годов.

Обстоятельства и время выдачи каждого из руководителей движения установить было трудно. Из всех известных тяжелее всего сложилась судьба Михаила Алексеевича Меандрова. После попытки самоубийства (осколком разбитого оконного стекла он перерезал себе вены на шее), он почти в безнадежном состоянии долгое время лежал в госпитале.

Когда раны стали закрываться и опасность смерти миновала, он был выдан органам НКВД. Это было в марте или феврале 1946-го года.

Список убитых советским правительством руководителей Освободительного Движения не верен: он показывает скорее итог расправы, происходившей в течение полутора послевоенных лет, чем то, что имело место «на днях», т. е. в июле 1946-го года. Можно предположить, что и не было никакого суда, хотя бы потому, что часть перечисленных в списке не дожила до того времени. Были слухи, что части руководителей, перед выдачей их западными союзниками органам НКВД, удалось кончить самоубийством. Вообще все объявление ТАСС производит впечатление, что рассчитано оно скорее на русских антибольшевиков заграницей, чем на население внутри СССР.

Воинские части западных союзников, отдельные офицеры и солдаты, вынужденные принимать участие в выдачах советскому правительству его жертв, находили оправдание своим действиям в том, что этими последними жертвами, — часто они понимали, что жертвами невинными, — покупается долгий, если не вечный мир во всем мире. Восточный союзник, так много давший для победы в войне, имел право на удовлетворение своих требований, тем более, что они были оформлены, санкционированы и утверждены главами правительств в Ялте.

Один из офицеров американской армии, организатор вывоза в советскую зону первых полутора тысяч человек из Платтлинга, сказал: «Мы знаем, что эти люди ни в чем не виноваты, но для того, чтобы сохранить мир, чтобы избежать новой кровопролитной войны, я мог бы расстрелять их своими руками».

Он не знал, как не знали тогда и многие, что это были не последние требования коммунистического интернационала, а только их начало.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Семь лет тому назад, после окончания победоносной войны против нацистской Германии, западному миру казалось, что человечество стоит у порога новой эры, в которой не будет места войнам, кровавым столкновениям, в которой будет осуществлен, наконец, золотой сон многих поколений о вечном мире на земле.

Прошло только семь лет и над миром снова нависли черные тучи. Страшное слово война снова получило права гражданства и грозит не сегодня - завтра стать ужасной действительностью.

Произошло это потому, что один из победителей во второй мировой войне — коммунизм — втянул человечество обратно, назад, в мир тех образов, идеалов и интересов, в которых он был рожден и от которых он не может отречься, оставаясь самим собой.

Золотой сон о вечном мире развеялся, как дым. И уже снова люди говорят и пишут не о создании мирового правительства, как семь лет тому назад, а о стратегических базах, укрепленных пунктах, новом оружии уничтожения и о новой гонке вооружений.

Большой войны, той, одна мысль о которой сковывает страхом людей, еще нет, но борьба идет системой малых войн и путем экономики, политики и пропаганды.

Два мира противостоят один другому — атакующий мир коммунизма и обороняющийся мир демократии.

Противники неравносильны ни по оружию, которым они борются, ни по методам борьбы, ни по конечным целям, поставленным каждым из них перед собой.

Западный мир устами своих руководителей неоднократно заявлял, что он не имеет намерения вмешиваться во внутренние дела своего врага, т. е. стран, оккупированных коммунизмом, и прежде всего — главной базы Коминтерна — Советского Союза. А коммунизм вмешательством во внутренние дела демократических государств пользуется не

только как оружием, но ставит его и конечной целью своей борьбы.

Мир демократий обречен на оборону, он, оставаясь в рамках и принципах либерализма, не хочет воспользоваться наступлением даже в целях защиты, забывая о том, что только пассивной обороной не может быть выиграна борьба. А коммунизм все наступает, рассчитывая, что если не первое и не второе, то какое-то десятое или двадцатое нападение завершится, наконец, успехом.

В каждой отдельной фазе борьбы коммунизм рискует только тем, что может не достичь своей цели сразу, что принужден будет итти на новую передышку и новую подготовку сил. Демократия же в случае неудачи своей обороны оплатит поражение смертью и гибелью христианской культуры.

Противники неравносильны.

Демократия совсем не знает коммунизма, считая его одним из многих политических течений. На западе представляют коммунизм по руководителям и деятелям коммунистических партий демократических стран. На западе не знают, что эти деятели, американские и английские коммунисты с точки зрения московского Политбюро — только балующиеся буржуа, которые точно так же будут сметены с политической арены в случае победы коммунизма, как и их теперешние враги — демократы. На западе не знают, что коммунизм — это не политика, а прежде всего упразднение всякой политики. На западе не знают коммунизма, но зато коммунизм знает не только слабые стороны демократий, но и человеческие слабости ее отдельных руководителей.

На западе не знают коммунизма в такой степени, что еще до сих пор раздаются голоса о возможности и необходимости договориться с ним, о возможности раздела мира на сферы влияния — демократическую и коммунистическую.

Мы, русские антибольшевики, имеющие печальное преимущество знать практический коммунизм так, как не знает его никто в мире, утверждаем, что попытки договориться не приведут ни к чему, они порочны в основе и, если дадут какие-то выгоды, то только и исключительно коммунизму, дадут ему новые исходные позиции и возможность перегруппировать силы для новых атак. Нужно считаться с аксиомой, что человечество не сможет отойти к мирному труду до тех пор, пока больше чем на одной шестой части суши сотни миллионов человек в тисках невообразимого террора принуждены ковать оружие для вечных покушений на остальной мир.

Большой войны еще нет, но все сходятся на том, что она будет тогда, когда найдет это для себя выгодным коммунизм. Он выберет момент. Он будет ждать, может быть, и годы, ждать того дня, в который признает возможным начать окончательный штурм. Он выберет день, который по каким-то причинам сочтет днем слабости демократии, — днем, когда в стане врага будет нарушено равновесие, когда демократия не сможет реагировать так быстро и решительно, как нужно было бы для ее обороны. Этим днем может быть любой день и причиной слабости любая причина — будь ли то экономический или политический кризис, будь ли то стихийное бедствие — голод, засуха, землетрясение или эпидемия. Этот день будет первым днем штурма, первым днем большой и последней войны.

Русский антибольшевизм, неаккредитированный посланник русского народа за рубежом, с тревогой следит, как в процессе подготовки к большой оборонительной войне западный мир готовится повторить ту же ошибку, которую совершила и Германия, оплатив ее своим поражением. Ошибка эта заключается в том, что между коммунизмом и его первой и самой пострадавшей жертвой — русским народом ставится знак равенства, искаженное ненавистью ко всему некоммунистическому миру лицо советского правительства принимается за лицо русского человека. Это чревато большими и тяжелыми последствиями и для западного мира и для русского народа.

Происходит это потому, что голоса русского народа не слышит и не может услышать западный мир. На международных конференциях и в международной политике от имени русского народа говорят люди, ни в малой степени на это им не уполномоченные, захватившие власть над ним путем обмана и держащие ее в своих руках путем насилия. Если бы подлинный голос русского народа был услышан миром, мир был бы восхищен его миролюбием, его готовностью к совместному труду, к совместной борьбе за общечеловеческое счастье. Но голоса его не слышно.

Войны можно еще избежать. А если избежать ее не удастся, то она может быть западным миром победоносно закончена с малой затратой сил и малыми жертвами. Это зависит от того, насколько правильно будет решен вопрос взаимоотношений с русским народом, самым антикоммунистическим народом на земле. Правильное решение заключается в союзе с ним, в помощи ему в его многолетней борьбе за освобождение от коммунистического рабства. Неправильное решение заключалось бы в том, чтобы оттолкнуть русский народ опять, как это сделал Гитлер, к советскому правительству.

Союз с русским народом в борьбе против коммунизма — это не один из вариантов спасения мира от грозящей ему катастрофы, а единственная возможность.

Мы, русские антибольшевики, можем не пропагандировать свою точку зрения, можем не убеждать никого в своей правоте, за нас это делает сама жизнь. К необходимости союза с русским народом в борьбе против коммунизма мир придет и сам, мы только считаем своим долгом заявить, что чем раньше это будет сделано, тем лучше.

1952 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ко второму изданию V
От автора IX

I часть

Так она началась у нас 7
О русской оппозиции здесь и «там» 29
Первые встречи 56
В лаборатории 77
Германия не едина 101
Перелом 119

II часть

«Осты» 129
В поисках «Сидорчука» 138
Андрей Андреевич Власов 148
Бунт на коленях 173
На Родине 182
Опять в Берлине 217

III часть

Великий исход 233
У цели 253
«Воля народа» 293
Первая дивизия РОА 326
Расплата 358
Послесловие 369

Александр Степанович Казанцев (1908—1963) родился в Челябинске. Вместе с кадетским корпусом, в котором он учился, он попал в эвакуацию: во Владивосток, в Шанхай и в 1924 году — в Югославию. Он учился на юридическом факультете Белградского университета, зарабатывая на жизнь игрою на гитаре в ресторанах.

Стремление приложить свои силы к освобождению родной страны от коммунизма привело его с самого основания НТС в ряды организации, а также побудило к сотрудничеству в ряде русских и иностранных газет. Перед войной он редактировал центральный орган НТС, газету «За Россию».

В годы войны он принимает активное участие в создании Освободительного движения народов России, как один из немногих эмигрантов подписывает Пражский манифест, редактирует центральный орган Движения — газету «Воля народа».

Написанная по свежим следам событий, сразу после войны, книга «Третья сила» была выпущена нашим издательством в то время, когда ни в России, ни на Западе еще не были готовы к осмыслению объективной правды Власовского движения, оклеветанного не только большевиками. Она была быстро раскуплена уцелевшими на Западе участниками Движения, но не дошла ни до России, ни до иностранного читателя.

Сейчас в мыслящей России интерес к подлинным целям Движения очень велик и свидетельство русского участника событий ей просто необходимо. Из исторической перспективы попытка создания независимой «третьей силы» на гитлеровской территории во время войны может показаться еще безнадежнее, чем это выглядело тогда. Но не пришлось ли бы всем нам еще больше стыдиться последних 50 лет нашей истории, если бы этой попытки не было?